

Валентин ПИКУЛЬ



ГЕНЕРАЛ
НА БЕЛОМ КОНЕ
МИНИАТЮРЫ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ
Полное собрание сочинений



ГЕНЕРАЛ
НА БЕЛОМ
КОНЕ

(МИНИАТЮРЫ)



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ФАВОРИТ, книга 1

ФАВОРИТ, книга 2

НЕЧИСТАЯ СИЛА

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ. МИНИАТЮРЫ

СЛОВО И ДЕЛО, книга 1

СЛОВО И ДЕЛО, книга 2

КАТОРГА. МИНИАТЮРЫ

БОГАТСТВО. МИНИАТЮРЫ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

МООНЗУНД

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 1

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 2

ПЕРОМ И ШПАГОЙ

БАРБАРОССА

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 1

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 2

ПСЫ ГОСПОДНИ. ЖИРНАЯ, ГРЯЗНАЯ И ПРОДАЖНАЯ. ЯНЫЧАРЫ

ИЗ ТУПИКА, книга 1

ИЗ ТУПИКА, книга 2

ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ PQ-17. МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ
СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ. ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА. ЗВЕЗДЫ НАД БОЛОТОМ

КАЖДОМУ СВОЕ. МИНИАТЮРЫ

КРЕЙСЕРА. МИНИАТЮРЫ

БАЯЗЕТ

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ. МИНИАТЮРЫ

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ. МИНИАТЮРЫ

РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ. МИНИАТЮРЫ

Валентин ПИКУЛЬ



ГЕНЕРАЛ
НА БЕЛОМ КОНЕ

(МИНИАТЮРЫ)



Москва • «Вече»

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ПЗ2

Составление

А.И. Пикуль

Рисунок на обложке

К.В. Гарина

Пикуль, В.С.

ПЗ2 Генерал на белом коне : миниатюры / Валентин Пикуль ; [сост. А.И. Пикуль]. — М.: Вече, 2015. — 416 с. — (Полное собрание сочинений).

ISBN 978-5-4444-2984-6

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

Знак информационной продукции 12+

Исторические миниатюры Валентина Пикуля — уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непрезойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества».

Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов бесстрашных защитников Отечества и других исторических личностей XVIII — начала XX века.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4444-2984-6

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

© Пикуль В.С., наследники, 2015

© Пикуль А.И., составление, комментарии, 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

Известный гражданин Плюшкин

Конечно, все мы высоко чтим Плюшкина, однако напомнить о нем никогда не будет лишним, ибо этот человек заслуживает внимания и уважения в любознательном потомстве.

Валдай издревле славился на Руси богатством расторопных жителей, склонных к торговле; край был сытный, привольный, разгульный; в реках водилась жирная форель, находили и жемчужные раковины; изобилие скота в уезде просто ошеломляло, а сам город был знаменит не только валдайскими колокольчиками, но и кренделями особой выпечки, так что путник не проедет мимо, прежде не вкусив от Валдая его природных благ.

Вот в этом краю и родился Федор Михайлович Плюшкин...

Отец его жил с торговли, но в 1848 году отца прибрала холера, а мать, в делах коммерции несведущую, вконец разорили бывшие компаньоны. Поплакала она и сказала сыну:

— Мал ты ишо, десяти годочков нетути, а жить при деле надобно, иначе дураком помрешь. Кому кланяться? Братцы твою тятеньки, дядя Коля да дядя Ваня, уж на что свирепы, ну чисто собаки на всех кидаются, а делать, сыночек, неча — к родным супостатам на поклон итти надобно...

Пошли! Дядя Коля сразу на них орать начал:

— На што ты мне, Анька, пащенко суешь? Или думаешь, глупая, что я Федьку ублажать стану, ежели он племянником мне доводится? Да я никого даром не кормил и кормить не стану.

— Возьми, Николай Федорович, — взмолилась мать, на колени падая. — Не дай пропасть сиротинушке, а уж он постарается. Не гляди, что мал... он у меня смысленый!

— Ладно, оставьте, — разрешил дядя. — Поглядим, на какое проворство способен...

В четыре часа утра сдергивали с полатей, чтобы снег перед домом убрать, потом с ведрами — за водой, время самовар ставить, а покупатели из дядиной лавки не желают товары нести — Федя тащит; так весь день и крутился мальчонка. Подвырос он, и дядя Николай стал посылать его с товарами по ярмаркам — следить за извозчиками, чтобы чего не сперли. Бывало, едет-едет, а морозы-то лютейшие. На остановках в пути извозчики водки нажрут да, в тулупы завернувшись, дрыхнут по амбарам, а бедный Федя на возу скрючится, спит на морозе, ажно слезы на щеках замерзают.

Но однажды зимою такой случай выдался. Стоял как-то Федя с метлой возле лавки, вышел и дядя на улицу — прозеваться. Тут к ним подковылял юродивый Тимоха Валдайский, босиком по снегу шастая, и стал что-то нашептывать Николаю Плюшкину по секрету. Дядя послушал его речей да как треснет убогого в ухо — бедный Тимоха в сугроб так и завалился. Дядечка сказал ему:

— Ты мне не колдуй, тварь вшивая! Штобы я, купец второй гильдии, да побираться ходил... не-а, тому не бывать.

А юродивый — из сугроба — на Федю палкой указывал:

— Эвон, отрок с метлой... гляди, какой ясный! Вот его угол всегда будет полон добра всякого, а ты, Николай Плюшкин, завшивеешь, как я, и к нему за милостыней шляться станешь...

Ох, не понравилось дяде Николаю такое пророчество, долго он переживал, думая, потом заявил племяннику:

— Езжай от меня... мне с твоей будущей конкуренции стали вши сниться. Я письмо написал в Москву — фабриканту Бутикову, чтобы приспособил тебя. С глаз долой — из сердца вон! Езжай, а то и всамделе завшивею...

Федя в Москве-то и подюжал до расцвета юности, ежедневно таская пудовые тюки на Остоженку. Но Бутиков скоро его привел, разглядев в парне грамотность и любовь к чтению.

— Вот что! — сказал фабрикант. — Из крючников перевожу тебя в приказчики... на всем готовом. Сем рублей жалованье... Рад ли? А, кстати, кой годочек тебе пошел?

— Двадцатый, — пояснил Федя Плюшкин.

— Тады семи рублей хватит. Живи и наслаждайся...

И верно — хватало, даже маменьку финансировал. Но в доме Бутикова расцветала Наташа, дочь фабриканта, и так молодые полюбили друг друга, что роман меж ними в тайнстве не остался. Бутиков же совсем не хотел иметь такого зятя, как Плюшкин, который семи рублям радуется.

— Удались-ка ты во Псков, отвезешь деньжата моим кредиторам, опосля сиди во Пскове, жди от меня указаний.

Приехал Федя во Псков, где недавно поселился и дядя Коля, купивший в городе дом для своих магазинов. Федя исполнил хозяйское поручение, стал ожидать, что прикажут ему далее делать, и вскоре Бутиков известил его, чтобы катился на все четыре стороны, а Наташки не видеть ему как своих ушей...

Федя устоял, но мать его зашаталась от горя:

— Хосподи! На што ж мы жить-то нонеча станем?

Перебрала вдовица свое барахло, что от мужа осталось, сняла с пальца кольцо золотое, велела идти на поклон к дяде Николаю, чтобы тот ссудил деньгами под залог вещей его покойного братца. Услышав такое, Николай Плюшкин осатанел:

— Под такое-то барахло... да ишо кредитовать тебя? Узнаю добра молодца по соплям до колена... дурак такой!

Вышиб его дядя прочь, швырнув юнцу десять рублей:

— Вот тебе, племяшек родненький... на разжирение!

Приютил Федю с матерью другой дядя — Иван, у которого тоже был дом во Пскове, и в этом доме Иван Плюшкин не только

магазин содержал, но и номера сдавал для проезжающих; а чтобы приезжие не скучали, он даже театр имел — с актерами.

— По мне так живите, — благодущничал дядя Ваня. — Можете в театре моем даже комедь подсматривать, не жалко!

На десять рублей, что швырнул ему дядя Коля, Феденька закупил всякого барахла — иголок швейных, гребенок, наперстков, мыла, тесемок, катушек с нитками разноцветными, а матушка его — искусница! — сотворила немало «венчиков» (бумажных цветочков, ибо в те времена, читатель, русские крестьяне на шляпах-гречневиках имели обыкновение носить цветочки). Вот с таким товаром Федя стал коробейником и пошел по деревням псковским, еще от околиц баб и девок зычно скликая:

— А кому нитки, а кому иголки вострые, а кому наперсточки, чтобы не уколоться... Налетай, у других дороже! А вот и книжечка для вечерне-семейного чтения — «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе любимого мужа...».

Далеко ушел Федя Плюшкин, даже до Порховского уезда, и однажды вернулся с таким барышом, что сам не поверил. Уже в старости, известный не только в России, но даже в Европе, Федор Михайлович переживал тогдашнюю выручку:

— Семьдесят семь копеек... кто бы мог подумать? Маменька как увидела, так и села. Вот праздник-то был! Поели мы сытно, а потом комедию даром смотрели... Это ли не жизнь?

Торговля — дело наживное, только знай, чего покупателю требуется, и через три годочка коробейник Федя Плюшкин имел уже сто рублей...

С этими деньгами поехал он в Петербург, чтобы закупить выгодных товаров. Столичным коммерсантам понравился парень, непьющий и разумный; поверив Плюшкину, они даже открыли ему кредит, и скоро он завел в Пскове собственную лавчонку, где и начал торговать дешевой галантереей. Псковские модницы повадились навещать его лавку, что размещалась в доме на углу Сер-

гиевской и Петропавловской улиц: в этом же доме Федя Плюшкин снимал комнатки — для себя и для матушки.

— Слава-те господа, — крестилась маменька, — жить стали так, что люди позавидуют. Мне бы еще внуков баюкать, чтобы старость была утешная. Уж я бы и померла спокойно...

Федя Плюшкин жил иными заботами; его тянуло к людям умным, начитанным, сам много читал. От галантерии не поумнеешь, потому парень, отсидев в лавке, вечерами постигал книжную мудрость. Да и сам Псков, еще не тронутый вандализмом казенных архитекторов, раскрывал многие тайны былого — еще цела была крепостная стена, выстоявшая под напором Стефана Батория, еще красовались древние храмы, помнившие Марфу Борецкую, наполняя град звонами древних колоколен, а сколько легенд, сколько преданий... Однако Плюшкин поначалу увлекался природными курьезами. Завел клетки для птиц редкостных, где-то раздобыл даже заморскую диковину — колибри; не успевал менять воду в аквариумах, где плавали рыбешки — несъедобные, зато красивые. Скоро разместил в своей квартире террарий для всяких рептилий.

Однажды еще с порога порадовал свою матушку:

— Вы, маменька, тока не пужайтесь — я для вашего удовольствия гадюку принес. Таких, как моя, даже у царя во дворце не водится... Гляньте, как ощерилась да шипит — у-у-у!

Анна Ивановна так и обмерла от страха:

— Пресвятая Мати-Богородица, да когдась ты в дурня мово разум вколотишь? Где бы ему жениться, а он... Мало тебе попугаев да ершей с миногами — ты еще и гада приволок... Ведь заедят нас ночью, ты о себе-то подумал ли, коли тебе родимой матушки не жалко?

— Не, маменька, не думал. Но очень уж мне по нраву, чтобы вокруг меня плавали, летали, ползали да чирикали.

— Женись, дуралей! — настаивала матушка. — Жена тебе всех канареек, всех гадюк с ядом заменит. Сразу осчастливит...

Повинуясь матери, Федя отъехал на родимый Валдай, где и выбрал в жены Марью Ивановну Шаврину; были меж ними любовь и согласие — на всю жизнь. Поворчит иногда Машка да и смирится. Но летом 1867 года случилась беда: дом дяди Ивана, в котором Федя держал лавку, сгорел дотла, одни стенки остались. Плюшкины сообща делили обгорелые кирпичи и сам участок, где дом раньше стоял. Племяннику отвели самый угол участка и даже кирпичей ему накидали, сказав при этом:

— Ты у нас больно ученый, все в книжку глядишь. Вот и посмотрим, каково сам уладишься на погорелище...

Федя подзаял денег, и скоро на углу Петропавловской вырос его собственный дом в два этажа, ничем не примечательный, архитектуры самой простенькой. Внизу разместил торговлю ситцами да побрякушками для псковских барышень, а второй этаж отвел для проживания. Дабы отразить любовь к старине, выкатил он перед магазином древнюю мортиру с кучею ядер времен Батория, а жена даже обиделась, сложив губки «бантиком»:

— Ты бы обо мне заботу возымел! На што мне пушка твоя, я бы вечером хотела в садике посидеть... с сиренью.

Для любимой жены Плюшкину ничего было не жаль. Но просто садик его никак не устраивал, и скоро Машка по вечерам грызла орехи каленые — вся в окружении канадских елочек да американских папоротников, а сам Плюшкин, начитавшись всяких пособий по ботанике, «производил опыты со всевозможными прививками, разведением грибов и акклиматизацией чужестранных растений... Жажда знаний, особенно при том скудном образовании, которое он имел, была у него прямо поразительная» — так было сказано в некрологе на смерть этого человека.

— Нет на тебя угомону, — выговаривала ему жена.

— И не жди — не будет, — отвечал Феденька.

Так и жили. Но скоро Плюшкин перестал метаться, обретя главный интерес жизни — к истории как таковой и к тем предметам старины, которые помогали ему освоиться в истории, как в своем доме. Прослышав, что завелся в Пскове такой чудак, который

любое «старье» покупает, к Плюшкину потянулись мальчишки, находившие древние монеты, посуду и оружие предков, наезжали крестьяне из деревень, желавшие выручить лишний рубелек за всякую ненужную заваль из своих сундуков. Федор Михайлович покупал все, что несли, и правильно делал, приобретая даже такой хлам, который выбрасывал потом на помойку. Много позже он объяснял ученым-археологам свое поведение:

— Я, поймите, был вынужден приобретать все подряд — что бы ни предложили! Потому как, если бы я покупал выборочно, а не все, что несли, то в другой раз продавцы ко мне бы не пришли. А теперь, глядите, у меня всякого жита по лопате!

Старуха-мать, осчастливленная внуками и внучками, не смела перечить сыну, когда Плюшкин властно расселил семейство в тесных «боковушках», а весь второй этаж здания отвел под создание музея старины. Теперь и мортира с ядрами, поставленная перед магазином, служила верным указателем душевных вкусов хозяина. Нежданно-негаданно, как это и случается в жизни, о собрании Плюшкина заговорили в столичной печати, затем эхом откликнулись и газеты европейские... Правда, наезжим во Псков корреспондентам не все казалось достойным внимания, исподтишка они даже посмеивались, увидев на стендах музея Плюшкина коллекцию старинных лаптей и башмаков, выставку бальных туфель тех женщин, которые давным-давно отплясали свой век.

Федор Михайлович все насмешки сурово пресекал:

— Да не отворачивайтесь от лаптей! Где вы еще, господа, подобную выставку сыщете? Ни в Эрмитаже, ни в Третьяковской галерее, ни в Румянцевском музее такой выставки отродясь не бывало. Зато вот в музее Парижа целый зал отвели под витрины с обувью предков, так теперь нет отбою от заезжих туристов — ведь всякому интересно, что носили их предки...

«Псковский г-н Ф.М. Плюшкин вполне оправдывает свою знаменитую фамилию», — острили журналисты в газетах, и это очень обижало Федора Михайловича, который жене признавался:

— Все бы оно ничего, да уж больно мне господин Гоголь подгадил... фамилией! Собираю я вот всякую мелочь от времен стародавних, а люди-то глядят и смеются, подлые: «Во, Плюшкин-то, мол... сразу видно, с кого все крохи побрал — с Гоголя!»

Марья Ивановна распивала чаек из чашки, когда-то украшавшей сервиз Екатерины I, она черпала варенье ложечкой шведской королевы Христины, а над ее кокошником с головы боярышни Милославской красовался пейзаж работы Пуссена. Домашний уют г-жи Плюшкиной щедро освещала старинная люстра из усадебного дома генералиссимуса А.В. Суворова.

— Не журишь, Феденька, — отвечала она. — На всякий роток не накинешь платок. Иные и хотели бы иметь такой дом — полная чаша, да не могут — кишка тоньше нашей.

Между тем Плюшкин не просто собирал старину, он самоучкой развился в большого знатока истории. Псковский купец, он вдруг заявил о себе уже серьезно, вполне научно, когда вмешался в грубую реставрацию знаменитых Поганкиных палат, документами из своего собрания доказав археологам, что они делают крыльцо не псковского, а московского типа:

— Эдак вы, господа хорошие, историю искажаете! Да-с. Вы уж извините, но безграмотности я не потерплю.

Как и предсказывал юродивый, иногда к Плюшкину являлся дядя Николай и, терпеливо покашливая у порога, ожидал милостыни — Христа ради и ради хлеба насущного. Получив от племянника пособие, старик, давно разорившийся, сумрачно и почти враждебно оглядывал музейные покои, говорил без зависти, но зато с каким-то угрожающим сожалением:

— Ох, высоко залетел, Федька... гляди, свалишься!

— Залетел, верно. Однако не выше второго этажа. Мне бы и третий надобен, чтобы все собранное разместить...

Плюшкин был сравнительно молодым, когда стал членом Псковского Археологического общества, в которое принимали

людей только знающих; человек большого добродушия и щедрый, Плюшкин по праву стал попечителем детских приютов для сирот и подкидышей. Двери своего хранилища он держал открытыми, осмотр сокровищ позволял без платы за вход, а экскурсоводом выступал сам хозяин, каждой вещи, каждой картине и любому предмету Федор Михайлович давал точное определение, даже не скрывая, как и когда эти вещи ему достались.

— Здесь вы видите атрибуты масонства, принадлежавшие императору Павлу Первому... в этом же ларце собраны драгоценные перстни и старинные пуговицы, иные весом в полфунта. А вот дамские камеи эпохи Наполеона, тут же обратите внимание на коллекцию вееров с рисунками в духе Ватто и собрание табакерок — золотых, фарфоровых, перламутровых, а эта вот выточена из слоновой кости... Пройдемте далее. Перед вами бранные доспехи русских витязей, щиты и шлемы времен Ледового побоища. Обращаю ваши взоры на собрание древних монет Пскова, каких нет даже в императорском Эрмитаже, иные монеты оправлены черепаховой костью. Здесь, дамы и господа, образцы русской народной вышивки, душегрейки и сарафаны, украшенные бисером, а вот набор кошельков наших пращуров... Наконец, мы узрели серию разбойничьих каскетов. А в углу комнаты поникло знамя Наполеона и разложен английский платок с изображением московского пожара. Прошу удивиться прекрасному лунному пейзажу, сделанному из селедочной чешуи... Сие есть работа каторжников!

Посещавшие музей Плюшкина всегда изумлялись тому, что японские и китайские вещи Федор Михайлович приобрел для своего музея, никогда не бывав ни в Японии, ни в Китае.

— Да как же вам это удалось? — спрашивали его.

— А сам не ведаю... Ведь тут, не забывайте, проживали разорившиеся дворяне, от них много чего осталось. А ежели покопаться в бабкиных сундуках... у-у-у, чего там только нету! Но она добро тебе покажет, ничего не продаст, сундук захлопнет и сама на него сядет. Тут, на Псковщине, благо она к рубежам близко, ныне появи-

лись наезжие из Европы комиссионеры — скупают все подряд, и все то, на что мы сейчас поплеываем, за границей весьма высоко ценится. Вот и собираю редкости в свой музей, как в сундук, и сижу на собранном, словно бабка, а может, после моей кончины соотечественники и скажут обо мне благодарственное слово.

Подлинный коллекционер, вкладывая в собрание всю свою душу, Федор Михайлович никогда не посмел бы задуматься о продажной ценности своих уникальных сокровищ.

— Не считал гроши, когда покупал, а посему стыдно рубли считать для продажи, — говорил он. — Я ведь, милые мои, в гроб с собою все это не заберу — и пусть все, мною собранное, и останется русским человеком... на память обо мне!

В 1889 году скончалась мать Плюшкина, дожившая до свадьбы внучки, а через год после кончины матери разъехались служить сыновья — Михаил да Сережа. Старик всплакнул, но тут же поспешил занять комнаты детей музейными экспонатами. В доме Плюшкина спальня, столовая, кабинет, прихожая только назывались так, на самом же деле все домовые покои были битком забиты собранием старинных вещей, и, кажется, один только хозяин мог разобраться, где что лежит, где что в тени притаилось, едва заметное, но зато драгоценнейшее. От самых первых ступеней лестницы, ведущей на второй этаж, сразу начинался музей, богатствам которого могли бы позавидовать даже в столицах Европы, не имевших ничего подобного...

Мне поневоле делается с т р а ш н о!

Да, мне страшно рассматривать гигантский разворот громадных страниц журнала «Искры», сплошь заполненный фотоснимками плюшкинского дома-музея. Страшно еще и потому, что ни я, автор, ни вы, читатели, никогда больше этого не увидим — нам остались жалкие крохи. Известно, что П.М. Третьякову тоже было тесно, все залы его знаменитой галереи уже не вмещали собрание картин, но в доме Плюшкина буквально (я не преувеличиваю) было негде ткнуть пальцем в стену — ни единый сантиметр в комнатах второго этажа не оставался пустым.

Не сразу пришла к Плюшкину известность, в Псков зачастили историки, коллекционеры, археологи и просто жулики-торгаши, желавшие дешево купить, чтобы продать подороже; приценивались к вещам, брезгливо косоротились от слов Плюшкина:

— Не ради того собирал, чтобы выгоду иметь...

Столичный историк Илья Шляпкин, навещавший Псков ради знакомства с музеем, не раз укорял Плюшкина:

— Эх, Федор Михайлович! Собрали вы столь много, что скоро второй этаж обрушится и раздавит ваш магазин внизу дома... Но, простите, какой же музей без научного каталога?

Каталогом оставалась сама голова хозяина, который, входя в преклонные годы, сделался образованнейшим археологом, нумизматом, искусствоведем и даже вещеводом (если так можно выразиться). Федор Михайлович частенько говорил:

— Не считал, сколько у меня единиц хранения, но соперничать со мною может только один московский миллионер Петр Иванович Щукин... Меня, как и Щукина, ученые грамотеи винят во «всеядности». Верно, что для меня старая пуговица с мундира полтавского гренадера иногда кажется дороже бриллиантового перстня с пальца светлейшего князя Потемкина. Но прошу — не судите строго мою неразборчивость. Это правда, что у меня всякого жита по лопате, но моя «всеядность» проистекает от громадной любви ко всему, что уцелело от нашего прошлого...

Так рассуждал Федор Михайлович Плюшкин.

Что же нам от его музея осталось?

Скажите, пожалуйста, положи руку на сердце, какой из музеев нашей провинции не позавидовал бы теперь собранию живописи из дома Плюшкина? Шутка ли — собрать более тысячи живописных полотен, и не просто картинок, какие поныне встречаются в наших комиссионках, а подлинных шедевров кисти Левицкого, Греза, Боровиковского, Буше, Венецианова, Тернера, Брюллова, Сальватора, Роза, Маковского, Верещагина и многих-многих других. А какое было великое изобилие гравюр, офортов, лито-

графий! Наконец, на фотоснимках дома-музея Плюшкина я вижу массу миниатюр: есть указание на редкостную миниатюру с изображением Ивана Грозного... знать бы, где она? В иконах я плохо разбираюсь, но со стен хранилища Плюшкина — чувствую — на меня глядят лики святых, писанные еще в незапамятные времена, и я понимаю, что таким великолепным собранием икон можно бы гордиться любому музею... Где же они теперь? Не счесть было и автографов, писем, которые, возможно, и не пропали, ибо в коллекции Плюшкина были даже письма поэта Пушкина, были и портреты его предков. О собрании же монет, перстней, вериг схимников, женских украшений, фарфора, пытошних инструментов, хрустала, древнейших манускриптов, указов царей, посуды предков, коллекций часов, оружия, предметов культа Приапа, кошельков, привязных карманов, барских шандалов и мужицких поставцов для держания лучин — обо всем этом я уж и не говорю.

Была нужна книга, чтобы составить опись вещам...

— Федор Михайлович, — спрашивали иногда Плюшкина, — а вы не боитесь, что вас обворуют? Знаете, стащат один ларец с перстнями — и на всю жизнь себя обеспечат.

— Не боюсь, — отвечал Плюшкин. — Я, сударь, огня страшуся. Тут недавно полыхнуло поблизости, так со мною сердечный приступ случился, потом и почки схватило. Слава богу, пожар загасили, а я целый месяц в постели валялся...

Был 1905 год, когда Федор Михайлович, почасту болея, стал думать, куда бы пристроить свои сокровища. О том, чтобы продать музей в частные руки, он и не помышлял.

— Я свое получил при жизни, — говаривал он. — Дай бог каждому вдоволь насладиться лицезрением редкостных раритетов, а теперь, близясь к порогу смерти, я могу передать свои сокровища едино лишь моему отечеству...

Все, что имело отношение к истории Псковщины, он хотел подарить псковскому музею, размещенному в Поганкиных палатах;

остальное же Плюшкин желал бы передать в Русский музей, с которым и начал вести переговоры. Однако чиновники из Петербурга тянули дело, хотя и обещали, что место для размещения плюшкинских экспонатов в Русском музее найдется. В 1909 году — после одного неприятного случая — Федор Михайлович был вынужден закрыть двери своего хранилища для публики.

— Приехали ко мне солидные господа петербуржцы, — рассказывал он, — предъявили рекомендательные письма от знатных особ столицы. А когда они, мерзавцы, ушли от меня, я гляжу, нет двух миниатюр, нет часиков императрицы Екатерины, пропали и редчайшие монеты, сделанные из перламутра.

Уже больной, Плюшкин тихо передвигался по комнате, часто отдыхал в кресле, сидя под иконою Богородицы.

— И не стыдно тебе, старик? — попрекала его жена-старуха. — Под кем сидишь-то? Под блудницею графа Аракчеева...

Верно! На громадной иконе под видом Богоматери с младенцем, возведя очи горе, была изображена Настасья Минкина, известная фаворитка Аракчеева, и Плюшкин того не отрицал:

— А что? Хороша ведь, язва... залюбуешься! Профессор Илья Шляпкин не поленился подсчитать.

— Федор Михайлович, — сказал он, — могу вас поздравить с тем, что в вашем музее собрано более МИЛЛИОНА исторических экспонатов. Таким образом, — уточнил Шляпкин, — ваша коллекция занимает ТРЕТЬЕ место в России и ОДИННАДЦАТОЕ место во всем мире — по количеству редкостей.

Плюшкин и сам не ожидал этого. Он разрыдался:

— Кто бы мог подумать? Ведь коробейником по деревням ходил... семьдесят семь копеек однажды выручил, до сих пор тот день помню. Эх, полным-полна моя коробочка! Прощайте, я свое дело сделал, как и должно гражданину российскому...

Переговоры с Русским музеем безбожно затянулись, и, не дождавшись решения столичных чиновников, Федор Михайлович Плюшкин опочил сном праведным 24 апреля 1911 года.

Почти сразу после его смерти П.А. Столыпин, председательствуя в Совете министров, настоял на скорейшем приобретении плюшкинского собрания для Русского музея, и все министры дружно поддержали его в этом мнении, говоря:

— Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы коллекция покойного господина Плюшкина ушла за границу...

Тогда же было решено подготовить особый законопроект, дабы казна не скупилась в приобретении от наследников всего плюшкинского собрания редкостей. Но осенью того же года Столыпина застрелили в киевском театре, после чего дело о покупке музея Плюшкина снова застопорилось. Правда, в Псков нагрянула весьма авторитетная комиссия ученых, в числе которых были очень громкие имена; эта комиссия была составлена из специалистов по живописи и нумизматике, по древностям Египта, России и Востока, по археологии каменного века, по оценке старопечатных изданий, а знаменитый ювелир Шарль Фаберже не поленился выступить в роли оценщика старинных драгоценностей.

Сыновья Плюшкина, люди довольно-таки сведущие в оценке вещей покойного отца, были крайне удивлены, когда ученые хотели скупить монеты древнего мира на в е с, словно картошку на базаре, оценивая фунт монет в 13 рублей.

— Помилуйте, — возмутился Михаил Плюшкин, юрист и уже статский советник, — да вы нас дураками считаете. Ведь вот одна эта монета ценится среди знатоков в тысячу рублей...

Ученые мужи в е с ь музей Плюшкина оценили в 80 тысяч рублей, о чем и было доложено императору Николаю II.

— Дорого, — загрустил тот. — Более шестидесяти тысяч дать нельзя. При этом желательно приобрести только предметы религиозного культа и вещи приапического толка, ибо давно назрел вопрос о создании отдела эротики в моем Эрмитаже. После визита комиссии музей напоминал свалку, все было перемешано, будто на пожарище, многое сломали, разбили, пообрывали со стен, все перепутали, «и от прежнего внешнего вида музея, от прежнего порядка остались одни воспоминания да прекрасные фотографии».

Как раз в это время в Псков примчался специалист древностей из Британского музея, некий антиквар Коген, который, оглядев только о д н у комнату Плюшкина, сразу же предложил:

— Сто семьдесят пять тысяч рублей... угодно ли?

Плюшкины отказались от выгодной сделки, ибо хорошо помнили заветы отца — чтобы ни одна вещь не ушла из отечества.

В 1913 году коллекция Ф.М. Плюшкина, который более сорока лет своей жизни посвятил собиранию, была оценена и куплена за сто тысяч рублей, о чем говорит бумага директора Департамента Государственного казначейства, копию которой любезно прислали мне внук и правнук моего героя, проживающие в Ленинграде. Приведу ее содержание:

«Милостивый Государь Сергей Федорович.

По приказанию Г. Председателя Совета Министров, Министра Финансов, имею честь уведомить Вас, что по всеподданнейшему его докладу в 27 день июня сего года последовало Высочайшее соизволение на приобретение в казну собранных Вашим покойным отцом коллекций русских древностей на 100 000 рублей.

Для приема этих коллекций будут командированы в г. Псков уполномоченные от Русского Музея ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III И ИМПЕРАТОРСКОЙ археологической Комиссии, деньги же будут уплачены при приеме коллекций.

Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем уважении и искренней преданности».

Большинство экспонатов музея Ф.М. Плюшкина находится в запасниках Русского музея. Будем надеяться, что когда-нибудь они будут открыты для обозрения.

И последнее. Мне очень хотелось бы знать: есть ли в современном Пскове хоть одна улочка, названная именем гражданина Плюшкина? Вряд ли! Ибо жители станут думать, что названа она в честь гоголевского Плюшкина... И пусть городские власти не листают тома громоздких энциклопедий: в них не нашлось места для того, чтобы сохранить память о нашем герое.

Письмо студента Мамонтова

Может, так и надо, чтобы никто об этом не знал?

Россия строила крейсера и пряла лен, она возводила баррикады и солила на зиму огурцы, народ гулял на свадьбах и бряцал кандалами, — но ведь никто и в самом деле не знал, что где-то под боком столицы ежедневно творится что-то такое, что может привести в ужас любого... На конце тонкой платиновой проволоки иногда свисала чистая прозрачная капля. Отяжелев, она срывалась с платины и падала на стекло. Одной такой капли было достаточно, чтобы весь Санкт-Петербург стал мертв.

Россию ломало на сгибе двух веков — время нам близкое. Лев Толстой еще катался на коньках; Максим Горький, размашистый и щедрый, входил в молодую славу; по вечерам духовые оркестры раздували над провинцией шемашиные вальсы; вдоль бульваров поволжских городов гуляли с кулечками орешков кустодиевские купчихи; босяки лихо загружали баржи арбузами; над зеленью пригородных дач хрипели расфранченные трубы граммофонов...

А в устье Невы или Фонтанки иногда заходил с моря одинокий катер Балтийского флота; тихо урча мотором, он медленно крался под мостами, причаливал к набережной, на которой, сунув руки в карманы пальто, его поджидал сугубо штатский человек. Молча он прыгал на палубу катера, и мотор увеличивал обороты на винт — катер спешил в сизые хляби Финского залива. Слева по борту, словно в сказке, разгорались феерические огни Петергофа и Ораниенбаума, справа массивной глыбой заводов и доков выросал Кронштадт. Разводя за кормою волну, катер торопливо увозил молчаливого пассажира все дальше — в открытое море. Темнело.

Наконец из воды показывалось громоздкое сооружение, словно изваянное циклопами, — это был форт «Александр I», над которым реял черный флаг, а возле пристаньки качался под ветром фонарь и виднелась одинокая фигура жандарма.

Катер подруливал к пристани, никогда не подавая швартовов, будто боясь коснуться стен этого форта, и жандарм принимал пассажира в свои объятия.

— Оп! — говорил он. — Вот мы и дома. Милости прошу...

Открывались тяжкие крепостные ворота, изнутри форта шибало промозглым холодом ознобленного камня. По витой лестнице прибывший поднимался наверх, снимал пальтишко и, толкнув двери, попадал в просторное помещение, где его встречали. Встречали смехом, новостями, шутками, расспросами, шампанским. Это были чумологи, а форт «Александр I» был «чумным фортом»: именно здесь, вблизи столицы, русские врачи, добровольные узники форта, давали бой той заразе, что расползалась по земному шару, имея цепную реакцию в таком логичном, но отвратительном распорядке:

КРЫСА — БЛОХА — ЧЕЛОВЕК...

Антибиотиков тогда не было; в полной изоляции от мира врачи создавали противочумную вакцину. Великий ученый Нобель, изобретатель динамита, провел свою одинокую жизнь среди гремучих раскатистых взрывов и остался цел. Но в условиях «чумного форта» уцелеть было труднее. Облаченные в прорезиненные балахоны, в галошах, с масками на лицах, врачи вступали в лаборатории, где даже глубокий вздох грозил гибелью; за стеклянной перегородкой сновали, волоча тонкие облезлые хвосты, завезенные из Китая крысы — там, в крысином вольере, уже бушевала смерть. Спасения от чумы не знали, а значит, спасения и не было. В восемь часов вечера форт запирали на засовы, ключи от ворот клал себе под подушку жандарм, осатаневший от неудобств жуткой жизни.

— Подохну я с вами, — говорил он зловеще. — Все люди как люди, живут и в ус не дуют, а я связался с учеными... не приведи бог! Будь я дома, так в пивной бы сидел, как барин, а тут... эх!

Утром на пристани находили оставленные катерами продукты и почту. Волны с грохотом дробились о старинную кладку башен,

в коридорах форта гуляли сквозняки — острые и ледяные, как ножи. Санитары, шаркая галошами по камням, обмывали горячим лизолом перила, дверные ручки, даже электровыключатели. А бывало и так: черный флаг, дрогнув, сползал вниз, из трубы форта валил приторный дым, с моря подходил катер, матрос принимал от жандарма урну с пеплом. Вот и все, что осталось от человека, который еще вчера надеялся побороть «черную смерть».

Царица грозная, Чума,
Теперь идет на нас сама.

Это Пушкин, это его «Пир во время чумы»...

Издавна человечество преследовала чума. Бедствия от этой страшной болезни испытывали на себе все народы мира. Особенно много страдал Китай. При страшной скученности безграмотного населения, погибая от эпидемий, опиокурения и феодального хаоса, он оградил себя от западной цивилизации древними суевериями и традиционным пренебрежением ко всему европейскому. В самый канун XX века из Китая в Европу был завезен источник чумной инфекции — серая крыса-пасюк. Эта вспышка чумы (по названию «гонконгская») взяла немало жертв, но зато позволила ученым выделить из крысиных трупов то, что раньше ускользало от изучения — чумную бациллу! Опытный и неуловимый убийца человечества, величиной всего в полтора микрона, был распят на стекле и разложен под микроскопом, как преступник на эшафоте. Близился торжественный момент его казни.

А теперь, читатель, окунемся в студенческую жизнь!

Илья Мамонтов один раз послушался родителей — поступил в Пажеский корпус; во второй раз послушался самого себя — из пажей вышел. Сонливый и рассеянный увалень, это был отличный товарищ, щедрый и покладистый... Дома сестры его, гимназистки Шура и Маша, встретили бывшего пажа словами:

— Теперь, Илька, тебе одна дорога — в гусары!

— Хорош я буду гусар... с пенсне на носу.

— Илья, — сказала мать, — избери стезю жизни сам...

С аристократической Фурштадской стезя привела Илью на демократическую Выборгскую сторону, где русскую молодежь издавна манило строгое здание Военно-Медицинской академии. Переход был слишком резок и вызывающ. Вместо клубничного мусса Илья теперь поедал за завтраком «собачью радость», нарезанную кружками, в трактире пил чай вприкуску или внакладку. Бывший паж его величества сам напросился в ординатуру Обуховской больницы, где лечилась беднота рабочих окраин. А когда в столице разгулялась холера, Мамонтов, близорукий и старательный, пошел в холерные бараки. Из этих барачков он однажды вывел за руку мальчонку, родители которого умерли, и привел сироту в свой дом.

— У него никого нет, — сказал домашним. — Зовут его Петькой, а отчество по мне будет — Ильич... Я усыновлю его!

Так, не будучи женат, он стал отцом, а неизбежные заботы о мальчике сделали Илью еще более строгим к самому себе. Осенью 1910 года Мамонтов уже был на пятом курсе Академии, когда до медиков столицы докатились слухи, что в Харбине появилась чума — не бубонная, а легочная (самая заразная, самая опасная!).

Вечером он вернулся домой — согнутый от боли.

— Что с тобою? — спросила мать.

— Я сделал себе противочумные прививки.

— Зачем?

— Еду в Харбин... на чуму!

— Сын мой, надо же иметь голову на плечах.

— На плечах, мама, не только голова, но и погоны будущего врача. Если чуму не задержать в Харбине, она как сумасшедшая, со скоростью курьерских поездов проскочит Сибирь и явится здесь, в Европе! При императоре Юстиниане, мамочка, чума взяла сто миллионов жизней и даже... даже изменила ход истории человечества! Так что ты меня не отговаривай...

Заснеженная темная Россия мигала на полустанках редкими фонарями; желтоглазо мерцали тусклые огни захолустных деревень (там еще жгли прадедовскую лучину); леса, леса, леса — и очень редко городские вокзалы, в сиянии электричества, оживленные музыкой и гамом ресторанов, прозвененные шпорами офицеров, с носильщиками, с жандармами. Илья ехал через всю Россию, а Россия, казалось, ехала через него, проникая в душу студента своими далями, убогостью и обилием, светом и мраком. Наконец поезд вкатил вагоны в пустынную Маньчжурию. Китайские солдаты выбегали из палаток; вооруженные палками и секирами палачей, они строились под значками с уродливыми драконами.

Харбин! Илью потрясло не то, что он в Китае, а будто и не выезжал из России. Типичный русский город, каких немало в провинции: булыжные мостовые, фонари на перекрестках, а под фонарями — городские «селедки»... Ниже города, вдоль пристаней, в лабиринте кривых переулков, в зловонии опиокурилен, публичных домов и игральных притонов жила чума, но все атаки ее на русскую часть Харбина отбивались санитарной инспекцией и врачебным надзором; зато в китайских кварталах царила жуть, и под ногами детей прыгали громадные жирные крысы, которых китайские кули ловили, жарили посреди улиц, поедали и тут же умирали...

В гостиницу Мамонтова не пустили.

— Чумовых нам не надобно, — заявил хозяин. — У меня почтенная публика-с. Дамский оркестр на скрипках соль мажор запузывает. Господа разные мадамам разным букеты подносят... А вы здесь со своей чумой, извините за выражение, будете нереальны!

— Куда же мне деваться?

— Идите к своим — в бараки...

В четырех верстах от Харбина был разбит противочумной лагерь; в казарме — больница, за высоким забором — громадный двор, куда по рельсам загнали сотню вагонов, ставших палата-

ми для больных; тут же, заметенные снегом, высились штабеля трупов, имевших какой-то необычный асбестово-фиолетовый оттенок. В бараках собрались медики-добровольцы, съехавшиеся в Харбин со всей России. Мамонтов протянул им руку, и она... повисла в воздухе.

— Отвыкайте от этого, — сказала ему медсестра Аня Снежкова. — Сначала пройдите дезинфекцию, а уж потом здоровайтесь.

Илья покраснел от смущения перед девушкой, пенсне упало с его носа и стало раскачиваться на черной тесьме...

Вечером Аня Снежкова велела ему собираться.

— А где взять балахон, маску и галоши?

— Вденьте гвоздику в петлицу фрака, если догадались привезти его сюда. Я приглашаю вас на бал в клуб КВЖД.

— А разве... Вот не думал, что на чуме танцуют.

— Чудак! Может, это наш последний вальс в жизни...

Когда музыка отгремела, Мамонтов сказал Ане Снежковой:

— Поверьте, что я человек вполне серьезный, моему сыну уже двенадцать лет, и я... я сегодня очень счастливый, Анечка!

Как и все чистые, непорочные люди, он влюбился с первого взгляда. А утром их ждала встреча с чумой — самой настоящей...

Самое трагическое в том, что здесь никого нельзя было обмануть и никто сам не обманывался. Врачи хорошо знали, чем кончается встреча с чумой. Заразившись, они сами заполняли бланки истории болезни на свое имя, а в последней графе выводили по-латыни роковые слова: *Exitus letalis* (смертельный исход!). Почерк обреченных был разборчивый, у женщин даже красивый. Когда до смерти оставалось совсем немного, умирающему — по традиции — подносили шампанское, он пил его и прощался с коллегами. Потом все выходили и оставляли его одного... Сыворотка из форта «Александр I», с успехом примененная в Индии против бубонной чумы, здесь, в Харбине, осилить легочной чумы не могла: кто заболел — тот умирал! Но чума, словно издеваясь, порой выписывала сложнейшие иероглифы загадок: нашли русскую

девочку, что сидела на постели, бездумно играя между умершим отцом и матерью; врачи взяли ее в барак, проверили — здорова, как ни в чем не бывало... Счастливая! Но врачи на такое «счастье» не рассчитывали. Бывало, что под конец рабочего дня один из них говорил замедленно:

— Я, кажется, сегодня увлекся и допустил ошибку. Сдвинул маску, когда этого нельзя было делать. Пожалуйста, не подходите ко мне, ужин оставьте в коридоре, я его возьму и сам закроюсь. В случае чего, не тратьте на меня вакцину — она пригодится другим.

Из форта «Александр I» приехал в Харбин известный профессор-чумолог Д.К. Заболотный*, при всех обнял и расцеловал Мамонтова.

— Барышни, — сказал он медсестрам, — вы тоже поцелуйте Илью: это подлинный рыцарь, в чем я убедился, работая с ним в Питере на холере... Кончай, Илья, Академию, и я беру тебя в ассистенты. Будем вместе гонять чуму по белу свету, пока не загоним ее в тесный угол, где она и сдохнет под бурные овации всего мира!

Потом профессор отозвал в сторону Аню Снежкову.

— Анечка, — сказал он ей. — Илья хороший человек, но малость нескладный. Чумогонство не терпит рассеянности. Даже слишком собранные натуры, застегнутые и замотанные до глаз, и то иногда ошибаются. А он за все хватается голыми руками, пенсне у него вечно болтается на шнурке... Присмотрите за ним!

— Хорошо, Данила Кириллыч, — отвечала Снежкова. — Я-то ведь очень осторожна в работе, промашки нигде никогда не допущу...

Изолировать больных от здоровых, а здоровых оградить от чумы — такова задача, которую поставил Заболотный перед врачами. Каждое утро сотни китайцев толпились близ пропускного

* Заболотный Д.К. (1866—1929) — всемирно известный эпидемиолог, «чумогон», как называл он себя; академик и президент Украинской Академии наук; при похоронах Заболотного за его небывалое мужество в борьбе с чумой ему были отданы воинские почести. Я не знаю другого примера, чтобы воинские почести отдавались врачу!

пункта, надеясь, как обычно, проникнуть в русскую часть Харбина, где они искали себе дневной заработок и пищу. Карантин охраняли сибирские стрелки в мохнатых шапках, врачи осматривали каждого китайца. Обутые в матерчатые тапочки, китайцы часами выстаивали на снегу — сплошная серая стенка, не выражавшая нетерпения, как это бывает с русскими, когда их долго мурьжат в очереди.

Но это лишь оборонительная операция, а врачи вели и наступление.

Илья понял, что это такое, когда в составе «летучки», неповоротливый от тяжести защитных доспехов, он проник в китайский район Фудзядзян, куда русские до этого никогда не заглядывали. В опиокурильне было темно и сыро, как в могиле, только вспыхивали огоньки трубок. Хозяин курильни следил за порядком: вынув трубку изо рта уснувшего (или умершего?) наркомана, он совал ее в рот другому китайцу. Когда вскрыли пол, там лежали уже разложившиеся чумные трупы. Здесь, в Фудзядзяне, китайцы уже не были покорны, как на пропускном карантине, — здесь они отбивались от осмотра, и даже умирающие от чумы старались заползти в какую-нибудь щель, чтобы врачи не нашли их... Аня Снежкова глухо и невнятно (через плотную маску) сказала Илье:

— Проверим вон ту фанзу. Пошли, и слушайся меня!

Казалось, что фанза давно вымерла. Но едва санитары трягнули дверь, как отовсюду посыпались на снег китайцы. Илья не поверил своим глазам: фанза — вроде будки, а населяли ее человек сорок, и, конечно, половина из них уже зараженные; они выкрикивали угрозы, а из их ртов текла кровь черного цвета (явный признак чумы). Мамонтов полез на чердак, откуда долго сбрасывал вниз труп за трупом.

Когда мертвецов набралось две телеги, Аня Снежкова сказала:

— Теперь ты понял, что такое одна китайская фанза...

Но самое ужасное было в том, что китайцы отвергали всяческую помощь врачей, всеми силами сопротивлялись вмешатель-

ству медицины. Тревога по поводу действия медиков звучала даже на страницах газет. Так, жалея своих «несчастливых, запертых в вагоны, плачущих» соотечественников, газеты возмущались тем, что «три раза в день (!) их осматривают доктора и всякого, чуть кашляющего и слабого, объявляют зараженным чумою». Врачам попало как раз за то, за что надобно похвалить: трижды в день общаться с чумными — это три раза сыграть в кошки-мышки со смертью; это все равно что солдату трижды в день подниматься в штыковую атаку! Русские врачи были замотаны в спецодежду, и только глаза у них оставались открытыми. Кое-кому из больных пришла в голову совершенно безумная мысль: плевать врачам в глаза! Первой жертвой оказался студент Беляев — через несколько дней он умер от чумы...

Данила Кириллович Заболотный сказал:

— Китайская вежливость вошла в поговорку. Но в этом случае китайцы повершили все рекорды своей церемонности. Что ж, господа хорошие! Работать все равно нужно...

Ане Снежковой профессор еще раз напомнил:

— Илья старается и может перестараться. Вы, миленькая, не давайте ему излишне увлекаться. Мало ли что...

— Не волнуйтесь. Он от меня не отходит.

— Влюблен?

— Кажется, да. Но сейчас это выглядит глупо.

— Любовь, Анечка, никогда не бывает глупой...

Мамонтов много часов проводил в лаборатории — под анализами чумной мокроты. Вечером он выстаивал под напором струй гидропульта, который смывал с его «доспехов» миллионы бактерий. Беда вскоре пришла, но совсем не с той стороны, с какой ее можно было ожидать. Это случилось при посещении китайской деревни Ходягоу, где чума уже собрала богатый урожай. В брошюре врача-эпидемиолога И. Куренкова, который виделся с последней участницей этого дела, эпизод описан так: «...в одной фанзе энергично действовала сестра милосердия Аня Снежкова, ей удалось

взобраться на чердак. Через несколько минут она спустилась оттуда, ее халат был изорван и покрыт пылью, а марлевая повязка съехала набок.

— Если бы вы знали, что там делается! — чихая и кашляя, проговорила девушка. — Все вперемешку...

Мамонтов бросил на нее быстрый взгляд.

— Не волнуйтесь, Илюша, ничего со мной не случится...»

Вечером она несколько раз покашляла. Мамонтов принес градусник:

— Аня, без лишних разговоров.

— Может, и повышенная. Простудиться немудрено...

Температура была подозрительной. Илья сам производил анализ. На предметном стекле микроскоп высветил кружок, в котором резвились крохотные «бочонки». Илья капнул на стекло фуксином, и бактерии сразу окрасились биполярно — их концы покраснели. Он сдернул с лица маску и заплакал. Это была чума! Снежкову изолировали. Мамонтов вымолил разрешение ухаживать за нею...

— Илья, — сказала ему девушка наедине, — если ты меня любил, так скажи мне это. Пусть я умру любимой...

Он ей сказал, и она заплакала.

Вакцина, камфара, кислород — иных средств лечения не было.

Из поездки срочно вернулся в Харбин Заболотный:

— Илья, ты поступаешь рыцарски, не отходя от Снежковой, но как чумолог ведешь себя неосторожно. Я понимаю твои чувства, но нельзя же столь долго пребывать в противочумном костюме...

Кстати, как ты себя чувствуешь?

— Как и все.

Аня при свидании сама сказала ему:

— Илья, спасибо тебе за все. Лучше бы ты ушел...

За ужином он сдержанно кашлянул.

— Ерунда, — сказал он. — Кто из нас не кашляет?

— На анализ! — велел ему Заболотный...

Первый анализ — чисто. Второй — чисто. Третий. Четвертый.

— Продолжайте и дальше, — настоял профессор...

Десятый анализ. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый.

— Все чисто, — сказал лаборант. — Никакой чумы.

— Хорошо, — повеселел Заболотный. — Ради моего успокоения, голубчик, сделайте четырнадцатый, и на этом закончим...

Четырнадцатый анализ был ужасен.

— Ну, что вы молчите? — спросил Данила Кириллович.

— Кишмя кишит... гляньте сами!

Заболотный навестил Илью, который ему пожаловался:

— Не повезло мне. В такое время схватил простуду...

— Тебе, Илья, и правда не повезло. Мы сделаем, что можем, но больше того, что можем сделать, мы сделать не в силах!

На следующий день в комнату, где он лежал в одиночестве, из Харбина чья-то добрая душа прислала первые тюльпаны.

— Можно, я перешлю их Анечке? — спросил он.

— Не надо! Аня уже вся в цветах...

Ани Снежковой в это время уже не было на свете, но смерть ее решили от Мамонтова скрыть. Юноша весь день лежал тихо, задумчивый, потом постучал в стенку и попросил студента Исаева сыграть ему на гармошке. Через стенку донеслась раздольная песня:

Ой, да подведите коня мне вороного,
Покрепче держите под уздцы.
Эх, едут с товаром дорогой широкою
Муромским лесом купцы...

Глухая стенка в рыжей известке отделяла его от поющих.

Это был барьер между жизнью и смертью — уже непреодолимый!

В синеве окон чуялись весенние разливы, чирикали харбинские воробьи, очень похожие на питерских, такие же бодренькие.

Илья попросил бумаги и стал писать прощальное письмо...

Он все понял, когда при нем откупорили шампанское.

Потом начался бред, средь бессвязных слов прорвалось:

— Ну вот, а мы еще ругались из-за трупов...

Это были его последние слова.

Сгустились сумерки, его не стало. В комнату вошел профессор Заболотный, постоял над телом ученика, взялся за письмо:

— Это матери. Продезинфицируйте, пожалуйста...

Была ранняя весна 1911 года; на Невском в Петербурге дворники обкалывали ото льда панели. Шура и Маша Мамонтовы отпросились с уроков в гимназии:

— Нам нужно встретить... брата, его везут из Харбина.

Мать, почернев от горя, надела поверх буклей траурную кисею, взяла за руку Петьку, и всем семейством они отправились на вокзал к приходу дальневосточного экспресса. Старый служака, военный фельдшер в шинели, пропахшей лизолом и карболкой, вышел из вагона, безошибочно зашагал в их сторону.

— Видать, госпожа Мамонтова? — спросил он, понурясь.

Раскрыв чемодан, солдат из небогатых пожитков извлек небольшую урну с прахом сожженного Ильи Мамонтова:

— Он вот здесь. Понимаю — тяжело. А что поделаешь?

Мать, рыдая, отступила назад:

— Шура, Маша... возьмите вы. Я не в силах понять, что произошло. Неужели это все, что осталось от моего Ильи?

Урну из рук солдата перенял сосредоточенный Петька:

— Давайте, я понесу... папу!

Солдат снял фуражку. Говорил, словно извиняясь:

— И письмо от сынка имеется. Профессор две фотокарточки шлет. Здесь вот Илья ваш за тридцать часов до кончины, а здесь — за пять часов, сам просил товарищей сымать его. Вы уж не пугайтесь — урночку и конверт мы продезинфицировали!

Письмо, как и солдат, тоже пахло лизолом и карболкой.

Илья Мамонтов перед смертью писал:

«Дорогая мама, заболел какой-то ерундой, но так как на чуме ничем, кроме чумы, не заболевают, то это, стало быть, чума...

Мне казалось, что нет ничего лучше жизни. Но из желания сохранить ее я не мог бежать от опасности, которой подвержены все, и, стало быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения служебного долга... Жизнь отдельного человека — ничто перед жизнью общественной, а для будущего счастья человечества нужны жертвы...

Я глубоко верю, что это счастье наступит, а если бы не заболел чумой, уверен, что мог бы жизнь свою прожить честно и сделать все, на что хватило бы сил, для общественной пользы. Мне жалко, может быть, что я так мало поработал. Но я надеюсь и уверен, что теперь будет много работников, которые отдадут все, что имеют, для общего счастья и, если потребуется, не пожалеют личной жизни...

Жизнь теперь — это борьба за будущее... Надо верить, что все это не даром и люди добьются, хотя бы и путем многих страданий, настоящего человеческого существования на земле, такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и самую жизнь...

Ну, мама, прощай... Позаботься о моем Петьке!

Целую всех...

Твой Илья».

Когда я много лет назад впервые прочел это письмо студента Мамонтова, оно меня потрясло. Какое мужество! Какое благородство! Какое богатое гражданское сознание!

Удивительно, что перед смертью Илья допустил лишь одно восклицание — в той фразе, в которой просил за своего «сына» — человека будущего. Письмо как бы произнесено ровным голосом — так обычно говорят люди, уверенные в своей правоте. Он и в самом деле был прав, этот студент Мамонтов, каких в России тогда были тысячи и тысячи.

Пулковский меридиан

Шел 1808 год, когда наполеоновские войска, покоряя Прусское королевство, вторглись в «вольный» город Гамбург: к тому времени идеи «свободы, равенства и братства» для них уже ничего не значили, и, покоряя народы, французы вели себя в захваченных странах чересчур нагло... На улицах Гамбурга они устроили облаву на молодежь, чтобы принудить ее для службы в армии Наполеона. В толпе немецких юношей, окруженных цепью штыков, слышались стоны, проклятья, мольбы, а один из немцев, еще подросток, гневно кричал:

— Отпустите меня... я хочу домой! Я ведь не живу в Гамбурге — я из датской Альтоны, это рядом! Вы не имеете права...

Конвоиры, помогая себе прикладами ружей, только смеялись над этими наивными словами. Всех пойманных они загнали в здание казармы, наступила ночь, часовой возился с кремнем, высекая искру, чтобы раскурить трубку. Вдруг на его голову со звоном посыпались разбитые стекла, и в тот же миг из окна второго этажа метнулась тень подростка, совершившего прыжок.

— Вернись! — крикнул часовой. — Не заставляй стрелять...

Ответом ему был топот убегающих ног. От Гамбурга до нейтральной Альтоны было рукой подать, и беглец, зябко дрожа, скоро постучался в двери родного дома.

— Слава Всевышнему! — воскликнул учитель Якоб Струве, впуская сына под сень своего дома. — Где ты пропадал?

— Отец, — отвечал Вилли, — мне еще здорово повезло... Но французы так обнаглели, что завтра их можно ожидать даже в нашей тихой Альтоне... я должен бежать!

— Куда?

— Только в Россию, ибо только эта страна способна дать мне покой, только она может устрашить Наполеона...

Так Вильгельм Струве, сын альтонского учителя, оказался в России, где и стал называться Василием Яковлевичем.

В его судьбе еще ничего не было решено.

Почти вся Европа уже была растоптана железной пятой Наполеона, а старый учитель со слезами читал письма сына, писанные по-латыни из тихого университетского Дерпта.

— Мой мальчик Вилли уже студент, он станет филологом и зарабатывает сам — гувернером в добром семействе... Его сочинение об ученых древней Александрии удостоилось золотой медали. Бедная моя Марта, почему ты не дожила до этих дней, чтобы радоваться вместе со мною?..

Сыну исполнилось лишь восемнадцать лет, когда он закончил университет, ему предлагали место старшего учителя истории в дерптской гимназии; юноша отказался, говоря, что теперь увлечен математикой и астрономией. Это правда — дерптская обсерватория стала для него святыней, многие инструменты в ней лежали еще в ящиках, нераспакованные, Струве сам их собирал, по ночам всматривался в таинства звездного мира... Наполеон, бежавший из Москвы, откатывался и далее. Летом 1813 года Струве защищал свой научный трактат на соискание степени магистра математики и астрономии, а в самый разгар научного диспута с улицы протрубил рожок почтальона, кричавшего:

— Друзья, корсиканец разбит в битве под Лейпцигом...

Летом он навестил родительский дом в Альтоне, состарившийся отец сказал ему:

— Спасибо тебе, сын мой, что показал мне свои дипломы и медали из чистого золота, а я тоже приготовил тебе нечто такое, что дороже всего золота на свете... Эмилия, где ты? — позвал он с веранды. — Не стыдись, моя девочка...

Эмилия Валл, наполовину немка, наполовину француженка, удачно сочетала в себе качества добропорядочной немецкой хозяйки с изящным кокетством парижанки. Устоять перед нею было невозможно, через год уже состоялась их свадьба, и в самый разгар ее, когда сдвинулись бокалы над столом, дверь с улицы распахнулась настежь.

— Вилли! — крикнул сосед жениху. — Ты будешь очень счастлив с этой женою... твой первый поцелуй, ей подаренный, отмечен победным грохотом пушек в битве при Ватерлоо!

Войска Блюхера и герцога Веллингтона закончили всем уже опостылевшую «эпоху Наполеона», и отныне все дороги Европы, ведущие в города, славные университетами и обсерваториями, стали открыты для ученых, открыты и безопасны. Счастливые, рука в руку, молодожены ехали в Дерпт, и здесь Василий Яковлевич построил себе домишко, а Эмилия рожала одно дитя за другим, отчего вскорости ученый, дабы ему детвора не мешала, устроил кабинет на чердаке. Жалованье увеличили, но его все равно не хватало на такую ораву, а милейшая Эмилия неустанно выпячивала живот, говоря мужу:

— Вот тебе еще! Подумай о своих детях... здесь тебе только обещают кафедру профессора, а не лучше ли сразу бросить Дерпт и уехать в Грайфсвальд, где обещают твои заслуги оценить по достоинству.

Но Струве, исполненный сил, уже привык считать себя русским ученым, он возлюбил русские морозы, он охотно возглавил пожарную команду дерптских студентов, он ухаживал за парком университета, но он не желал быть ни ректором, ни деканом, ни чертом, ни дьяволом...

— Помилуйте! — доказывал он начальству. — Я ведь астроном, следовательно, я не имею права спать ночами, как все порядочные люди... Посудите сами: какой из меня декан, если я днем буду отсыпаться после ночного общения с планетами? — А жене Эмилии он говорил: — Что мне Грайфсвальд, если в Петербурге задумались о создании помпезной обсерватории в Пулковке? Передо мною откроются новые загадочные миры...

Струве не было и тридцати, когда его избрали членом-корреспондентом Академии наук, затем почетным членом, а в 1832 году Василий Яковлевич стал ординаторным академиком, что обязывало его жить в столице, но ему разрешили остаться в Дерпте, ибо столица еще не имела хорошей обсерватории. Эмилия жаловалась

своей подруге — тихой Иоганне, дочери дерптского профессора математики Бартельса:

— Яганна, хотя мой Вилли ночует в обсерватории, но конца своим тягостям я не вижу. Смотри, опять я раздулась, как лягушка. Если Петербург обзаведется своей обсерваторией, как нам расстаться с тихим и милым Дерптом, где так хорошо моим деточкам!..

— Молчи, Эмилия, не доводи меня до слез, — отвечала подруга. — Я не переживу разлуки с тобой и твоими детьми...

Струве выезжал в Москву, чтобы наладить работу обсерватории в тамошнем университете, он бывал и на берегах Невы, доказывая, что академическая обсерватория никак не соответствует уровню русской науки и ее международного авторитета:

— Нельзя же холить ее лишь по той причине, что начало ей положил еще Петр Великий, как можно не понимать, что сотрясение нежнейших приборов от проезжающих карет, и воздух уже не прозрачный, задымленный фабриками и пароходами, поставили непреодолимый барьер точным исследованиям.

Человек практичный, Струве в интересах науки иногда был способен и поинтриговать, но опять-таки не ради личной корысти. Был уже 1833 год, когда Дерпт посетил министр народного просвещения граф С.С. Уваров, который был в восторге от того, что местные профессора жили дружно, никаких склок меж ними не возникало, никто никого не подсиживал, никто другим не завидовал... В письме к императору Николаю I министр назвал Струве «украшением Дерптского университета». Василий Яковлевич, предчувствуя, что будущее Пулковской обсерватории во многом будет зависеть от Уварова, решил польстить графу, дабы заранее заручиться его могучей поддержкой...

— Как вы это сделаете? — спросил его Бартельс. — Ведь его сиятельство совсем не дурак, он человек высокообразованный, недаром в молодости он ублажал капризную мадам де Сталь.

— Что-нибудь придумаю, — отвечал ему Струве...

Уваров, конечно, не отказался от посещения обсерватории Дерпта, славной своим новым рефрактором. Струве, приняв высокого гостя, сразу пожаловался на дурную погоду.

— По сей причине, мой экселенц, я и не стал приглашать вас для ночного лицезрения небесных светил. Если же вам угодно, можете осмотреть угол неба... хотя бы в этой его части. Прошу.

Уваров принял к оптике и — отшатнулся:

— Что я вижу? Ослепительная звезда...

— Не может быть, экселенц.

— Не верите? Так смотрите сами...

Василий Яковлевич глянул на небеса.

— Поздравляю! — закричал он. — Вы, экселенц, совершили научное открытие... Как же мы, астрономы, до сей поры не могли увидеть этой звезды? Позвольте, ваше сиятельство, внести ее в небесный каталог как дополнение к сицилийскому альбому Пиаци, и впредь эта звезда, открытая вами, останется существовать под вашим именем... Ну вот! — сказал он потом приятелю Бартельсу. — Теперь министр, польщенный научным «открытием», от меня не так-то легко отделается, а казна России денег на Пулковскую обсерваторию жалеть не станет...

Приходя домой, Струве иногда брался за розги:

— Ну-с, академическое потомство... Если вы не прекратите беситься, содрогая мой кабинет своими плясками, я найду минуту свободного времени, чтобы пересечь вас всех по старшинству или в порядке алфавита ваших имен...

Эмилия, вознаградившая его двенадцатью чадами, снова беременная, 1 января 1834 года родила последнюю дочь — Эмму, а на следующий день в муках скончался Альфред, ее старший сын, уже юноша. С женою случилось страшное нервное потрясение, и перед кончиной она просила мужа наклониться над нею.

— Спасибо за все, — сказала она, — но я останусь еще более благодарной на небесах, если ты, Вилли, исполнишь мою последнюю волю.

— Говори, — заливался Струве слезами.

— На этом свете меня может заменить для тебя и наших детей только одна женщина... Яганна Бартельс! Поклянись, что ты не будешь искать другую, а женишься на ней.

— Клянусь, — отвечал Василий Яковлевич...

Похоронив Эмилию, он очень скоро ввел в свой дом Иоганну Бартельс, которая вскоре родила ему еще четверых детей. Выбор покойной жены оправдался: вторая жена стала для своих и приемных детей чудесной любящей матерью, а Василий Яковлевич любил Яганну, как любил когда-то и покойную Эмилию.

Но с той поры дерптская жизнь стала для него тягостной, он сам уже мечтал перебраться в Петербург, чтобы от Пулковских высот пролегла в его судьбе четкая и прямая линия Пулковского меридиана...

Александр Брюллов проектировал и строил Пулковскую обсерваторию под зорким наблюдением самого Струве. Строили быстро: в июне 1835 года обсерваторию заложили, а в августе 1839 года состоялось ее торжественное открытие.

— Вы себя увековечили, — сказал Струве архитектору...

В ту пору еще не было такой дурной привычки — сначала все вырубить, а потом строить на голом месте; Пулково с давних времен было цветущим фруктовым садом, таким я запомнил его еще ребенком, в предвоенные годы. Война безжалостно разрушила этот волшебный оазис, оставив от создания Брюллова только руины, но могила Струве каким-то чудом уцелела...

Василий Яковлевич стал первым директором обсерватории в Пулкове, которая не сразу, но все-таки стала «астрономической столицей земного шара». Нигде в мире не было таких сверхточных и совершенных инструментов, не было и такой дружбы ученых; оторванные от столицы, астрономы жили как бы в единой семье, а дом директора стал их столовой и клубом. Слишком высок был тогда авторитет Гринвичской обсерватории, но ее директор Эйри, побывав в Пулкове, выразился так:

— Каждый астроном обязан поработать и пожить в Пулковке, если он желает остаться на уровне передовых знаний...

Нигде не было столь точных часов, как в Пулковке, — пулковским временем жила не только столица, но и вся Россия. Когда приезжали важные гости, Василий Яковлевич водил их по залам обсерватории, словно в музее, с трепетом доставая из шкафа подлинники рукописи Кеплера или Коперника, разворачивал древний персидский манускрипт Улугбека, найденный в руинах самаркандской мечети. «Пулковская обсерватория, — были записаны его подлинники слова, — есть осуществление ясно осознанной научной идеи в таком совершенстве, какое только возможно...»

— Возможно и гораздо большее, — говорил Струве близким, — но жалование астрономов ничтожно по сравнению с физиками, врачами и музыкантами... Очевидно, люди еще не видят практической пользы от изучения космоса. Пожалуй, вот только морские штурманы да офицеры Генштаба...

Нет смысла приводить перечень трудов Струве и его научных открытий — об этом можно узнать из любой энциклопедии, а мне желательнее говорить о нем как о человеке. Примерно с 1843 года Василий Яковлевич стал понемногу отходить от ночных бодрствований возле рефрактора или телескопа, все больше отдаваясь кабинетной работе, но раньше трех часов ночи он все равно никогда не ложился и до 65 лет никогда и ничем не болел.

Наружность его была суровая, но плохое настроение или безделье были ему неизвестны. Это был великий труженик, приучивший себя и своих детей ценить даже минуты, пустой болтовни Струве не признавал. У него было хорошее качество: умея дружить с высоким начальством, он был другом и своих подчиненных. В отношении с людьми несправедливости не допускал, а когда маленький человек говорил Струве о своих мелких нуждах, ученый принимал их к сердцу, как и дела высокого государственного значения...

Высокий ростом, почти великан, с седыми волосами, падавшими на воротник, тонкие губы упряма и две складки раздумий

между нахмуренными бровями — таким он запомнился современникам. Смолоду хороший гимнаст, Струве до старости катался на коньках, обучая держаться на льду своих внуков и правнуков. Сын его, Отто Васильевич, тоже ставший астрономом, иногда замещал отца на посту директора обсерватории... Январь 1858 года стал для Струве трагическим.

— У меня какое-то странное недомогание, — пожаловался он жене. — Что ж, это время болезни я использую для активной кабинетной работы. Врача не надо, лучший доктор — это работа!

14 января Отто Васильевич Струве отмечал день ангела своей жены, и отец его, сидя за праздничным столом, выглядел оживленным и даже веселым. Неожиданно он встал из-за стола:

— Наверное, мне лучше прилечь...

На его шее жена заметила большую опухоль. Утром врачи сделали операцию, удалив опухоль, но Василий Яковлевич облегчения не испытал. Самое страшное случилось, когда Струве вдруг полностью потерял память, не в силах вспомнить о простейших вещах. Его могучий мозг, всю жизнь ворочавший массой цифр многомиллионных астрономических чисел, теперь этот мозг, лишенный памяти, стал беспомощным, как мозг ребенка...

— Папа, что ты помнишь? — спрашивал его сын.

— Я хорошо помню только далекое прошлое. Помню, как французы ворвались в Гамбург, помню цветы на полянах, мимо которых неслись тогда кони, увозившие меня в Россию...

«Странно, — писал его сын, — что многие вопросы, которые до болезни были предметом его главного интереса, теперь, по видимому, совсем изгладились из его памяти...» Василий Яковлевич лечился на европейских курортах, а после долгого пребывания в Алжире вернулся в Петербург достаточно бодрым, но память его оставалась слабой, и Струве запросил об отставке. Вся его семья покинула Пулково и переехала в городскую квартиру. К тому времени он совершенно забыл о многих своих работах и на два тома «Описание меридианной дуги» смотрел даже с некоторым удивлением как на чужую работу.

Наконец усилием воли он вспомнил все и сказал:

— А третьего тома уже не будет...

Но, оставаясь верным себе и своему каторжному режиму, Струве все равно продолжал фанатично трудиться, он писал, писал, писал... Увы, все им написанное уже не имело никакой научной ценности.

Ночью 11 ноября 1864 года Василий Яковлевич скончался.

Потомство великого русского астронома раскинулось по миру слишком широко, были среди них ученые, генералы, дипломаты, в 1963 году умер его правнук — Отто Людвигович — ведущий астроном США. Среди потомков Василия Яковлевича более известен его родной внук Петр Бернгардович, которого у нас принято не хвалить, а ругать, ибо он в учении марксизма видел утопию, сотканную из нелепых противоречий, отвергал учение о социалистической революции, ему, прирожденному интеллигенту, казалась чужью мысль о так называемой «диктатуре пролетариата», которая ничего доброго народу принести не могла...

Академик с 1917 года, он был исключен из Академии наук в 1928 году и выехал за границу.

Проезжая мимо Любани

С детства я мечтал водить паровозы. После войны, когда распрощился с флотом, я решил учиться на машиниста. Пошел на курсы помощников машинистов, но меня отвергли — не хватало образования. Но даже поныне, постепенно старея, не могу спокойно слышать далекий возглас ночного паровоза. Меня каждый раз охватывает волнение юности, когда я, стоя под насыпью, наблюдаю за пролетающим вдаль составом, и я не раз говорил себе:

— Кто знает? Так ли уж правильно я выбрал свою судьбу? На кой черт мне сдалась эта окаянная литература! Если бы я мог сейчас стоять в будке паровоза, а передо мною раскрывалась бы дорога — дорога, как несбывшаяся мечта...

Влюбленный в железные магистрали, я, конечно, с большим удовольствием читал их историю. А эта история очень богата, порою даже трагична. И однажды, проезжая мимо станции Любань, я невольно подумал: «Не пора ли нам вспомнить Мельникова?..»

Знаменитый ботик Петра I вошел в историю как «дедушка» русского флота, но у железных дорог России была своя «бабушка», и они оставили нам многочисленное потомство...

Николаю I не давала покоя мысль: если французы пустили вагоны между Парижем и Версалем, то почему он из Петербурга в Царское Село ездит на лошадях? Проектов железнодорожных путей было множество, некоторые даже смехотворные. Так, например, предлагали настелить рельсы от столицы до Москвы, но вагоны с пассажирами пусть везут лошади с ямщиками. Старые вельможи при дворе Николая I утверждали, что с рельсами и шпалами пусть балуются в Европе, а в России, какую дорогу ни настели, ее все равно зимою засыплет снегом — не пройти и не проехать. Наконец, была и реакционная точка зрения: мол, связав города и население губерний быстрым сообщением, можно вызвать в народе вредные мысли, отчего как бы не возникла новая Пугачевщина...

«Бабушкой» магистралей будущего стала придворная дорога между столицей и царской резиденцией, продленная от Царского Села до Павловска, излюбленного места богатых дачников, где для публики давались концерты, где из кущ зелени выпархивали балетные сильфиды, а музыканты гвардейских полков свирепо выдували из труб воинственные марши. Эта первая дорога сделалась модной забавой для петербуржцев, а вид локомотива ошеломлял пассажиров: «Не можем изобразить, как величественно сей грозный исполин, пыша пламенем, дымом и кипячими брызгами, двинулся вперед», а за ним тащились сцепленные воедино не вагоны, а экипажи с дилижансами и платформа с дровами для отопления «исполина»... В нотных магазинах Петербурга раскупались ноты «паровой мазурки» по названию «Locomotive».

Был 1837 год — год смерти Пушкина стал датой зарождения на Руси железнодорожного транспорта. Институт путей сообщения уже существовал, выпуская для нужд государства знающих офицеров-путейцев. Они занимались прокладкой шоссе или каналов, о паровой же тяге судили по книге своего профессора П.П. Мельникова. В столице нудно и долго заседали многоречивые комитеты, судившие, выгодно или убыточно заведение железных дорог, пока не последовало решение свыше... Главноуправляющий путями сообщений, граф Карл Толь, герой 1812 года, вызвал к себе двух инженеров-полковников, которые считались в обществе большими друзьями.

— Господа! — сказал им Толь. — Императору надоела болтовня выживших из ума стариков сенаторов, и во исполнение его высочайшей воли мне велено послать вас в Америку, где железные дороги строят быстрее и длиннее, нежели в Англии.

Николай Осипович Крафт заметно огорчился:

— Увы, я не знаю английского языка.

Павел Петрович Мельников засмеялся:

— Не велика премудрость, научимся: «ай оу пыпл»...

— Нельзя ли ехать в Германию? — настаивал Крафт. — Там ведь тоже заводят железные дороги, а язык немецкий я знаю.

— Нельзя! — ответил граф Толь. — Германия не имеет климатических условий, схожих с русскими просторами, а климат Америки ближе всего к русскому... Итак, прощайте, господа!

Мельников был выпущен из Института в год восстания декабристов, его имя осталось на мраморной доске, ибо познания юного офицера были столь велики, что Институт оставил его репетитором по кафедре механики. Крафт был старше Мельникова, его прославил проект Волго-Донского канала. Друзья надолго покинули Россию, а когда вернулись из Америки, то «друзей» было не узнать. По выражению современника, полковники напоминали двуглавого орла, смотрящего в разные стороны. Вражда их меж собой была слишком выразительна, но сглаживалась взаимной

вежливостью хорошо воспитанных людей, тем более что им пришлось написать отчет о поездке в Америку, составивший целых три тома...

Карл Толь скончался в 1842 году, его место занял граф Петр Андреевич Клейнмихель, выученик Аракчеева, никогда не видевший железной дороги. Инженер-генерал Андрей Дельвиг, создатель Мытищинского водопровода в Москве, писал о Клейнмихеле, что тот ездил в Царское Село только в колясках, чтобы даже не видеть железной дороги. Но, выслушав приказ Николая I о своем назначении, он «немедля отправился на Царскосельскую станцию железной дороги и тут первый раз увидел паровозы, вагоны, рельсы и прочее...» Спрашивается, если это был такой ретроградный дикарь, то почему выбор императора пал именно на него? Ответ прост: невежество Клейнмихеля искупалось почти звериной свирепостью. Николай I знал, что Клейнмихель забьет насмерть тысячи людей, но повеление царя обязательно исполнит...

В особом комитете по железным дорогам заседали сенаторы, генералы, губернаторы и бюрократы, но, когда дело зашло о направлении дороги на Москву, император не стал с ними советоваться — он вызвал «на ковер» самого Мельникова.

— Слушай, — сказал Николай I, — о направлении дороги из Петербурга в Москву возникло немало различных мнений. Ты, наверное, знаешь, что богатые купцы Новгорода никаких денег не пожалеют, чтобы дорога на Москву прошла через Новгород.

Ответ Мельникова сохранился для истории:

— Дорога обязана соединить две русские столицы, а из Москвы предстоит прокладывать новые пути к югу и на восток, дабы связать ее со всей Россией. Отклонение пути к Новгороду нарушит прямизну генеральной магистрали, удлинит пути на восемьдесят верст — а следовательно, станет дороже и билет для пассажира. Если мы сейчас уступим новгородским Титам Титычам, то лет через десять или двадцать России все равно предстоит снова сыпать в болота миллионы, прокладывая прямой путь из Петербурга в Москву.

Николай I остался доволен таким ответом.

— Ты меня выручил, — сказал он Мельникову, — и твое мнение совпадет с моим. Так что ВЕДИ ДОРОГУ ПРЯМО...

Позже возникли обывательские анекдоты, будто Николай I взял линейку и провел по ней прямую линию между столицами, причем карандаш отразил даже кривой выступ, когда огибал палец императора. Все это — бредовая чепуха! Никогда Николай I не проводил трассу по линейке, а слова его «веди дорогу прямо» вовсе не означали, что она должна быть идеально прямой.

Мельников царедворцем никогда не был, а именно царедворцы немало испортили ему крови, называя его фантазером.

— На Руси всяк по-своему с ума сходит, — брюзжали сановные старцы. — Не один Мельников завихряется! Эвон князь Владимир Одоевский, писатель, до того додумался, что после железных дорог у нас вагоны с пассажирами по воздуху летать станут...

Егор Канкрин, министр финансов и неглупый человек, тоже пытался внушать Мельникову свои «передовые идеи»:

— Вы прежде подумайте! Непобедимость России заключена именно в ее бездорожии. Представьте, что в двенадцатом году мы бы имели железные дороги. Наполеон через два дня оказался бы в Москве, а потом фукнул бы дальше — в Сибирь! Нет уж, дорогой мой, не будет у нас дорог — и Россия останется несокрушимой.

А некоторые даже пугали царя, цитируя французского экономиста Шевалье, утверждающего: «Железные дороги — это самые демократические учреждения». В этом они нисколько не заблуждались. Великий русский демократ Белинский, уже в последнем градусе чахотки, все-таки находил в себе силы, чтобы часами наблюдать, как в столице возводится здание вокзала. Здесь его однажды встретил еще молодой офицер Федор Михайлович Достоевский.

— Я сюда часто хожу, — сказал ему Белинский. — Хоть душу отведу, когда постою да погляжу, как продвигается работа. Наконец-то у русских будет большая железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне тяжесть на сердце...

Так думал не один Белинский; многим казалось, что рельсы, протянутые в глубь великой России, выведут ее из тупика самодержавного режима, могучий локомотив разрушит устои старой, феодальной России. Именно по этой причине русское общество видело в инженерах-путейцах героев будущей, обновленной России.

Кстати, слово «паровоз» изобрел писатель Николай Греч (до этого они назывались «парходами»). В простом народе железные дороги окрестили словом «чугунка», понятия о ней были слишком примитивными, и не только старые бабки, но даже захолустные помещики думали, что поверх земли будут укладывать чугунные плиты, по которым «нечистая сила» потянет вагоны. Но зато все русские дружно бранили Клейнмихеля, даже те, кто его никогда не видел. На вопрос: как можно бранить человека, не зная его лично, в публике обычно отвечали так:

— Да ведь черта тоже никто не видел, а разве кто о нем скажет доброе слово? Глас народный — глас Божий...

Тринадцатого января 1842 года царь созвал на генеральное совещание ареопаг своих сановников: быть или не быть дороге, допускать ли к ее созданию иностранный капитал или строить дорогу на «собственных костях»? Мельников на это совещание приглашен не был. Перед ним даже не извинились:

— Помилуйте, но ведь вы... только полковник!

Дорогу решили строить на русские деньги, а сооружение магистрали поручили двум полковникам — Мельникову и Крафту, которые, как догадывается читатель, не заключили друг друга в жаркие и трепетные объятия. Николай I дал им личную аудиенцию, хотя всю жизнь не терпел путейцев, считая Институт путей сообщения рассадником вольнодумства. Он обещал, что двери его кабинета всегда будут открыты для Мельникова и Крафта:

— По любому вопросу прошу беспокоить лично меня...

В этом царь обманул их. Обманул и вторично, сказав, что инженерам будет предоставлена вся полнота власти на магистрали.

Крафт в присутствии царя молчал как проклятый, и тогда император обратился к Мельникову с насущным вопросом:

— Я нуждаюсь в вашем мнении: выписывать ли нам паровозы и рельсы из Европы или производить их у себя дома?

«Я отвечал, — вспоминал Мельников, — что признаю не только полезным, но даже необходимым локомотивы и вагоны устроить дома, хотя это и обошлось бы несколько дороже для казны...»

— Если наши рабочие, — сказал Мельников, — сами будут создавать паровозы, то именно из рабочих явятся машинисты для их обслуживания. Закупая же паровозы за границей, мы сразу обречем себя на зависимость от иностранных машинистов.

Царь ответил: «Я уже обещал это русским заводчикам... но я не знаю, что из этого выйдет!» Будущая дорога была разбита на две Дирекции, и Крафт возглавил Южную (с лучшими условиями работы), а Мельникову досталась Северная, где от самого Петербурга тянулись болота, а над землекопами кружились тучи лесной мошкары. Николай I благословил полковников, умолчав о главном: управлять строительством будет безграмотный сатрап Клейнмихель, и когда ему поднесли карту будущей трассы, то Петербург оказался внизу, а Москва сверху.

— Переверните карту, ваше сиятельство, — сказал писарь, низайше кланяясь графу. — Вы держите ее вверх ногами.

— Молчи, дурак! — отвечал Клейнмихель в свойственном ему духе. — Я самого тебя заставлю ходить вниз головой...

Павел Петрович настаивал перед графом, чтобы проекты железных дорог были преданы самой широкой гласности. Клейнмихель скорчил такую гримасу, будто вместо марципана закусил рюмку шартреза сороконожкой из общественного нужника.

— Дать народу право обширной гласности, — ответил Клейнмихель, — это все равно что держать тигра за усы...

Между тем русское общество не оставалось равнодушным к построению дороги. Инженер Ераков, женатый на сестре Некрасова — Анюте, дал поэту обличительный материал для создания зна-

менитых его стихов: «Вот они, нашей дороги строители...» Среди путейцев служил Лиодор Загоскин, брат романиста, и кузен поэта Дельвига; хорошо трудились братья Панаевы, близкие к редакции «Современника», и Миклухо-Маклай, отец знаменитого путешественника; на стройке работал брат артиста Василия Самойлова; наконец, вместе с русскими утруждал себя американский инженер Дж. Уистлер, отец всемирно известного живописца; Уистлер был личным другом Мельникова, и, умирая в 1849 году, он завещал ему свой портрет и библиотеку технической литературы. Казалось, все виды искусства соприкасались со строительством, а русское общество хорошо знало обо всех безобразиях на магистрали, которая прокладывалась буквально поверх костей рабочих...

Крафт поселился в Твери, дичась общества, а Мельников основал свой штаб в Чудове, окружив себя задорною молодежью; они никогда не встречались, лишь переписывались. На Севере было труднее работать, но Мельников в своей Дирекции уничтожил всякую бюрократию, лично общаясь с инженерами и рабочими; зато Крафт не вылезал из Твери, задушив свою Дирекцию горами бумаг, инструкций и приказов. Царь ни разу не посетил районы строительства; граф Клейнмихель объезжал трассу дважды в году, весной и осенью, никогда не пытаясь примирить Крафта с Мельниковым, антагонизм которых выражался слишком откровенно.

Дорога целиком была отдана на откуп хищникам-подрядчикам; эти «лабазники» налетели на стройку отовсюду — как воронье на падаль. Казна трещала, не в силах удовлетворить их алчность. За шпалу в 30 копеек они драли с казны по 7 рублей — и быстро становились миллионерами. Их мотовство дошло до крайности: так, моясь в бане, они поддавали на каменку не водой, даже не малиновым квасом, а французским шампанским знаменитой марки «Вдова Клико». Офицеры же путей сообщения, далекие от разгула, селились в избах крестьян, лишь изредка выбираясь в города. От звериной тоски они почти все переженились на сельских барышнях, а иногда навещали Торжок, где в местном трактире утешали себя пожарскими котлетами.

Землекоп был главной фигурой на стройке, их навезли со всей России, много было бедных литовцев. Дж. Уистлер, дабы облегчить их каторжный труд, выписал из Америки паровые экскаваторы, но они ломались на выемке грунта сразу, едва их ковши задевали тяжелые камни. А ведь каждый землекоп, чтобы получить свои копейки, был обязан за один только день перелопатить 66 пудов земли, — так возводилась насыпь! Все избы окрестных деревень были переполнены больными и умирающими; вдоль будущей дороги Москва — Петербург выстраивались кресты убогих погостов. Подрядчики заламывали такие цены за каждый мешок гороха, что волосы вставали дыбом. Мельников, как и Крафт, люди честнейшие, в этой вакханалии стяжательства участия не принимали. Но часто жаловались Клейнмихелю:

— Нельзя же потворствовать столь отвратительному грабительству. На дорогу отпущено сорок три миллиона серебром, но тут не хватит и ста миллионов золотом, чтобы дотянуть рельсы до Москвы... Воля ваша, так вы, граф, и вмешайтесь!

Но Клейнмихель не вмешивался.

— И без вас все знаю, — отвечал он. — Но... пусть грабят и дальше, сволочи! Если же удешевить строительство, то низкие цены вызовут при дворе сомнение в солидности моего предприятия, одобренного его императорским величеством.

Что взять с Клейнмихеля? Когда не стало болтов, он велел своему племяннику — полковнику гвардии Огареву:

— Хотя укради, но чтоб эти болты у меня были...

Огарев разом положил в карман мундира 50 тысяч рубликов. А некий барон Корф, тоже подрядчик, хапнул сразу 680 тысяч рублей, которые следовало заплатить рабочим на трассе. Не получив ни копейки, умирая с голодухи, землекопы начали разбегаться куда глаза глядят. Тогда барон Корф вызвал жандарма Вроблевского, и тот в один день перепорол 300 землекопов, выдав каждому по 80 розог, хотя они ждали получить по 80 копеек...

В августе 1850 года Николай I навестил Москву, дабы праздновать юбилей своего 25-летнего царствования. Конечно, в Кремле

был устроен парадный обед, в блистающем сонме обедающих за царским столом был и граф Клейнмихель.

— Ты чего там копаешься? — вдруг разгневался царь. — Семь лет прошло, а когда повезешь меня по своей железной дороге?

Клейнмихель застыл с ложкою возле рта:

— На будущий год, Ваше Величество... скоро!

— Смотри! — через весь стол погрозил ему вилкою император. — Я из тебя весь сок выпущу, ежели слово не сдержишь...

За столом сидел и Мельников, но царь с ним не беседовал. После обеда Клейнмихель зазвал его в кабинет:

— Слышал, что обещал государю?

— Слышал. И пришел в ужас от вашего обещания.

— Я сам наклал полные штаны, — сознался Клейнмихель. — Но слово не воробей, вылетит — не поймаешь...

Дистанционные инженеры на стройке получили приказ: к 1 августа следующего года дорогу закончить, чтобы 15 августа испробовать ее перевозкой войск гвардии, а 22 августа прокатить до Москвы самого императора. Получив такое распоряжение, путейцы хватались за головы — впереди была морозная зима:

— Земля промерзнет на большую глубину. Песок еще можно рыхлить, но как работать на глинистых почвах, которые затвердевают на морозе, становясь крепче камня?

Породу взрывали порохом. В.А. Панаев вспомнил: «Едва крестьяне засеяли яровое, мы издали клич по всем окрестным деревням, и к нам явились тысячи народа с бабами. Мужики рыли землю сошниками, а бабы таскали ее — кто в мешках, кто в рогожах, кто в фартуках, а кто и просто в подолах». 15 августа 1851 года первый паровоз провез до Москвы первые вагоны. В них отважно ехали семеновцы и преображенцы, которых пустили по трассе вроде подопытных кроликов. Гвардия доехала до Москвы благополучно, после чего тронулся сам император. Царица побоялась ехать и осталась в столице. В пути царь сделал остановку возле Веребьинского моста — чуда тогдашней техники, которым не перестают восхищаться

и сегодня советские инженеры. Царь спустился под мост, оглядывая его снизу, а в это время подрядчик заметил, что рельсы, еще не прокатанные колесами, покрылись ржавчиной.

— Крась! — заорал он. — Крась, пока не заметили...

Вмиг рельсы густо обляпали масляной краской. Император вернулся в вагон, а поезд — ни с места: забуксовал. Его колеса вхолостую вертелись на жирной смазке свежайших белил.

— Быстро смыть краску, сыпь песок на рельсы, — сообразил Мельников. — Хуже нет усердия не по разуму...

Станций еще не было, телеграф дорогу не связывал. Но царь прокатился благополучно и, прибыв в Москву, каждый день гонял в Петербург паровоз, чтобы отправить письмо жене. Обратный паровоз доставлял ему любовные писульки жены. Но в переписке царственных супругов вдруг образовался перерыв: обратный поезд однажды не прибыл. Клейнмихель велел Мельникову:

— Немедленно послать поезд навстречу.

— Но связи меж ними нет, поезда столкнутся.

— Ерунда! Увидят свет фонарей — сами остановятся...

Понимая всю опасность, Мельников сам сел в московский поезд и выехал навстречу петербургскому. За городом Клином встречные поезда встретились, и машинисты заметили свет их фонарей на крутом повороте, когда тормозить было поздно...

Павел Петрович Мельников сам рассказывал:

— Последовал удар такой силы, что я растянулся на полу, как лягушка. Мой вагон не раздробило только потому, что он был один, прицепленный к тендеру паровоза. Когда я выбрался, первое, что увидел, это машиниста, разорванного пополам. Оба встречных локомотива поднялись на дыбы, упираясь друг в друга передними колесами, и ревели в открытые сирены, будто звери, сцепившиеся в поединке. Машинист одного паровоза убит, а кочегара выбросило вон, остался жив; на другом тендер раздавил машиниста и кочегара на паровом котле. Нам никак было не вызволить их оттуда, и в течение часа они жарились заживо в неслыханных страданиях...

Такова первая железнодорожная катастрофа в России!

Вначале погибало очень много деревенских собак, которые, заметив фыркающее паром чудо-юдо, выскакивали прямо на рельсы, изо всех сил облаивая паровозы. Коровы тоже не понимали опасности, а быки, склонив головы, даже мчались навстречу поездам, чтобы поразить эти чудовища своими рогами... К сожалению, читатель, я забыл фамилию человека, который первым на Руси угодил под колеса поезда. Помнится, это был пьяный чиновник...

Алексей Бобринский случайно подслушал разговор царя с Клейнмихелем, суть которого не счел нужным скрывать от Мельникова. Император, поздравляя графа с окончанием дороги, спросил — как и чем наградил инженеров-путейцев, которые *девять лет подряд* не вылезали из лесов и болот, руководя работами.

— Ваше Величество, — отвечал подлец, — вы не поверите, как я измучился, подгоняя этих ленивых оболтусов. Даже Мельников и Крафт, люди знающие, оказались столь нерасторопны и неопытны, что доставили мне одни лишь заботы и лишние хлопоты...

Высший орден империи достался Клейнмихелю, а Мельников с Крафтом получили скромные ордена Святой Анны. Но дорога, раньше срока пустившая по едва достроенной трассе, уже перевозила пассажиров. Это были сущие мученики! Локомотивы часто ломались на голом месте, не доходя до станции; в морозы они замерзали, и пассажиры пешком топали до ближайших станций или разбредались по деревням, прося у крестьян покормить их. Тогда же в столичной печати появилась злая, но справедливая карикатура: в снежных сугробах застыл поезд, из окон вагонов, заламывая руки, вопят о помощи несчастные, голодные пассажиры, а мимо них по зимнему тракту легко и проворно несется лихая тройка, которая быстрее поезда будет в Москве...

Клейнмихель едва терпел Мельникова за его прямоту и почти рыцарскую честность; презирал его за то, что этот человек, едва ли не главный создатель дороги, не сумел обогатить себя, а жил

на свое жалованье, часто вообще сидел без обеда, спал на охапке соломы, не имел даже одеяла, накрываясь, как солдат, шинелью. Чтобы он впредь не мозолил глаза жуликам, его спровадили строить «антрацитную» железную дорогу в Донбассе.

— Во всем, что мы наблюдаем, виноват не только Фауст, но и сам Мефистофель, — иносказательно, но вполне доходчиво говорил Мельников о графе Клейнмихеле и самом императоре...

Он стал неугоден. Его проекты развития железных дорог по всей России и активного судоходства по всем рекам и морям отвергались столичной бюрократией как «несбыточные». Павел Петрович не был энергичным борцом, способным лбом проламывать стенки казенного равнодушия, он умел лишь страдать:

— Ладно! Гром не грянет, так мужик не перекрестится. А случись война где-нибудь на Дальнем Востоке или даже в Крыму, — если не будет железных дорог, то нашему солдату никаких сапог не хватит, пока он доберется до места сражений.

Севастопольская кампания доказала его правоту: солдаты шагали до Крыма пешком, артиллерию тянули ленивые волы. Наконец Николай I отдал концы. Клейнмихель вылетел в отставку, и это вызвало такую буйную радость в публике, что на Невском проспекте столицы незнакомые прохожие обнимались, расточая поцелуи, все поздравляли друг друга столь сердечно, будто одержана победа над Севастополем. При новом императоре Александре II открылась чередна насущных реформ, но прежняя рутина не сдавала своих позиций; бумагописательный формализм доказал свою неистребимую живучесть, способный процветать в любые эпохи, независимо от желаний любого начальства.

После Клейнмихеля к управлению путей сообщения пришел умный горбун, образованный генерал Чевкин, но ему ума хватило лишь на то, чтобы ко всякому полезному начинанию привлекать иностранный капитал; при Чевкине русским инженерам-путейцам запрещалось даже подниматься в будку паровозного машиниста, ибо машинисты были из иностранцев, и они никак не хотели делиться секретами своего ремесла... Тут было над чем задуматься!

Мельников получил орден Святого Владимира за проектирование железных дорог к югу от Москвы, ведущих к портам Черного моря, но его проект запоздал: война была уже проиграна. Петербург, созданный на отшибе империи, постепенно терял свое значение, Москва быстро становилась «ядром» всего железнодорожного транспорта страны. Мельников это давно предвидел:

— Еще Дидро говорил Екатерине Великой, что иметь столицу в Петербурге — это все равно что человеку иметь сердце под ногтем мизинца, а Москва — давнее сердце всей России, и она издавна не терпела вмешательства иноземных знахарей... — Собеседники догадывались, что под знахарями Мельников имеет в виду иностранных банкиров, собиравших дивиденды с прокладки русских магистралей. В конце 1858 года его избрали в почетные члены Академии наук. Толстосумы и спекулянты, природные и зарубежные, наживали миллионы на строительстве частных железных дорог, они хотели бы прибрать к своим загребушим рукам и дорогу между столицами как самую выгодную, но Павел Петрович (уже генерал и академик!) отстоял ее: она осталась казенной.

— Будь моя воля, — говаривал он, — я бы все пути сообщения подчинил государственным интересам. Это вам не частная лавочка, где торгуют хомутами, мылом или рахат-лукумом. Наконец, пора избавить несчастного русского мужика от бурлацкой лямки, дабы по Волге и ее притокам бегали быстроходные пароходы...

В 1862 году его назначили управляющим, а через два года и министром путей сообщения. Сначала он вернул в Институт студентов, исключенных за «крамольные» мысли. Царю он сказал:

— Ваше Величество, я ведь тоже не всегда высказываю мысли, которые угодны Вашему Императорскому Величеству...

Мельников охотно принял японскую делегацию, не скрывая от восточных соседей ничего такого, что интересовало японцев для заведения железных дорог в Японии, вступавшей в бурную «эпоху Мэйдзи». Для нуждающихся студентов Павел Петрович установил повышенную стипендию.

— А где вы возьмете денег? — спрашивали его.

— В своем кармане, — отвечал Мельников...

На посту министра он сделал очень много полезного, но остался прежним скромником. Редко можно встретить такого еще министра, который ютился бы в одной комнатенке, ездил, как и все люди, в общем вагоне, и никто из пассажиров не признал бы в нем академика и властелина самого богатейшего и самого перспективного министерства России... Впрочем, однажды он раскрыл свое инкогнито. В вагон поезда вошла веселая, явно под хмельком, щегольски одетая компания молодых путейцев, они даже не заметили своего министра. Мельников сказал им:

— Вы, господа, как я догадываюсь, живете не по средствам. С вашего жалованья так не одеваются. Вы наверняка пошили свои мундиры у лучших портных столицы, выпили на станции шампанского. Согласен, что вам сейчас приятно и весело. Но как бы это веселье не кончилось тем, что скоро вам денег не хватит. А тогда будете брать взятки и воровать казенные деньги... Так будьте скромнее, ибо в скромности — залог честности!

Мельников отменил военные звания для инженеров-путейцев, Институт путей сообщения стал гражданским заведением, куда шли учиться не только дворяне, но и разночинцы. В городе Ельце он открыл первое в стране училище для рабочих, будущих машинистов, дорожных мастеров и работников телеграфа. При нем Россия удлинит свои железнодорожные магистрали почти на пять тысяч верст, а по Волге забегали пароходы общества «Меркурий».

Не для себя он старался — для отечества! А за все, что Мельников сделал хорошего, он получил выговор за плохую работу. Павла Петровича выжил шеф жандармов граф Шувалов, мечтавший посадить в кресло министра своего человека...

— Черт вас всех раздери! — сказал на прощание Мельников. — Опять я не угодил ни Фаусту, ни Мефистофелю...

Покинув столицу, он поселился на станции Любань, подальше от столичной суеты, где вел самую простую жизнь. Поглощенный

наукой и писанием мемуаров, он так и не удосужился найти для себя подругу жизни. Довольствуясь в быту самым малым, ведя почти аскетический образ жизни, Павел Петрович под старость обнаружил, что у него скопилось немало денег. Растратить их на себя и свои нужды — об этом он даже не помышлял! Не таков был этот человек. Мельников на свои сбережения открыл в Любани школу для детей рабочих-путейцев, устроил богадельню для престарелых инвалидов войны и одиноких старух, которым деваться было некуда...

Происхождение же самого Мельникова было темное, едва ли не простонародное, ни знатной родней, ни гербами не обзавелся. Но был у него родной брат Алексей, имевший дочь — Варвару! Ради нее братья приобрели в окрестностях Вильно (Вильнюса) небольшую усадьбу Меркучай. Павел Петрович умер в 1880 году, а через три года после его кончины племянница стала женой Григория Александровича Пушкина, сына великого поэта.

По странному капризу истории они венчались в той самой виленской церкви, в которой когда-то Петр I крестил Ибрагима Ганнибала, прадеда поэта. Григорий Пушкин провел в Маркучае последние годы жизни, там же и умер в 1905 году.

Его вдова Варвара Алексеевна пережила мужа на тридцать лет.

Почувствовав приближение смерти, она завещала хранить свою усадьбу Маркучай — как будущий музей поэта с его вещами, сохранными для истории ее мужем, и музей А.С. Пушкина был открыт для публики уже после войны — в 1948 году.

Так совместились имена Мельникова и Пушкина.

Проезжая мимо Любани, каждый заметит, что в сквере станции стоит памятник Павлу Петровичу Мельникову. Он установлен в 1954 году, и тогда же прах ученого был перенесен с кладбища к подножию памятника.

Наша страна давно стала Великой Железнодорожной Державой, и мимо могилы зачинателя русских железных магистралей — дено и ночью — проносятся сияющие огнями экспрессы, с каждым годом наращивая скорость...

Жаль, что холодная бронза памятников неспособна жить, видеть, чувствовать!

А все-таки жаль, что я не стал машинистом...

Добрый скальпель Буяльского

Для начала раскрываю том истории Царскосельского лица, выпущенный в 1861 году... Читаю: «Извлечение из тазовой полости инородного тела, воткнувшегося снаружи через овальную дыру, сделанное профессором анатомии статским советником Буяльским».

Не будем придирааться к огрехам языка прошлого...

Случилось это в 1833 году; занятия в Лицее кончились, и мальчики резвились. При этом один из них подшутил над другим «самым неразумным и безжалостным» образом. Когда двенадцатилетний Алеша Воейков садился на скамью, он «подставил ему стоймя палочку из слоновой кости»; палочка длиною с указку переломилась, и «когда сей несчастный ребенок от сильной боли соскочил», то при сокращении седалищных мышц палочка сама по себе вошла в глубь его тела, словно шпага, разрывая внутренние ткани ребенка... Глупая забава грозила смертельным исходом.

Директор Лицея, генерал Гольтгойер, был испуган:

— Что скажет государь, если узнает? Мы же ведь не в диком лесу живем, а в самой резиденции Его Величества... О Боже!

Алеша Воейков кричал от нестерпимой боли.

— Терпи, — говорил ему генерал. — Сам виноват.

— Чем же я виноват? — плакал мальчик.

— Надо было смотреть, куда садишься...

Но скрыть происшедшее было нельзя, и только на следующий день решили позвать царского лейб-хирурга Арендта. Когда он пришел в лазарет, Алеша Воейков уже не мог согнуть ногу.

— Где больнее всего? — спрашивал Арендт.

— Везде больно, — отвечал лицеист...

Арендт говорил при этом уклончиво:

— Положение слишком серьезное. Тут нужен консилиум...

Пришли из царского дворца другие врачи, крутили Воейкова так и сяк, пытались прощупать палочку в его теле, но им это не удавалось. Гольтгойер твердил лишь одно:

— Что скажет государь, если узнает об этом? Это же конец всему... Господа, да придумайте же наконец что-нибудь!

На третий день хирурги сообща нашли выход:

— Посылайте карету за Ильёй Буяльским...

Буяльский прибыл. Лейб-хирурги, боясь ответственности, уклонились от ассистирования ему при сложной операции.

— Генерал, — сказал Буяльский директору Лицея, — в таком случае прошу подержать мальчика лично вас...

Проклятая указка не прощупывалась ни там, где она вошла в тело, ни там, где бы она должна торчать своим концом.

— А если оставить так, как есть, — наивно предложил Гольтгойер, сам измучившись. — Ведь живут же солдаты с пулями в теле.

— Э-э, генерал! Нашли что сравнивать... пулю с указкой!

Тонкий серебряный шуп погрузился в тело ребенка. Буяльскому никак не удавалось прощупать обломленный кончик указки. Прошло уже более двадцати минут, а среди обнаженных скальпелем мускулов все еще не было видно палочки... Наконец он ее нащупал.

— Вот она! Уже пронзила поясничный мускул...

Обхватив ее конец щипцами, Буяльский (человек большой физической силы) извлек «инородное тело» на тридцать четвертой минуте после начала операции.

— Теперь согни ногу, — сказал он. — Гнется?

— Ага, — обрадовался Алеша Воейков.

— Жить будешь долго, — попрощался с ним Буяльский. — Но генерал прав: прежде, чем садиться, посмотри, куда садишься...

Эта опасная по тем временам операция вошла в историю русской хирургии, а путь в науку был для Буяльского совсем нелегким.

Столичную медицину представляли в основном немцы. Это было нечто вроде замкнутой корпорации, в которую посторонние не допускались.

«Пока я буду медицинским инспектором, — говорил лейб-медик Рюль, — ни один русский врач не получит практики в учреждениях столицы!» Но среди этих пришлых «светил» попадались и честные натуры, вроде нарвского уроженца Ивана Федоровича Буша; он и заметил Буяльского, когда тот еще учился на третьем курсе Медицинской академии.

— А ты хорошо рисуешь, — сказал ему Буш.

— Ранее мечтал быть художником или архитектором.

— Молодец, — похвалил его Буш. — Между искусством карандаша и движением скальпеля есть много общего. Как это ни странно, но хирургия и живопись соприкасаются: их роднит знание анатомии.

Буяльский стал посещать клинику Буша, который так привык к своему ученику, что вскоре доверил ему ведение операций.

— Только не бери примера с хирургов, хвастающих, что успевают разрезать и зашить человека, пока не искурилась их сигара.

— Паче того, Иван Федорович, — отвечал Буяльский, — пепел сигары иногда падает в рассеченную скальпелем полость...

Завершилась война с Наполеоном, столичные госпитали были переполнены инвалидами, молодой ординатор Буяльский в 1815 году имел около четырехсот больных солдат, которых следовало поставить на ноги... Как-то в клинику поступил старик по фамилии Цалабан, крайне раздражительный, настаивавший, чтобы его оперировал непременно сам профессор Буш.

— Это уже развалина, — говорил про него Буш.

Но «развалина» оказалась настырной:

— Режь меня... не бойся... сто рублей дам!

Буш, оперируя, нечаянно поранил множество артерий. Кровотечение было так велико и так стремительно, что грозило смертью, и Цалабан впал в глубокий обморок... По причине крайней близости

рукости Буш близко наклонялся к ране, и кровь, словно из шприца, брызгала ему в лицо. Профессор отбросил скальпель:

— Проклинаю себя за то, что взялся за этого старика. Илья, скорей накладывай лигатуры... Делай сам, как знаешь!

Буяльский наложил на вены зажимы и спас человека.

— Хорошо, — сказал Буш. — Тяни его из могилы дальше...

Буяльский выходил Цалабана, который, оправясь, стал совать в руку Буша 100 рублей. Буш передал их Буяльскому:

— Илья, вот твой гонорар... Держи! А ты, — сказал он Цалабану, — благодари не меня, а этого молодого человека: не будь Буяльского, и ты бы давно зажмурился...

В это время жители Петербурга много страдали от аневризм — закупорки сосудов. Современник пишет: «Лигатуры больших артерий считались тогда самыми важными операциями, и кто сделал одну из подобных — тот прославлялся на всю жизнь, будь он даже самый посредственный хирург». Когда на поврежденную вену накладывали лигатуру, в анатомический театр собиралась масса зрителей, на почетных местах восседали генералы от медицины. В 1820 году как раз готовилось такое торжество: оператор А. Гибс обещал наложить лигатуру на ключичную артерию больного, а знаменитый Арендт вызвался быть ему ассистентом. Предварительно они оба как следует натренировались на трупах и были уверены в успехе операции. Собрались видные врачи Петербурга, пришел толстый и важный англичанин Якоб Лейтон, главный врач российского флота. Все расселись, предвкушая удивительное зрелище...

Гибс начал операцию. До артерии так и не добрался, а кровь уже заливала пол, и Гибс выглядел растерянным.

— Как быть? Идти мне с ножом еще глубже?

— Идите глубже. Артерия где-то неподалеку...

— Вот она! — воскликнул Гибс.

— Держите ее, не выпускайте, — поучал его Арендт.

Наложили лигатуру. Хотели зашивать. «А между тем, — пишет очевидец, — аневризма, причина всех хлопот, бьется по-

прежнему». В зале возникло беспокойство. Зрители привстали с мест. Арендт, явно струсив, хлопотал над больным, успокаивая собрание:

— Обычная *anomalia wasorum*, какие часто случаются...

Но тут честный Якоб Лейтон треснул в пол тростью:

— Черт побери, почему я не вижу здесь Буяльского?

Возникло замешательство. Буяльского не пригласили по той причине, что он... русский! А этот англичанин, чуждый интриг, стучал своей дубиной, гневно рыча:

— Я еще раз спрашиваю — отчего нету Буяльского? Я же вижу, что вы зарезали человека и сами не знаете, что делать.

Илья Васильевич жил недалеко, быстро приехал.

Легонько, но решительно отстранил Гибса и Арендта.

— Операторы искали *subclavia*, но, не найдя ее, разрежали ни в чем не повинную *dorsalem scapulae*... Сейчас исправлю!

Буяльский завершил операцию. Лейтон взмахнул палкой:

— Всех зову к себе... на обед!

За пиршеством до тех пор пили за здоровье Гибса и Арендта, пока это не надоело флотскому Лейтону:

— Я не для того позвал сюда, чтобы вы пили и ели за здоровье мясников... Ур-ра, господа, ура Буяльскому!

Историк пишет: «Для Буяльского с этого времени закрылись все пути... ядовитая ненависть немцев преследовала его до гробовой доски». Илья Васильевич был женат, имел дочерей и нуждался, когда открылась вакансия на место хирурга при Казанском университете. Жене он сказал:

— Машенька, годы-то идут, надо подумать, как жить дальше... Здесь, в столице, сама видишь, мне ходу не дадут!

Мария Петровна согласилась ехать в провинцию:

— И бог с ним, с этим Петербургом! А там, Ильюша, заведем домик с садиком. Чтобы вишенья. Чтобы крыжовник...

Надобно было повидать Магницкого, попечителя Казанского учебного округа, приехавшего в Петербург. Буяльский вспоминал:

«Это был красивый мужчина с высокомерною физиономией и явным самодовольством в каждом движении, рассчитанном на то, чтобы озадачить просителя». Он встретил хирурга словами:

— А вы думаете, я нуждаюсь в профессорах? Да мне стоит лишь свистнуть, как они сбегутся — больше чем надобно.

На что Илья Васильевич с достоинством отвечал:

— Ваше превосходительство, вы изобрели очень легкий способ для приискания профессоров хирургии. Можете свистеть, сколько вам вздумается! Бездомные псы на ваш свист, может, и сбегутся, но едва ли отзовется хоть один уважающий себя ученый...

Шли годы... Кэмбридж, Берлин и Филадельфия присвоили Буяльскому почетные звания, а наградой от России было то, что его сделали... консультантом Мариинской больницы (без жалованья!). Случай в Царскосельском лицее с удалением из тела Алеши Воейкова костяной палочки, однако, стал широко известен в обществе столицы.

Николай I вызвал к себе лейб-медика Рюля:

— Рюль! Ты, смотри, не загораживай дорогу Буяльскому...

А встретившись с Арендтом, царь шутливо спросил:

— Мой добрый Арендт, если моя жена, когда я буду садиться на трон, подставит мне под зад острую палочку, как это случилось в Лицее с олухом Воейковым, то скажи честно — кого звать на помощь: тебя или... Буяльского?

Арендт, сильно покраснев, отвечал императору, что лучше звать Буяльского, ибо он, Арендт, уже несколько староват.

— То-то! — сказал император и щелкнул врача по носу.

В тревожные дни 1837 года, когда на Мойке умирал Пушкин, Буяльский был возле его постели — вместе с другими врачами. В годовщину 100-летия со дня смерти поэта нашлись медики, осудившие своих коллег прошлого. «Вестник хирургии» обрадовал советских читателей, что сейчас все было бы иначе — «скорая помощь» доставила бы Пушкина в больницу, где поэта осмотрели бы рентгеном, сделали бы ему переливание крови и прочее. Но до-

стижения медицины XX века нельзя механически передвинуть в былое столетие. И потому прав академик Н.Н. Бурденко, который на особой сессии Академии наук СССР решительно заявил, что даже в 1937 году такие ранения, какое было у Пушкина, на 70 % кончаются смертью!

Художника из него не вышло, но зато Буяльский стал профессором Академии художеств, где читал курс анатомии. Преподавал эту науку не на трупах, а на картинах в Эрмитаже, водя учеников от одного полотна к другому. Даже у великих мастеров он находил немало ошибок в изображении человеческой природы и только мимо созданий академика Егорова проходил спокойно:

— Это Егоров... у него никогда не бывает ошибок!

В ту пору, когда считалось, что каждый врач должен учиться в Европе, Буяльский ни разу не выезжал за границу.

— А зачем мне смотреть, как помирают немцы или французы, ежели у меня в палате своих больных девать некуда... Люди, — говорил Илья Васильевич, — болеют везде одинаково. Совершенствоваться можно и дома, незачем для этого лапти по Европам трепать...

Всей своей жизнью Буяльский доказывал, что существует русская национальная хирургия, в основе которой — человеколюбие. Он принадлежал к числу тех редких хирургов, которые ампутацию ставили на последнее место, а главной своей задачей считали лечение больного. Илья Васильевич предупреждал учеников:

— Хирургия — еще не искусство, как думают иные. Она служит не ради прославления оператора, а лишь единственно ради здоровья оперируемого. Легче всего отпилить руку или ногу, чтобы потом сочинить статью, как быстро ты это сделал! Но еще никому из нас не удалось пришить руку или ногу на прежнее место. А потому, господа, в нашем деле надобно семь раз подумать, прежде чем один раз отрезать... Не увлекайтесь калечением людей!

Студенты Медицинской академии обожали его. Он был прост и доступен. Тридцать лет читал лекции на Выборгской стороне и за все эти годы не пропустил ни одной лекции. Даже когда по Неве проходил ладожский лед, он добирался до аудитории.

— Как же вы? — спрашивали его. — Неужто на лодке?

— Затонула моя лодка. Прыгая со льдины на льдину и добрался, как видите... Итак, на чем же мы с вами вчера остановились?

Сорок долгих лет продолжалось незавидное соперничество лейб-хирурга Арендта с Буяльским. Сорок лет Арендт заявлял:

— Я приду к больному, если там не будет Буяльского!

Соглашались, что Буяльского не будет. Он приходил. И каждый визит Арендта заканчивался одним и тем же:

— Кажется, нам следует пригласить Буяльского...

Илья Васильевич был непревзойденным мастером диагноза. Однажды княгиня Трубецкая, катаясь с ледяных гор, упала с высоты на невский лед вместе с санями и повредила плечо. Ее осматривали два видных хирурга — Арендт и Саломон; первый говорил, что у княгини перелом ключицы, а второй утверждал, что вывих головки плечевой кости. Спорили так, что возненавидели друг друга.

— Вывиха нет, а есть перелом ключицы!

— А я говорю, что у нее вывих! — горячился Саломон.

— С кем вы спорите? Обычный перелом.

— Да как у вас поворачивается язык?..

В дверях появился муж княгини Трубецкой:

— Господа, вы так мило здесь спорите, а время идет, моя жена истрадалась. Извините, я вынужден послать за Буяльским...

Илья Васильевич осмотрел больную, вышел к коллегам.

— Кто из нас оказался прав? — спросили его.

— Поздравляю вас, господа: на этот раз вы оказались правы оба. У женщины две беды — и перелом ключицы, и вывих...

Однажды гусара Новосильцева в манеже выбросила из седла пугливая лошадь. Новосильцев ударился плечом о барьер манежа,

предплечевая кость хрустнула. Но, падая, он машинально выставил вперед сломанную руку, которой и встретил удар об землю. При этом обломок кости прорвал мышцы, кожа лопнула — и кость вышла наружу, поверх сюртука... Срочно был вызван Арендт, приехавший с набором инструментов для неизбежной ампутации. Вскоре же явился и Буяльский.

— Не спешите с пилой, — сказал он. — Зачем же из красивого юноши делать калеку? Правая рука... она ему еще пригодится!

Арендт разогрел над пламенем страшную пилу:

— Вам бы только всегда спорить со мной!

Новосильцев не выдержал и при виде пилы заплакал:

— Неужели мне предстоит сейчас все это вынести?..

Возле его постели собрались почти все главные хирурги столицы. Гусар исстрадался, но лишь на седьмой день консилиум принял решение, согласившись с мнением Арендта — ампутировать.

— А я протестую, — стоял на своем Буяльский...

Арендт демонстративно собрал свои инструменты:

— Слышите, господа? В таком случае я ухожу...

Историк пишет: «Петербургские врачи-немцы и горячие почитатели Арендта, с негодованием разносившие по городу вести об упрямстве Буяльского, обрадовались новому случаю очернить его и без удержу терзали его хирургическую репутацию». Буяльский остался один возле больного, вокруг него сидели сородичи гусара.

— Ладно! Вашего гусара я беру на свои руки...

Вечером Илья Васильевич говорил Марье Петровне:

— Ах, Маша, Маша! Кому легче — мне или Арендту, не ведаю...

Оба мы с ним на высоте известности. Но Арендт, опираясь на большинство консилиума, ничем не рискует. А я, если Новосильцева не спасу, рискую всем, что добыто мною за полвека трудов...

Прошла неделя, началась вторая. Через двенадцать дней он получил записку, присланную с дворником, и Марья Петровна услышала, как ее муж плачет. Она вбежала к нему:

— Ильюша, значит, Новосильцев умер?

Он протянул жене записку:

— Прочти, что мне пишет сам Новосильцев...

Гусар, среди слов благодарности, сообщал Илье Васильевичу, что пишет ему как раз той рукой, которую ему хотели ампутировать.

— Хирургу следует быть очень мягким с больным и очень твердым в своем мнении, — сказал Буяльский жене и вытер слезы.

Мария Петровна заплакала тоже: только сейчас, словно глянув на мужа со стороны, она увидела, что перед нею — старик!

Он родился в июле 1789 года, а 24 июля 1864 года исполнялось 50 лет его службы медицине.

Настала пора оглянуться назад и посмотреть, что сделано!

Сделал немало... Буяльский не только оперировал, но и сам изобретал операции: он автор резекции верхней челюсти, которую и ввел в русскую практику; первым в России он применил эфир и хлороформ как наркотические средства, чтобы облегчить людские страдания; усовершенствовал многие хирургические инструменты и собрал большую коллекцию устаревших; он основал «скульптурную» анатомию, применив замораживание для обработки анатомического материала; всемирную славу принесло Буяльскому издание двух анатомических атласов, где ему пригодилась врожденная любовь к рисованию...

— Юбилей так юбилей, ладно, выдержу и это испытание!

Узнав, что друзья собирают деньги на обед в его честь, Илья Васильевич даже вспылил:

— Да мы ж не немцы, чтобы вскладчину обедать! Приходите ко мне домой, и что Бог пошлет, то и будет...

20 сентября дом старого хирурга заполнили гости, и только сейчас он понял, сколько у него учеников, сколько поклонников, сколько людей спас он от смерти и увечий. Ему поднесли золотую медаль, на одной стороне которой был оттиснут его профиль, а на другой, увитая лаврами, помещалась надпись: «...Илье Василье-

вичу Буяльскому в воспоминание пятидесятилетия на поприще службы и науки». Старик не выдержал и прослезился.

Через два года, 8 декабря 1866 года, Буяльский скончался и был погребен подле жены на Охтинском кладбище в Петербурге.

«Железная башка» после Полтавы

Король был прост. Сначала имел сервиз из серебра, потом цинковый, а под Полтавой ел из жестяной миски. Академик Е.В. Тарле пишет: «Он был очень вынослив физически, молчаливо выносил долгое отсутствие привычной пищи и даже свежей, не пахнувшей болотом воды. Его воздержанность, суровый, спартанский образ жизни, недоступность соблазнам — все это внушало к нему уважение». Карл XII питался хлебом с маслом, поджаренное на сковородке сало было для него уже лакомством. Когда он мерзнул, в палатку к нему приносили раскаленные ядра. Вина не употреблял (после того как в молодости однажды напился и наболтал глупостей). Женщин король сторонился. «Любовь испортит любого героя», — утверждал он. Годами не менял одежды, в которой и спал, и сражался, редко снимал ботфорты и забывал мыть потные ноги.

У нас хорошо знают, что было до Полтавы и что было под Полтавой, но, кажется, не всем известно, что было после Полтавы... Накануне битвы король ввязался в дурацкую перестрелку с казаками и был ранен: пуля вонзилась в пятку и, пройдя через ступню, застряла между пальцев. Король сказал:

— Не в голову же! Вырежем пулю на славу...

Пока хирург извлекал пулю, слуга Гультман читал его величеству XV песнь из «Саги о Фричьофе»: «Рана — прибыль твоя: на челе, на груди то прямая украса мужам; ты чрез сутки, не прежде, ее повяжи...» Карл видел, как шведские флаги не раз уже были сброшены с валов Полтавы жителями города.

— Уж не сошли ли русские с ума, осмеливаясь сопротивляться лично мне и атакам моих непобедимых драбантов?

Рёншильда спрашивали, ради чего шведская армия торчит под этим городишком, фельдмаршал отвечал с раздражением:

— Королю скучно — Полтава для него развлечение...

А гетман Мазепа мрачно увещевал запорожцев:

— Потерпите, панове! Что там шведы? Скоро и татары из Крыма явятся. Тогда мы так Москвою тряхнем, что из нее все деньги сразу посыпятся, только успевай подставлять шапки...

В близости татар не сомневались: в лагере Карла XII явились от хана Девлет-Гирея миндаль, изюм, виноградное вино, пастила. Полтавское сражение открылось 8 июля 1709 года; битва исторического значения не была долгой — в два часа все было уже решено. Русское ядро разбило паланкин, в котором лежал король, а носильщиков изранило. Карла XII вбросили в седло убитого драгуна, настегнули под ним лошадь. Он кричал:

— Только не плен! Лучше подохнуть в Турции...

Вровень с ним скакал ясновельможный гетман Мазепа — изможденный старик в богатом жупане. Стаи птиц с криком пролетали над всадниками. Их нагнал храбрый генерал Спарре, которого Карл XII прочил в московские губернаторы.

— Русский царь не пойдет на мир, пока мы не выдадим ему этого плута! — И плетью он указал на гетмана.

Мазепа, пригнувшись, вонзил длинные испанские шпоры в бока лошади. Пять суток подряд мчались в безлюдном шатании трав и ковылей, устилая разбитый шлях трупами, людскими и конскими. На берегах Буга с трудом нашли одну лишь лодку, в которую внесли Карла XII, на шаткое днище попрыгали самые проворные, в том числе и гетман. Шведов настигла русская кавалерия, король издали видел, как русские вяжут его отважных драбантов. Дырявая лодка тонула, и король безжалостно повыбрасывал за борт бочонки с золотом, принадлежавшие Мазепе.

Беглецы остановились в Вендорах, где для короля был раскинут шатер. Петр I настойчиво требовал от Турции выдачи ему изменника Мазепы, и на ясновельможного, погруженного в ужас

расплаты, вдруг напали *вши!* Мазепа выл и скребся, отряхивал вшей горстями, но они возникали вновь с такой непостижимой быстротой, будто организм старца сам порождал эту нечисть. Согласно легендам, Мазепа был буквально заеден вшами, отчего и умер, а Карл XII сказал:

— Достойная смерть великого человека! Вши заели и римского диктатора Суллу, они загрызли иудейского царя Ирода, а испанского короля Филиппа Второго вши не покинули даже в гробу.

Мазепу увезли в румынский Галац, там и закопали. Но янычары в поисках золота отрыли труп гетмана, обобрали с него одежды и швырнули в Дунай. Далее, по словам шведского историка, началось «фантастическое приключение в духе средневековых рыцарских романов». Главным героем романа стал Карл XII, которого за упрямство турки прозвали «железной башкой».

В год Полтавы королю было всего 27 лет.

По мусульманским понятиям, гостя в своем доме обидеть нельзя, а Карл XII остался в турецких владениях на правах гостя. Но даже историки, восхвалявшие короля, невольно оказывались в тупике беспочвенных догадок, не в силах толково объяснить, почему Карл XII «загостился» в Бендерах на пять долгих лет в то самое время, когда Швеция вымирала от бескормицы и жестоких налогов, а Петр I штурмовал Выборг и Кексгольм, вступил в Ревель, отвоевывал у шведов Финляндию, спешно отстраивал Петербург, утверждая господство русского флота на берегах Балтики. До нас дошла надменная фраза Карла XII: «Пусть он строит. Я вернусь — все разрушу...»

«Железная башка» после Полтавы не потерял даже малой толики самоуверенности и держался с видом победителя, завоевав особую любовь турецких головорезов. Раскинув лагерь неподалеку от Бендер, король выбрал неудачное место, затопляемое водами Днестра, на что и указали ему янычары. Но Карл XII не перенес лагерь на возвышенность, и весной, когда все спасались от поло-

водья, он остался в своем шатре, стоя по колено в бурлящей воде. Этим он вызвал восхищение янычар.

Вот железная башка! Ну какая упрямая башка!

Объяснять долгое пребывание Карла XII в Бендерах ущемленным самолюбием или патологическим упрямством никак нельзя. На путях в Валгаллу он не выронил меча из длани и, неплохо разбираясь в политике Европы, отлично понимал, что военная коалиция Швеции, Польши и Турции с Крымом вместе — это не выдумка, а трезвая реальность, не учитывать которой не может и Петр I, требующий от султана изгнания шведского короля из бессарабских провинций. Выстроив в своем лагере дом для себя и свиты, Карл XII из этого дома сплетал паутину интриг, в ней он ловко запутал Австрию с Францией, которые через своих послов воздействовали на султана Ахмеда III, и своего добился: Турция неожиданно объявила войну России! Карл XII, горя отмщением за Полтаву, домогался получить под свое начало всю турецкую армию, но великий визирь Мехмед-паша отказал ему в этом:

— Король! Не подобает тебе, христианину, руководить правоверными мусульманами... Я сам поведу войско!

Петр I с русской армией был окружен на Пруте громадными таборами янычар и крымских татар. Положение критическое. Порох и ядра кончались, фураж истреблен. Люди не имели пищи, кони бродили от дерева к дереву, обгрызали кору и поедали стебли. Но два штурма янычар все же отбили с успехом, и янычары, боясь поражения, уже буянили перед шатром визиря:

— Больше не пойдем на гауров! Иди сам или добудь мир!

Карл XII предавался ликованию. «Я каждую минуту, — писал он, — ожидал известия, что враг сдался, и уже представлял себе, с какой неописанной радостью увижу я Петра, лежащего у ног моих...» Петр приказал сжигать обозы и багаж армии. У него развилась страшная мигрень, он ушел в шатер и стал плакать от бессилия. Множество русских дам, сопровождавших армию в походе, генералы и офицеры последовали примеру Екатерины,

догадавшейся отказаться от драгоценностей, и Мехмед-паша принял очень большую взятку в золоте и бриллиантах, после чего дозволил русским выйти из окружения с музыкой и развернутыми знаменами... Карл XII, узнав об этом, закричал:

— Коня! — и, запрыгнув в седло, помчался к Пруту...

Переправы через реку не было. Король шенкелями загнал лошадь в воду, а форсировав Прут, нечаянно угодил в самый центр русского лагеря. Вот бы его здесь и хватать голыми руками! Но ведь никто не думал, что Карл XII способен на подобную дерзость, да и трудно было признать короля Швеции в этом мокром и бледном всаднике, который, выбравшись на берег, галопом проскакал словно бешеный через весь русский компонент в сторону бивуаков турецкой армии. Великого визиря он стал гневно упрекать — как тот осмелился заключить мир без его, высококоролевского, ведома:

— Дай мне хотя бы десять пушек, и я обещаю тебе, глупец, повернуть назад всю историю варварской России...

Бывший дровосек, волею аллаха ставший великим визирем Оттоманской империи, невозмутимо покуривал янтарную трубку.

— Войну вел я, а не ты! Наши законы, — отвечал он королю, — повелевают мириться с неприятелем, который устал и просит о мире. Ты под Полтавой испытал гнев русских, мы их тоже знаем достаточно. Если тебе не хватает драки, бери своих поваров, писарей и лакеев, воюй хоть с утра до ночи.

— Но ведь одно усилие, и ты можешь стать велик, пленив не только армию, но и самого русского царя.

В ответе Мехмед-паши обнаружился юмор:

— Кто же станет управлять Россией, если я пленю русского царя? Каждый цезарь должен проживать у себя дома...

Это было уже оскорбление. Вольтер пишет, что Карл XII сел на диван рядом с визирем, долго смотрел на старика в упор, потом задрал ногу и острой шпорой распорол одежду Мехмед-паши, затем удалился в молчаливой ярости. Ахмет III прислал в Бендеры 30 арабских скакунов и мешки с деньгами, деликатно

давая понять королю, что пора бы и честь знать — не побывать ли ему дома, где шведы забыли, как выглядит их король!

Но король на подобные намеки не обращал внимания, а деньги, которые слали ему на дорогу, он транжирил на свои надобности. И даже Франция, и даже Австрия не могли убедить «железную башку», чтобы из бендерского захолустья он возвратился в отечество, где его присутствие крайне необходимо. Наконец султан лично заверил Карла XII в том, что русские войска не станут мешать его проезду через польские пределы. Ахмет III соглашался выделить конвой в 10 000 турецких спагов для безопасности. Карл XII требовал 50 000 всадников (а столько же татар обещал дать ему Девлет-Гирей, хан крымский). Под видом конвоя он задумал набрать армию в 100 000 человек, пустить же его в Польшу — как козла в огород с капустой! Ясно же, что «железная башка» снова откроет войну с Россией...

Терпение турок истощилось, и в феврале 1713 года в Бендерах произошел знаменитый на всю Европу «калабалик». Это турецкое выражение сейчас переводят как «ссора», а раньше переводили более замысловато: «игра или возня со львом»! Шведы же объясняют его проще: «свалка, куча мала, потасовка, драка»...

Не зная, как выжить короля, султан снова прислал ему подарки, лошадей, богатую карету и мешки с золотом. По подсчетам историков, король в общей сумме вытянул из казны султана один миллион «ефимков» (рейхсталеров). Он просил еще 600 кисетов с золотом, чтобы расплатиться с долгами.

Бендерский сераскер настаивал на скором отъезде.

— Иначе, — пригрозил он, — падишах повелит мне принудить тебя к путешествию до своего дома, а мне бы не хотелось применять насилие, всегда связанное с бесчестьем.

Ответ Карла XII сохранился для истории:

— На вашу силу отвечу собственной силой...

В этот период при короле в Вендорах насчитывалось около 700 человек, включая прислугу и свиту. Сераскер запретил доставку

продовольствия в шведский лагерь. Карл XII зарядил pistols и перестрелял арабских скакунов — дар султана:

— Если нет корма, зачем мне эти лошади?

Сераскер приказал блокировать шведский лагерь.

На это Карл ответил сооружением баррикад, а свой дом обставил палисадом из заостренных бревен. Наконец припасы у шведов кончились, люди начали голодать, и тогда «железная башка» открыл военные действия против страны, которая дала ему приют, терпела всяческие его капризы и воздавала ему почести, согласно древнему принципу: кесарю кесарево! Карл XII объявил:

— Когда на войне недостает фуража, войско добывает его через реквизиции у противника...

Султан переправил в Бендеры суровый «хаттишериф»: Карла отправить силой в греческие Салоники, откуда французы морем доставят его в Марсель; «...если же король погибнет, смерть его не должна ставиться в вину мусульманам». Была обнародована духовная «хетва» к правоверным, разрешающая нарушить законы Корана, а убийство «гостей» никому в вину не ставить. Короля навестил евангелический пастор и, пав на колени, умолял Карла XII не губить в Бендерах жалкие остатки той великой армии, что смогла уцелеть после Полтавы. Король топнул ботфортом:

— Для проповедей избери себе иное место, а здесь сейчас разгорится новая кровавая битва... Уходи!

Турки имели 12 пушек, а всего сераскер собрал 14 000 войска (по иным сведениям, его численность превышала 30 000 человек). Пушки уже громили баррикады, когда янычары стали горланить, что «хаттишериф» подложный и на приступ шведского лагеря они не пойдут. Сераскер схватил зачинщиков бунта, утопил их в Днестре, затем показал янычарам личные печати султана:

— Если вам так уж по сердцу шведский король, можете сами уговорить его исполнить повеление нашего падишаха...

Взяв в руки белые палочки (знак миролюбия), янычары без оружия явились в шведский лагерь, истошно крича, что не дадут

в обиду Карла XII, но пусть он только доверится им, янычарам, и они доставят его хоть на край света. Карл XII высунулся из окна второго этажа, крикнув своим друзьям:

— Пошли все вон! Иначе я спалю ваши бороды.

Янычары, огорченно покачивая головами, говорили:

— Ну какая железная башка! Где еще найдешь такую?

В ставке короля вооружились все до последнего поваренка с кухни. Голштинский посол Фабриций писал, что король нарочно обострил обстановку «лишь для того, чтобы представить миру образец боя, который бы казался потомству попросту невероятным». Атака янычар началась в воскресенье — как раз во время духовной проповеди. Оборона шведов была сломлена, турки взяли баррикады и рассыпали их, как мусор. Напрасно Карл XII зывал к мужеству своих верных сподвижников — офицеры не пожелали участвовать в его аванюре, а старый генерал Дальдорф разорвал на себе мундир, обнажая незажившие раны:

— Король! Неужели одной Полтавы тебе еще мало?..

Вокруг Карла XII остались лишь драбанты и слуги человек тридцать, не больше. С трудом он пробился к своему дому. Одноглазый янычар схватил его за краги перчаток. Но король вырвался с такой силой, что упал на землю, а другой турок выстрелил: пуля прошла насквозь, задев нос и бровь короля. Карл хотел ринуться врукопашную, но драбанты удержали его за поясной ремень сзади. Король, освобождаясь, расстегнул пряжку спереди, бросаясь в свалку, но его силой затворили в доме. Шведы забились в одну из комнат, а дом уже принадлежал туркам, грабившим все подряд. Карл XII ударом ноги распахнул двери в соседнюю комнату, уколами шпаги заставил турок отступить — кого выбил в двери, а кто сам повыпрыгивал через окна.

— Драбанты, честь дороже всего! — призывал король...

Столовая зала была переполнена янычарами, разбиравшими посуду. Трое из них кинулись на Карла XII, желая пленить его. Король двоих заколол, а третий начал рубить короля саблей. За-

крываясь левой рукой, Карл XII чуть не лишился пальцев. Началась невообразимая драка — в лязге клинков, в криках и воплях, в звоне битой посуды Карл XII был схвачен за глотку и прижат спиною к горячей кухонной плите.

— Драбанты! — позвал он на помощь.

Повар выстрелом в голову поверг турка, душившего короля. С боем Карл XII повел шведов на штурм спальни. Там все уже было разграблено и вынесено. Но два янычара еще стояли в углу, один спиною прикрыл грудь второго, и оба они держали перед собой пистолеты, готовые выпалить разом.

— Получайте сразу оба! — воскликнул Карл XII.

Рубака опытный, он пронзил обоих, нанизав турок на свой длинный клинок, будто букашек.

— Горим! — раздались крики с лестницы. Крыша гудела от попаданий ядер. В стены здания впивались татарские стрелы с комками горящей пакли, янычары подбегали к дому короля, бросая в окна охапки горящего сена. Карл XII велел обыскать всех убитых в поисках патронташей и оружия.

— Драбанты, — сказал Карл XII, — отныне вы все полковники.

— Крыша уже в пламени, — отвечали ему.

На чердаке пытались избавиться от горящих балок. Воды не было, пожар тушили болгарской водкой небывалой крепости, отчего пламя разгорелось еще сильнее. Карл XII и его свита спустились с чердака, когда лестница уже пылала. Потолки рушились.

— Пора уходить из дома, — доказывали Карлу XII.

— До тех пор, — возражал король, — пока на нас еще не загорелись одежды, я не вижу никакой опасности...

Наконец люди стали забивать пламя на своих одеждах.

— Король, — сказали они, — не лучше ли нам пробиться с боем до канцелярии, которая еще не горит?

— Отличный повод показать храбрость, — согласился Карл XII.

С пистолетом в левой руке, держа шпагу в правой, он выскочил на крыльцо перед изумленными турками. Но не сделал и пяти

шагов, как его гигантские шпоры зацепились за кусты и король рухнул в обгоревшую траву. Тут его и схватили. Европа никак не ожидала такого финала: шведский король сделался пленником турок! Его отвезли в замок Демюрташ, где король выразил протест тем, что сразу же улегся в постель.

— Я не болен, но больше не встану, — сказал он.

Будучи в полном здравии, Карл XII умудрился целый год провести в постели. В самом деле, надо иметь «железную башку», чтобы обречь молодой организм на годичное существование в лежачем положении. Но весной 1714 года Карл XII испытал нервное возбуждение. Швеция еще держала крепость Штральзунд — последний оплот своего владычества в Померании, до короля дошли из Стокгольма слухи, что сестра собирается вступить на трон. Осенью он тронулся в путь. Всегда остригавший голову ножницами «под солдата», на этот раз Карл XII накрылся пышным париком, чтобы его не узнали. Сопровождал короля в пути через всю Европу лакей. В одну из ночей в воротах Штральзунда возникла тревога: кто-то ломился в крепость, требуя, чтобы его впустили.

— А кто он таков? — спросили его с фасов.

— Открывайте! Это я — ваш король...

Карл XII проскакал через Европу за шестнадцать суток...

Он сам возглавил оборону крепости, осажденной датчанами, и два месяца спал на земле перед воротами, особо опасными на случай штурма. Настала зима, лед сковал каналы, ведущие к морю. Не стало дров и хлеба. Претерпевая голод и стужу, Карл XII из Штральзунда диктовал приказы. Бомба взорвалась в соседней комнате, секретарь выронил перо.

— Отчего не пишешь далее? — спросил король.

— Но, ваше величество, бомба... *бомба!*

— Не понимаю, какое отношение к письму имеет бомба...

Наконец даже он осознал, что Штральзунд не удержать, и велел пробить во льду фарватер. Ночью, закутавшись в плащ солдата, он прыгнул в шлюпку, матросы навалились на весла, датчане от-

крыли стрельбу, раяя людей свиты. Под парусом пересекли море. Карл XII высадился на берегу Швеции, проведя ночь под скалой, защищавшей его от ветра, а когда рассвело, он узнал то самое место, которое покинул пятнадцать лет назад, чтобы вступить в единоборство с молодой Россией... А что было со Швецией, когда-то цветущей? Что застал он на родине после долгого отсутствия? Неурожаи, эпидемия чумы, войны и набеги выкосили население, а лучшие здоровые силы нации, оторванные от хлебных полей и железных рудников, погибали на полях битв, в снегах Сибири или на венецианских галерах...

— Зато я принес вам славу, — объявил он в Стокгольме.

Но шведы насытились славой по горло. В окружении короля вызрела оппозиция его правлению, возник заговор. Невзирая на все тяготы народа, Карл XII осенью 1718 года открыл новую кампанию — он вторгся в Норвегию, принадлежавшую тогда датчанам. Норвежская крепость Фредриксхальда напоминала орлиное гнездо в горах. В ночь на 30 ноября Карл XII осматривал саперные работы в траншеях. Он взобрался на вал и лег, подпирая голову левой рукою, желая лучше рассмотреть крепость в потемках. Его адъютант Яган Каульбарс, оставшись в траншее со свитою, постучал кулаком в подошвы ботфортов:

— Король, не пора ли подумать о голове?

— Оставь меня в покое, Яган, я должен все видеть сам...

Вслед за этим раздался странный плещущий звук («будто в болото упал камень»). Каульбарс за ноги стащил короля обратно в траншею. Карл XII был мертв. Протокола о смерти не составили. Придворный врач Мельхиор Нейман объявил, что пуля, убившая короля, прилетела из крепости — в левый висок. Но саперы, уносившие короля, утверждали, что рана в правом виске — выстрел сделан из траншеи. Настораживала очень большая сила удара пули, разрушившей череп, что возможно при выстреле с ближайшей дистанции. Хоронили Карла XII с подозрительной поспешностью. Швеция наполнялась мрачными слухами... Дабы пресечь их, в 1746 году

Карла XII вынули из гроба. Выяснилось, что Мельхиор Нейман искажил истину: пуля пробила череп с правой стороны. Значит, стреляли в короля из траншеи. (А ведь Карл XII считал врача своим личным другом.) В 1859 году профессор истории Фриксель устроил повторную аутопсию Карла XII в присутствии членов королевской династии, но сомнения не разрешились. Пробовали стрелять из старинных ружей с фасов норвежской крепости по мишеням, которые втыкали в землю на том же месте, где лежал Карл XII, и — к удивлению криминалистов — пули с большой силой пробивали мишень насквозь. Шведский историк Ингвар Андерсон заключает главу о Карле XII словами: «Вопрос о том, погиб ли Карл XII от шальной пули из окопов или от пули тайного убийцы, не решен и сейчас».

Карл XII, эта неисправимая «железная башка», прожил всего лишь 35 лет, большую часть жизни проведя в походах вдали от родины. Сейчас наши историки пришли к выводу, что подлинный Карл XII «весьма далек от вольтеровско-пушкинского Карла. Величие петровской победы (при Полтаве) становится от этого еще осязаемее». Е.В. Тарле прав: тяжкое историческое возмездие постигло Швецию за ее попытку поработить русский народ.

После Карла XII правители Стокгольма трижды в истории жаждали реванша, но все их попытки кончались крахом, и лишь в 1809 году, когда русская кавалерия загарцевала в предместьях Стокгольма, шведы твердо решили: «Пусть эта война с Россией будет для нас войною последней!»

...На поле Полтавской битвы поставлен памятник «Шведам от россиян», и на нем можно прочесть благородные слова: «Вечная память храбрым шведским воинам...»

Дуб Морица Саксонского

Я хотел было начать с рассуждений о пьесе Эжена Скриба «Анриенна Лекуврер», которая пришла на русскую сцену с Элизой Рашель в заглавной роли, но потом передумал, решив начать с того, о чем мало извещен наш читатель...

Если забраться в самую гущу лесов Курляндии, то севернее речной долины Абавы мы выйдем к озеру Усмас, в котором есть райский островок Морицсала, еще в 1910 году объявленный заповедником. Посреди же острова, среди многих деревьев, не ведавших топора, издревле растет дуб, возраст которого перевалил уже за 700 лет, а внутри дуба столь громадное дупло, что в нем легко умещаются десять человек. Местные жители называют этого великана «дубом Морица».

Не стану восторгаться деревом — пусть оно живет хоть тысячу лет; я поведаю о Морице Саксонском, который в 1727 году прятался в дупле этого дуба. Надеюсь, читателю интересно — от кого же он прятался в этой курляндской глухомани?

К сожалению, легендарный Мориц хорошо укрылся и от нас, ибо наши историки если и вспоминают о нем, то прежде всего как об авторе всеобщей воинской повинности, за что все читатели и остаются крайне ему благодарны...

Начало — точно в духе той давней эпохи, словно фабула его нарочно придумана для романов Дюма, а суть ее такова.

Прослышав об убийстве брата, шведская графиня Аврора Кёнигсмарк появилась в Дрездене, бывшем тогда столицей Саксонии. Красавица была озабочена тем, чтобы немецкие банкиры вернули ей бриллианты убитого брата. С просьбой о помощи Аврора обратилась к Августу Сильному, который был курфюрстом саксонским. Свидание состоялось в замке Морицбурга; оценив красоту просительницы, курфюрст обещал ей свое могучее покровительство, в результате которого последовали неизбежная беременность графини и возвращение ей бриллиантов.

Осенью 1696 года родился мальчик, которого — в память о свидании в Морицбурге — нарекли Морицем. А через год Август Сильный был избран королем польским, сидя на двух престолах сразу — и в Дрездене (там он курфюрст), и в Варшаве (там он король). В 1700 году Аврора Кёнигсмарк удалилась в монастырь, а беспутный папенька увез сына в Варшаву, где мальчик и жил на

птичьих правах бастарда (незаконнорожденного). В этом же году разгорелась Северная война, шведский король Карл XII жестоко истерзал Прибалтику, его драбанты топтали земли польские и саксонские. Август Сильный оказался тоже «на птичьих правах», удирая от шведов то из Варшавы, то из Дрездена, а Мориц с детства изведаль прелести бездомной кочевой жизни, которая ему — еще ребенку — безумно понравилась.

В коалиционной войне со шведами Август был невольным (а кстати, и неверным) союзником царя Петра I, и, утомленный постоянными ретирадами, он в 1702 году вызвал Аврору Кёнигсмарк из обители Кведлинбурга, велел ей приодеться наряднее.

— Если, — сказал он монахине, — плодом нашей встречи явился сын Мориц, то плодом вашей встречи, мадам, со шведским забиякой должен стать разумный мир, и тогда пусть русский царь сам разбирается в делах на Балтике... С меня хватит! Я уже набегался. Пусть теперь побегает русский царь...

Но даже греховная красота Авроры, появившейся в грязной палатке Карла XII, не произвела на «забияку» никакого впечатления, и война продолжалась. В 1709 году — в памятный год Полтавы! — Морицу исполнилось двенадцать лет, и он вступил под знамена польско-саксонской армии. Начиналась удивительная жизнь — на распутьях дорог, оснащенных виселицами, в боевом грохоте полковых барабанов, в громе рвущихся ядер.

— Замечательно! — восклицал мальчишка, радуясь...

Заискивая перед царем, Август послал его к Петру I, чтобы тот включил его в ряды своей армии, и летом 1710 года Морица видели в числе русских воинов, штурмовавших ворота Риги, доселе нерасторжимые. В свои пятнадцать лет он выглядел уже бравым офицером, на него стали посматривать невесты. Август Сильный имел сотни побочных детей, ни одного из бастардов не признавая своим. Но для Морица он сделал приятное исключение, признав себя его отцом, он даже присвоил ему титул графа Саксонского, обещая ежегодно выплачивать ему 10 000 талеров.

— Не сомневаюсь, сынок, — сказал Август, — этого вполне хватит тебе не только на вино, но даже на женщин...

Денег, увы, не хватало! Красивый, сообразительный и энергичный, граф Мориц Саксонский стал привлекательным женихом, но брачные узы его не соблазняли. Август, решив обуздать сына, повелел ему жениться на Виктории фон Лебен:

— Пойми! Богаче невесты, нежели Виктория, нет и не будет в моей Саксонии, так какого же черта тебе, балбес, еще надобно? Я бы на твоём месте долго не думал...

Женившись, Мориц так закутил, что скоро от богатейшего приданого жены остался, как говорят русские, «пшик на постном масле». Слухи о мотовстве сына дошли до Кведлинбурга, где его мать замаливала грехи, и Аврора, выпрямившись от поклона, велела передать Августу, чтобы тот повлиял на сына.

Август Сильный принял жестокое решение:

— Мориц совсем распустился, а потому — ради исправления его нравственности — я желаю *сослать* его... в Париж!

Хорош же был Дрезден времен Августа, если даже Париж считался образцом благолепия. Между тем раздоры супругов стали притчею во языцах, и, застав мужа в близком соседстве со служанкой, Виктория потребовала развода.

Эта «неприятность» случилась в 1721 году, который завершился приговором суда. Морица развели с Викторией, и ей, как порядочной даме, судьи разрешили вступить во второй брак, а Мориц Саксонский, как изменник и прелюбодей, навсегда терял юридическое право жениться вторично. Впрочем, этот приговор не ужаснул Морица, который, приехав в Париж, всюду называл себя убежденным холостяком. Далее позволю себе процитировать: «При дворе и в салонах Парижа он оказался необыкновенно популярным: мужчины находили его в высшей степени порядочным и приятным человеком, а дамы были без ума от его внешности, от его военных и донжуанских подвигов».

Конечно, он был представлен и королю Франции.

— Моя шпага, как и моя храбрость, — заявил он, — всегда к услугам вашего королевского величества...

Десять тысяч саксонских талеров обернулись для него жалованием в десять тысяч французских ливров — Мориц был назначен в бригадные генералы версальской гвардии. Дамы парижского света, супруги изнеженных и слабосильных маркизов вскрикивали от восторга, когда он, блаженно улыбаясь, показывал им «русские фокусы»: разрывал пополам лошадиные подковы, а железные вертела для поджаривания дичи в каминах Мориц закручивал в штопор... «Разве же это трудно, мадам? Совсем нет!»

Но я, читатель, еще не сказал самого главного.

Полузакрыв глаза и призывно раскинув руки, к нему уже спешила радостная Андриенна Лекуврер, дочь башмачника и прачки, гениальная актриса из «Комеди Франсез», всегда домогавшаяся только дружбы с мужчинами. Только дружбы, а теперь...

— Мой любимый Геракл, — шептала она, счастливая.

— Но обреченный служить тому обществу, в котором всегда не хватало Гераклов, — отвечал Мориц.

Не лишенная доли тщеславия, Андриенна полюбила его, а он полюбил ее, но об этой любви я расскажу позже. Позже, ибо три года подряд Мориц хранил верность одной Андриенне, а в 1726 году он жестоко разомкнул любовные объятия:

— Извини. Для полноты счастья мне сейчас не хватает сущего пустяка... всего лишь п р е с т о л а!

Ради такого пустяка дело за расходами не постоит, и потому Андриенна Лекуврер вручила ему свои драгоценности.

— Только вернись, — заклонила она Морица.

— Я обязан вернуться, чтобы не быть должным женщине...

Читатель может не сомневаться: Мориц сдержал слово.

В дороге Морица сопровождал его верный слуга Жан Бовэ, которому он доверял очень многое, как ближайшему другу.

— Кажется, — рассуждал Мориц в пути, — судьба подкинула мне такие козырные карты, с которыми было бы смешно не выиграть. Престол герцогов Курляндских, занимаемый династией Кетлеров, вассален Речи Посполитой, где королем мой отец. Сейчас в Митаве тоскует вдова Анна Иоанновна, а Курляндией правит из Гамбурга бездетный герцог Фердинанд, которого митавские рыцари ненавидят и ждут его смерти...

Прибыв в Варшаву, Мориц эти же доводы изложил перед отцом, а отец предупредил, что любовная «акция» с герцогиней Анной Иоанновной грозит вмешательством России и Пруссии.

— Но ты прав, что династия Кетлеров при последнем издыхании, и ты, сын мой, попробуй оживить ее своей любовью. Но — поторопись! — сказал Август Сильный. — Претендентов на шаткий престол в Митаве всегда найдется достаточно...

Верно! Историк Карнович писал, что Европа давно вожделела к Митаве: «Разные герцоги, принцы, маркграфы и ландграфы мечтали о том, как бы им попасть в герцоги курляндские, вследствие чего явилось в ту пору множество искателей руки и сердца Анны Иоанновны». Всех перечислять я не стану, ибо только один Мориц Саксонский смело и решительно выступил в роли жениха, заявив отцу перед отъездом в Митаву:

— Эта вдовушка вряд ли устоит перед моим штурмом! Наконец, у меня есть на примете еще и российская цесаревна Елизавета, которая немало наслышана о моих достоинствах...

Из Петербурга саксонский посол Лефорт нахваливал ему Елизавету Петровну в таких выражениях: «У нее круглое, как у кошки, лицо, голубые глаза с поволокой и приятно возвышенный бюст... ей все равно, тепло или холодно, а живость ума делает ее ветреной... она рождена для Франции!» Описание достоинств цесаревны Лефорт заключал выводом, что Елизавета заочно влюблена в Морица, почему и ждет его на берегах Невы. Стоит напомнить, что на Руси царствовала тогда Екатерина I, а управлял ею всесильный князь

Меншиков, и слово этого временщика было законом для всех и даже для нее, для самодержицы.

Жан Бовэ — по дороге в Митаву — пугался сам и пытался напугать своего любвеобильного суверена:

— Как бы этот «штурм» переспелой вдовицы не обошелся нам кровью, ибо давно известно, что Меншиков сам желает стать герцогом курляндским, согласный женить на Анне Иоанновне своего сынишку... Вы, граф, не боитесь могучего соперника?

— Я готов скрестить шпаги, — отвечал Мориц...

Вот и Митава! Анне Иоанновне страстно хотелось замуж, а потому она предстала перед женихом во всем своем многотелесном величии. Мориц поначалу даже обомлел: какая стать, какие бока, какой гигантский бюст, какие глазищи, какая рожа... Отношения меж ними определились, и бабище, изнывавшей во вдовстве, не стоило труда увериться в самой пылкой «любви» красавца. Между тем, чтобы время не пропадало даром, Мориц влюбил в себя и фрейлину герцогини Менгден — так что все складывалось прекрасно! Прекрасно еще и потому, что на сейме в Варшаве шляхта решила прибрать Курляндию к своим рукам, разделив ее на воеводства, что немало возмутило курляндских рыцарей.

— До каких же пор, — горланили они в ландтаге, — мы будем ждать, когда сдохнет Фердинанд, до каких же пор мы будем даром кормить эту русскую обжору, сидящую на самом краешке митавского престола... Хотим Морица!

28 июня 1726 года курляндский ландтаг ЕДИНОГЛАСНО избрал Морица Саксонского в герцоги курляндские:

— Но с единым условием — чтобы женился на герцогине Анне, и пусть он сам, как муж, заботится об ее прокормлении...

Анна Иоанновна блаженствовала, известив Петербург о своем счастье. Герцогиня восторгалась любовной пылкостью Морица, а фрейлина Менгден не уставала дивиться его проворству, с каким он мгновенно раздевал ее каждый вечер.

— О, как вы опытни, граф! — восхищалась девица...

Однако в Петербурге на эту возню в Митаве взирали с опаской. Русский кабинет не боялся обидеть Августа — курфюрста Саксонского, но ему совсем не хотелось ссориться с Августом — королем Речи Посполитой, которая всегда под самым боком России, достаточно грозная и не в меру буйная. Кроме того, Екатерина I желала бы видеть на престоле митавском своего зятя, герцога голштинского. Но при этом царица боялась и князя Меншикова, который топал на нее ботфортами, как на служанку.

— Или ты забыла, кто доставил тебе престол великороссийский? А теперь своего голштинского засранца на Митаву сажаешь, не желая со мною по-божески расплатиться...

Меншиков еще в 1711 году давал Августу Сильному взятку (в 200 000 рублей), чтобы тот помог ему взобраться на митавский престол, а теперь... теперь надо действовать. Анна Иоанновна была срочно отозвана из Курляндии в Ригу, а в Митаву прибыл посол князь Василий Долгорукий, внушавший рыцарям:

— Да что вы, рыцари, в парижского сикофанта уперлись? Или иных не видите из-за леса темного? А наша императрица желает видеть у вас герцогом высокоблагородного и светлейшего князя Меншикова или же своего мудрого зятя голштинского...

Тут курляндские рыцари стали хвататься за шпаги:

— Тому не бывать, чтобы нас на русской веревке таскали! Дело с Морицем решенное. Ландтаг уже по домам разъехался, и голосов для нового ландтага в Митаве не собрать...

— А тогда на себя пеняйте! — пригрозил дипломат.

Жалобное письмо Анны Иоанновны к Екатерине I, конечно же, попало в карман князя Меншикова, и по дороге на Ригу он прочитал его вновь; вдовица не скрывала симпатии к Морицу, о чем писала так: «И оной прынц моей светлости не противен!»

— Во сучка! — ругался Меншиков. — Нашла кобеля...

Меншиков ехал якобы ради «инспекции» крепостей в Прибалтике, но цели имел иные — личные. В рижском замке его поджидала

Анна Иоанновна «с великою слезною просьбою», чтобы Морицу быть ее мужем и герцогом курляндским. Меншиков грубо пресек ее сладострастие, объявив это чувство «вредительством интересов российских». Разговор повел круто:

— Или сами того не ведаете, что Мориц зачат в блюде от метрессы курфюрста, а ваша светлость как-никак из дома Романовых, не чета сему махателю. А будь я герцогом, так доходы с ваших имений в Курляндии не утаил бы... А ежели супротивитесь мне, так я могу и неласковым быть!

Анна Иоанновна затрепетала, а Меншиков не щадил ее:

— К сему добавлю... знайте! Пока вы тут слезьми обливаетесь, Мориц каждый вечер сгоняет лишний жир с вашей же фрейлинки. Да попадись ему ваша дородная светлость, так он бы от вас един жалкий прутик оставил. То ведомо вам буди!

Анна Иоанновна зарыдала. Меншиков ей — тоном приказа:

— Ныне за верное станется, ежели держать вашу светлость от Митавы подале. Вот и катитесь в Питер, и там сидеть тишайше, пока я сам о вашем счастье не озабочусь...

Герцогиня тронулась в Петербург, а светлейший — в Митаву. Он был оповещен, что «курлянчики» стоят за Морица, а других герцогов им не надобно. Меншиков, прибыв в Митаву, заявил рыцарям, что за ним шагают двадцать тысяч солдат, и потому чтобы не мешкали с созывом нового ландтага, дабы избрать в герцоги непременно его — светлейшего и сиятельного.

— А сколь много солдат у вашего Морица? Сосчитайте...

При Морице состояли 12 офицеров, 104 солдата, 98 конных драгун и 33 человека домашней прислуги. Однако встречи с Меншиковым было не избежать. Мориц дважды виделся с князем, а каждое их свидание напоминало словесный поединок, чреватый обнажением шпаг. О том, как велись эти беседы, известно от самих собеседников, доверивших свои разговоры бумаге.

— Что же будет с Курляндией, если силою русских штыков вы выберете в герцоги свою светлейшую персону? — спрашивал Мориц. — И что будет, если ландтаг постоит за меня?

Меншиков ответил, что местные рыцари не пожелают разделять участь волков в Сибири, а сама Курляндия «не может искать ничего покровительства, кроме русского...»

— Вы откровенны! А посему ответчу своей откровенностью. Сколько вам дать, чтобы вы убралась из Митавы?

— На таковой деловой вопрос, — нисколько не обиделся Меншиков, — я ответчу тем же вопросом: сколько мне дать вам, чтобы вашего духу не было в Митаве?

Из письма Морица: «Меншиков явился с видом властителя всего рода человеческого. Он даже изумлен, когда увидел, что эти ничтожные твари (курляндцы) отказываются от такой чести — быть под его управлением... он сказал мне, что свое право на Курляндию может доказать палочными ударами. Чтобы спровадить его обратно в Ригу, я предложил на пари 100 000 рублей, сказав, что эту сумму пусть получит один из нас, кто станет герцогом курляндским. Меншиков ударил со мною по рукам...»

Вот, читатель, как вершилась в те времена политика!

Убежденный в том, что ландтаг достаточно запуган его угрозами, а престол в Митаве достанется ему, Меншиков вернулся в Ригу, где и стал ожидать результатов новых выборов. Лефорт в эти дни продолжал заманивать Морица в Петербург, извещая, что цесаревна Елизавета горит любовным нетерпением. Между тем ландтаг и не думал собираться, отчего Меншиков пришел в ярость, желая ввести в Курляндию русские войска и арестовать Морица. От тех далеких дней сохранился рассказ, более схожий с анекдотом. Будто бы нападение на Митаву состоялось, но Морица спасло именно то обстоятельство, что в эту ночь он пировал с фрейлиной Менгден. Услышав, как трещат двери, разбиваемые прикладами, граф с присущим ему проворством раздел фрейлину, облачившись в ее платье, а Менгден быстро натянула его лосины, накинула его мундир, Мориц выпрыгнул в окно — и был таков... Финал этой сцены неожиданный: «Захвативший помянутую девицу русский офицер так пленился ею, что не замедлил на ней жениться!»

Однако методы князя Меншикова всполошили Петербург: митавский конфликт становился опасен последствиями, которые трудно предсказать. Меншикова срочно отозвали в Петербург, чтобы он понапрасну людей не пугал, а князь Василий Долгорукий любезно предложил Морицу выехать в лес — для охоты.

— России, — сказал он в лесу, — никак нельзя ссориться с поляками из-за вас, а мне весьма прискорбно, любезный граф, исполнить приказ о вашем немедленном удалении из Митавы...

Весною 1727 года скончалась Екатерина I, и смерть ее повергла Морица в отчаяние. Он понимал: Меншиков, став единовластным диктатором России, не замедлит с ним расправиться. Предчувствие не обмануло: генерал Петр Ласси двинул в Курляндию восемь тысяч русских солдат, предупредив Морица письмом, чтобы бежал из Митавы скорее, иначе, угрожал Ласси, графу предстоит знакомство «с очень отдаленной страной».

— Собирайся! — велел Мориц лакею Бовэ. — При всей моей страсти к приключениям я совсем не желаю знакомиться с природой Сибири и чудесными нравами ее жителей!

Путь отступления Морица сейчас указывает на карте железная дорога от Елгавы до Вентспилса. Ласси оказался мужчиной сердитым и «наступал на пятки» графу; преследуя его, он свирепо «дышал ему в затылок». Изнуренный отряд Морица Саксонского выбрался к озеру Усмас, здесь решили отдохнуть, затаившись на острове Зивьюсала (которое после этого случая местные жители, ливы и латыши, переименовали в Морицсала).

Мориц спрятался в дупле могучего дуба, его волонтеры укрылись в кустах, почти невидимые. Но Ласси разгадал их уловку, прокричав с берега, чтобы сдавались в плен, иначе он выкатит пушки, и тогда от этого райского островочка останется одна голая плешь. Мориц из дупла прогорланил в ответ ему:

— Женераль! Прошу десять дней... для размышлений.

— Сорок восемь часов... не более! — отвечал Ласси.

Капитуляция была неизбежна. Мориц наказал Бовэ хранить, как святыню, шкатулку с избирательным актом ландтага:

— На старости лет мне будет приятно почитать о себе, что я все-таки был, черт побери, герцогом курляндским...

— Что вы задумали, граф? — встревожился Бовэ.

— Я не желаю, чтобы люди, служившие мне, валялись в лужах крови. Пусть сдаются на милость победителя. Но меня среди пленных генерал Ласси не отыщет...

Он собрал свой отряд и, как хороший товарищ, простился с каждым. Потом легко запрыгнул в седло, взбодрив лошадь.

— Не надо мне перезрелой герцогини Анны, не нуждаюсь и в игривости цесаревны Елизаветы — меня давно ждет несравненная Андриенна Лекуврер, самая прекрасная женщина Парижа!

С такими словами он разогнал лошадь галопом, и — в ослепительных каскадах брызг — она обрушилась в озеро, поплыв к берегу, напряженно вытянув уши... Благополучно прибыв в Париж, граф Мориц Саксонский с удивлением узнал, что его могучий соперник князь Меншиков пал с высоты своего надменного величия и сам оказался в «очень отдаленной стране», где, наверное, мог бы встретить и Морица, если бы не ловкость Морица, если бы не его выносливая лошадь...

Вольтер был сердечным другом Андриенны Лекуврер, потому он и стал большим другом Морица Саксонского. Они оба любили эту женщину, но каждый обожал ее по-своему. К несчастью, летом 1729 года в Морица серьезно влюбилась герцогиня Бульонская, очень распутная женщина, и далее началась криминальная история, тайна которой до сих пор не раскрыта.

Андриенна, как женщина, никак не могла мириться с появлением соперницы, пусть даже очень знатной и богатой, а Париж знал о новой страсти Бульонской, с интересом наблюдая за схваткой двух «тигриц» из-за Морица Саксонского. Победила все-таки Андриенна, которая в расиновской «Федре», ведя заглавную роль, вдруг — в полной тишине театрального зала — обратилась к ложе, где восседала ее соперница:

Я не из женщин тех, беспечных в преступлениях,
Что, гнусность совершить готовые всегда,
Умеют не краснеть от тяжкого стыда...

Все зрители поняли намек Андриенны, и в грохоте аплодисментов герцогиня Бульонская покинула театр, провожаемая шиканьем и свистом. Андриенна была болезненной, а вскоре ей предложили загадочные таблетки, одна из которых издавала подозрительный запах. Это обнаружил сам Мориц.

— Ни в коем случае не принимай их, — велел он актрисе. — Я пошлю эти таблетки на анализ химику Этьену Жоффруа...

Жоффруа испытал их на своей собаке, ибо в те времена такой «химический» способ был самым верным, но собака осталась жива. Зато неожиданно скончалась Андриенна Лекуврер. Она умерла на руках Вольтера — так пишут одни, она умерла на руках Морица Саксонского — так пишут другие. Но путаницы тут нет, ибо первый и второй, оба рыдающие, приняли последний вздох великой актрисы. Вздох ее они приняли, сие верно, но, потрясенные смертью, они забыли пригласить юре, чтобы тот исповедовал умирающую, и Андриенна умерла без святого причастия. Церковь же в ту пору относилась к актрисам как к профессиональным «чертовкам», отдавшим себя для служения дьяволу, и все сказанное, вместе взятое, довершило трагедию жизни...

Ночью — ни Вольтера, ни Морица не было — полиция прислала моргусов, которые, замотав тело Андриенны в рогожу, воровски утащили его на загородный пустырь, где уже была приготовлена яма. Мертвую бросили в яму, тут же обильно засыпав ее негашеной известью, чтобы от Андриенны не осталось даже костей, а землю над ее прахом моргусы сровняли так гладко, чтобы не сохранилось даже могилы.

— Счастливец! — сказал Мориц Вольтеру. — Вы хоть способны изливать свою ярость в разгневанных стихах и эпиграммах, а на что способен я, жалкий человек?..

В этом же году курляндская герцогиня стала русской императрицей Анной Иоанновной. Переиначивать прошлое — занятие наивное, но историки все же иногда задаются каверзным вопросом: что, если бы Мориц сделался мужем Анны Иоанновны? Если бы такое случилось, русский народ не изведал бы ужасов «бириновщины», зато Россия, соответственно драчливому характеру Мориса, наверняка не выбиралась бы из военных авантюр. Наконец, гадая на крапленых картах истории, можно задаться вопросом — что, если бы заочный роман с цесаревной Елизаветой завершился бы их браком, и не воссела бы тогда на русском престоле новая династия — Романовых-Саксонских? Но строить домыслы на сыром песке минувшего мы не станем, пусть читатель пофантазирует сам...

Потеряв свою Омфалу, Геркулес погрузился в уныние. Мориц спал или читал, читал или спал, избегая шумного света. Его оживила война за «польское наследство», а в 1737 году Бовэ опять потрясал перед ним избирательным актом ландтага:

— Проснитесь, граф! Фердинанд умер, а в Европе снова возник вопрос о пустующем престоле герцогов в Митаве...

Но Анна Иоанновна утвердила этот престол за Бираном.

Мориц все эти годы проживал во Франции, где и дождался кончины Анны Иоанновны, после чего Бирон сразу отправился зимовать в Пелым, а на престоле Романовых воцарилась веселая и бесшабашная Елизавета, когда-то влюбленная в Морица. Маркиз Шетарди, версальский посол при ее дворе, настойчиво звал Морица в Россию, чтобы «разогреть старые дрожжи», а Версаль вдруг проявил интерес к делам курляндским. Престарелый кардинал Флери, заправлявший политикой Франции, сказал Морицу:

— Надеюсь, акт о вашем избрании в герцоги еще не съеден мышами? Так прихватите его в Россию, ибо момент для вас чрезвычайно удачный: Елизавета коронуется в Москве, и на радостях ей ничего не стоит посадить вас на митавский престол, еще не остывший после сидения на нем герцога Бирона...

Был теплый душистый вечер 10 июня 1742 года, когда Мориц появился в Москве, а маркиз Шетарди сразу дал в его честь великолепный ужин, длившийся до утра — с винопитием и танцами. Москва уже была наслышана о его приезде, и в разгар ужина появилась сама Елизавета... Да, она хотела повидать Морица, но теперь женщиной двигала не наивная влюбленность, а лишь одно женское любопытство. Протягивая руку для поцелуя, императрица поцеловала Морица Саксонского в лоб.

— Я так много слышала о вас, — сказала она...

Морицу было уже 46 лет, и померкшая красота его не произвела на Елизавету должного впечатления. В ответ на приглашение к танцу она сказала:

— Первый контрданс я занята, за вами — второй...

Если ему второй, то кому же первый? Первый контрданс Елизавета провела с молодым чернобровым красавцем.

— Кто это? — ревниво спросил Мориц у Шетарди.

— Алексей Разумовский... сын свинопаса, — отвечал посол.

— О боги! — вздохнул Мориц. — Ему первый контрданс, а мне второй... Значит, я уже готов для могилы!

Вскоре камергер Воронцов дал для Морица завтрак, на котором была и Елизавета в мужском костюме; она сама предложила гостю прогулку верхом, выразив желание показать ему Москву. Он галопом скакал с нею по улицам, но вдруг хлынул оглушительный ливень, и Елизавета с Морицем спасались от дождя в кремлевских покоях. Елизавета сказала:

— Хотите, я покажу вам сокровища моих предков?..

Показывая драгоценности Оружейной палаты, не желала ли она наказать его упреком — что он потерял, не откликнувшись на ее давние призывы? Елизавета призналась:

— Когда Ласси изгонял вас из Митавы, ваш отец, дабы утешить меня, прислал мне чайный сервиз из Мейсена, а я ведь тогда же сказала послу Лефорту: «Мне сейчас не фарфор, а... м у ж надо-бен!» Почему вы тогда не приехали?

— Об этом лучше спросить у того же генерала Ласси...

На этот намек, весьма горький в устах женщины, Мориц отвечал намеком на вакантный престол в Курляндии, но Елизавета сказала, что политикой ее кабинета ведают мужчины.

— А я, женщина слабая, могу только бить тарелки или плакать... Однако, — завершила она беседу, — Петербург не желает нарушать древние привилегии курляндских рыцарей, кои обоснованы на статьях их старинной конституции.

После такого ответа Мориц откланялся. Конец!

Осталось сказать последнее — едва ли не самое насущное...

С детства звенящий шпорами, Мориц замечал многое на войне, на что закрывали глаза его современники. Он много читал, чтобы сравнивать старое с новым в тактике боя и в стратегии войн. Ему не было еще и тридцати, когда известный шевалье де Фолар, сам военный мыслитель, сказал о Морице так:

— Я еще не встречал таких талантов полководца, только бы этот малый не подставлял свою голову под ядра!..

Ядра миновали голову Морица, в которой уже роились мысли иной эпохи — будущей. Неразлучный Бовэ давно привык к причудам Морица, который иногда начинал пророчить:

— Почему бы солдату не заменять хлеб сухарями, а дурацкие шляпы — железными касками? Пехоту надобно усилить ружьями, заряжаемыми с казны, чтобы не заталкивать пули шомполом. Нет, милый Бовэ, я совсем не стремлюсь к истреблению людей. Напротив, я помышляю о войнах с ничтожным пролитием крови.

Это правда. Мориц всегда берег солдат. Однажды был такой случай. Генералы сказали ему, что схватка обойдется в сухую ерунду — всего в дюжину солдат, на что Мориц ответил:

— Дюжина солдат? Но это не ерунда. Лучше я отдам неприятелю дюжину голов своих генералов...

Он считал битву при Полтаве шедевром военного искусства, призывая французов подражать русским: «Вот каким образом благодаря искусным мерам можно заставить счастье склониться в

свою сторону», — писал он. Морица привыкли видеть кутящим с женщинами, но, пожалуй, один только Бовэ знал, как усидчив он, когда замыкался в творческом уединении, постигая тайны полководческого искусства. Мориц завещал, чтобы в армии обязательно учитывались народные традиции, «так как люди весьма привержены к ним, и даже от самых вредных обычаев отказываются неохотно и с великим трудом — в силу национальной гордости, в силу природной лени или просто по глупости...»

Еще смолоду он провел немало баталий, и не одну из них выиграл. Но в числе множества его побед самой внушительной и самой прославленной стала битва при Фонтенуа, в которой он разбил англичан, голландцев и ганноверцев, союзных австрийцам. Фонтенуа стало боевой гордостью народа Франции, а сам Мориц сделался для французов национальным героем.

— Я не радуюсь, — сказал он Бовэ. — Каждый мой успех порождает озлобленный лай шавок-завистников...

18 марта 1746 года — сразу после Фонтенуа! — в парижской Опере состоялось театральное «коронование» Морица, а знаменитый скульптор Пигаль — еще при жизни маршала — заранее соорудил для него погребальный саркофаг в Страсбурге.

— Невесело жить, заведомо зная, что тебя поджидает прекрасная гробница. К сожалению, — рассуждал Мориц, — полководец, даже приносящий только победы, всегда остается подобен плащу, о котором вспоминают лишь во время бурного ливня...

Эти слова полностью оправдались, когда наступил мир и придворная камарилья задвинула Морица в глубокую тень. Версаль третировал Морица, а потому он, уже страдающий от болезней, до конца жизни хотел доказать свое превосходство.

— Но доказать придворной сволочи свое превосходство я могу не театральной, а лишь подлинной коронацией...

Не будем удивляться! Таков был век, а Мориц был кровное дитя своего времени. Короны тогда не валялись на мостовых, но зато оставались девственные страны, еще не знавшие королей. После

митавского конфуза Мориц обратил пламенные взоры на далекий и загадочный Мадагаскар, однако версальские политики оберегали этот остров от посторонних вожделений как свою будущую колонию. Мориц наметил для себя другой островок — Тобаго, которым когда-то владели курляндские герцоги. Но Тобаго перехватили голландцы. Мориц был согласен стать даже королем разбойников Корсики, но и Корсика оказалась ему недоступна. Видя, как он хлопочет о короне, Бовэ подсказал самое верное решение:

— В чем дело? Я бы на вашем месте не ломал голову зря, а сразу бы объявил себя царем иудейским!

Странно, что этот проект — быть новоявленным Моисеем — пришелся Морицу по душе, и он вознамерился собрать всех евреев в джунглях Латинской Америки, где и будет водружен его престол, украшенный звездами Давида. Нам это кажется смешно, но Мориц почему-то свято уверовал в то, что евреи не откажутся иметь такого бравого царя-маршала, каков он сам!

Последние годы жизни, пренебрегая знатью, Мориц замкнулся в Шамборе, окружив себя лишь писателями, философами, художниками и артистами. Но осенью 1750 года, навестив Версаль, он дал пощечину Людовику Конти, принцу королевской крови.

— Вам это дорого обойдется, — отвечал Конти...

Высокое положение соперника в обществе Франции обязывало их дуэлировать втайне. Об этом поединке почти никто не знал, и молодой Конти ранил Морица, который был вынужден скрывать свою рану даже от врачей. Все должны были думать, что он страдает от водянки, давно изнуравшей его.

— Жизнь — это лишь с о н, — говорил Мориц друзьям. — Мой сон был таким чудесным, почти волшебным. Но — увы! — каким коротким он оказался... И как быстро спешат стрелки часов.

Наконец его часы остановились, и Мориц завещал:

— Так бросьте же меня в любую поганую яму и засыпьте мое грешное тело ядовитой известью... Я хочу раствориться в этом проклятом мире, как растворилась и она!

Этими предсмертными словами Мориц Саксонский невольно доказал, что любил только одну женщину на свете — божественную и глубоко несчастную Андриенну Лекуврер...

Нам от Морица остался могучий дуб, много веков дремлющий в тишине колдовского озера, да его сочинения, изданные посмертно, в которых он рассуждал о нравственности на войне, о гуманных методах боя. Для нас он всегда останется не только искателем приключений, но и военным теоретиком, предвосхитившим тактику революционных армий будущего. Наши историки ставят Морица Саксонского в один ряд с такими полководцами, каковы были Монтекукули, Евгений Савойский, Мальборо, Тюренн, Фридрих Великий, Петр Салтыков и даже... даже Наполеон!

А пьеса Скриба «Андриенна Лекуврер», в которой выведен и граф Мориц Саксонский, в 1919 году последний раз была поставлена на русской сцене. Если бы эту пьесу возобновить в наших театрах, она многое бы нам напомнила...

Солдат Василий Михайлов

В нашей истории бурный и красочный XVIII век, век рыцарства и злодейства, век гордецов и подлецов, как бы окантован двумя мучительными процессами. В начале столетия Россия вышла на побережье Балтики, а весь конец века народ укреплял рубежи государства на берегах Черноморья. Дорога в Бахчисарай далась ценою большой крови, отняв у россиян жизнь нескольких поколений.

Дело это было великое, дело нужное — дело героев, давно позабытых. Сейчас бывшая Таврида стала всесоюзной здравницей, и загорающие в шезлонгах на верандах курортов меньше всего думают о своих пращурах, которые пешком ходили на Крым не ради обретения загара, а едино ради отмщения татарам за беды и насилия.

Иногда очень полезно вспомнить слова Пушкина:

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие!»

Итак, мы во времени Анны Иоанновны...

Весною 1736 года русские легионы под жезлом фельдмаршала Миниха выступили в поход на Крымское ханство.

Солдат воодушевлял бой барабанный, флейты пели им о славе предбудущей:

Крепит отечества любовь
Сынов российских дух и руку;
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку.

А за солдатами шагали люди служивые — лекаря с аптеками, профосы с кнутами, трубачи с гобоями, попы с кадилами, аудиторы с законами, писаря с чернильницами, кузнецы с молотами, цирюльники с ножницами, седельники с шилами, коновалы с резаками, плотники с топорами, извозчики с вожжами, землекопы с лопатами, каптенармусы с аттестатами...

Сверху обжигало людей нещадное степное солнце.

Боевые литавры гремели не умолкая...

В громадной карете — шлафвагене — ехал сам Миних; на походной жаровне пеклась для него яичница; фельдмаршал в одном исподнем белье сидел на бочке с золотыми червонцами, лениво понтируя со своим приятелем, пастором Мартенсом, и хвастал:

— Через четыре года, дружище, мои славные штандарты будут водружены над сералем султана турецкого... Я сдаю. Квинтич. Пики!

— В банке триста, — отвечал пастор. — Сначала, приятель, не сломай себе шею на взятии Перекопа, побывай в Бахчисарае крымского хана, а потом уж мечтай о Константинополе...

— Basta! — пришлепнул туза Миних. — Твоя карта бита... Не забывай, что мы с тобой не в Европе, а в России... Людские запасы

этой страны столь велики, что кровь солдата на Руси дешевле чарки вина. Счастье, что я служу в русской армии, где можно свободно угробить миллион душ, но зато всегда добьешься успеха... Пики!

Дымчатые волю катили по травам 119 пушек, величавые верблюды тащили арбы с ядрами.

На телегах везли рогатины — столь великие, что одну из них с натугою шестеро солдат поднимали (этими рогатинами окружали по ночам бивуаки, дабы не наскочила татарская конница).

Казалось, не будет конца пути, никогда не кончатся эти солончаки и сожженные солнцем ковыли.

Палимы звенящим зноем, шли солдаты великой армии.

Голая степь и безводье царили на крымских подступах.

Покрыты тенью бунчуков*
И доли и холмы сии!

— Кошку высеешь и то прутика не сыщешь, — говорили люди.

Чуткий сон армии стерегли по ночам скифские курганы...

Днем через каре армии прокатывали шлафваген Миниха.

— Вперед! — рычал на солдат фельдмаршал. — Кто остановился, тому смерть. А свободных телег для больных в обозе нету...

Жутко ревел на привалах скот, не поенный уже с неделю.

Выстелив по земле тонкие шеи, умирали плачущие от усталости кони.

Мертвых бросали в степи — на поживу ястребам и воронью.

17 мая 1736 года русское каре с ходу уперлось в Перекоп.

Походный толмач Максим Бобриков всмотрелся в пылицу.

— Перед нами ворота Ор-Капу, — доложил он Миниху.

— Ор-Капу? А что это значит?

* Бунчук — войсковой знак, бытовавший у турок, запорожцев, поляков, валахов и у донских казаков. Представляет собой длинную трость, увенчанную сверху шаром, а под шаром привязывается лошадиный хвост. В Турции бунчук присваивался как знак достоинства султанов и полководцев; он был украшен полумесяцем.

— «Капу» — дверь, «Ор» — орда, вот и получается, что сия татарская перекопь есть «дверь в Орду» ханскую...

— Передайте войскам, — наказал Миних, — что за Перекопью их ждет вино и райские кущи. Ад — только здесь! А за этим валом «дверей в Орду» — отдых и прохлада садов ханских, где произрастает фруктаж редкостный, какого в дому у себя никто не пробовал!

Но 185 турецких пушек (против 119 русских) зорко стерегли вход в Крымское ханство; над фасадами крепости реяли на бунчуках янычарских хвосты черных боевых кобыл, и старая мудрая сова, вырубленная из камня, сидела над воротами Ор-Капу, сурово взирая с высоты на пришельцев из далекой прохладной страны...

— Назавтра быть штурме немалой, — говорили ветераны, — а нонеча поспать надо, дабы отдохнули бранные мышцы!

И армия попадала на землю, изможденная до крайности.

Они *дошли*...

Но до Перекопа русские доходили уже не раз. Дойдут — и возвращаются обратно, крепости взять не в силах. Все степи Причерноморья усеяны русскими костями...

Спите!

Завтра покажет — быть вам в Крыму или не быть?

Еще затемно строили полки, в центр лагеря стаскивали обозы, чтобы они не мешали армии маневрировать.

В строгом молчании уходили ряды воинов, неся над собой частоколы ружей. Священники, проезжая на телегах, торопливо крестили солдат святою водицей — прямо с метелок! Погрязая в песок зыбучий, тяжело выползали мортиры и гаубицы. Рассвет сочился из-за моря, кровав и нерадостен, когда войска вышли на линию боя.

Миних на громадной рыжей кобыле проскакивал меж рядов, возвещая солдатам:

— *Первого*, кто на вал Перекопи ханской взойдет с оружием и цел останется, жалую в офицеры со шпагой и шарфом... Помните, солдаты, об этом и старайтесь быть первыми!

Плох тот солдат, что не жаждет стать офицером. Воины кричали:

— Виват, Россия... виват, благая! Все будем первыми...

Янычары жгли костры на каланчах, ограждавших подступы к Перекопу со стороны степей. А ров на линии перешейка был столь крут и глубок, что голова кружилась.

И тянулся он, ров этот проклятый, рабами выкопанный, на многие версты — от Азовского до Черного моря.

Пастор Мартене наполнил бокал «венджиной» и протянул его фельдмаршалу, чтобы взбодрить его перед битвой:

— Всевышний пока за тебя, приятель: воды во рву татарском не оказалось, и в этом твое счастье... Выпей венгерского!

Окрестясь, солдаты кидались в ров, как в пропасть. Летели вслед им рогатины и пики, из которых тут же мастерили подобие штурмовых лестниц, и лезли наверх, беспощадно убиваемые прямо в грудь янычарами...

Дикая бойня возникла на приступе каланчей. Топорами рубили солдаты двери, чтобы проникнуть внутрь башен. Врукопашную — на багинетах, на ятаганах! — убивали людей сотнями, тысячами. Каланчи взяли — дело теперь за воротами Ор-Капу, и тогда «двери» Перекопа откроются сами по себе... Пять тысяч тамбовских мужиков, приставших к войскам, уже лопатили землю под собой, готова проезжую «сакму» для входа в Крым, чтобы протащить через перешеек громоздкие обозы великой армии.

Миних часто спрашивал своего адъютанта:

— Манштейн, хоть один солдат взшел ли на вал?

— Увы, экселенц. Всех сбросили вниз.

В боевом органе битвы взревели медные трубы пушек.

— Вот же он... герой! — кричал Миних, когда на валу крепости, весь в дыму и пламени, показался *первый* русский солдат. — Кто бы он ни был, жалую его патентом офицерским!

К шатру Миниха подскочил толмач Максим Бобриков.

— Наши на валу, — возвестил хрипло, кашляя от дыма. — А паша перекопский парламентаря шлет... милости просят!

Ворота Ор-Капу медленно разверзлись, и в них, паля из мушкетов, хлынуло воинство российское. В шатер, плещущий розовыми шелками, явили героя, взошедшего на вал первым, и Миних не поверил своим глазам:

— Неужели это ты на вал вскарабкался?

Перед ним стоял... мальчик.

— Солдат Василий Михайлов, — назвался он.

Миних расцеловал его в щеки, грязные и кислые от пороха.

— Сколь же лет тебе, храбрец?

— Четырнадцать. А служу второй годочек.

Миних деловито отцепил от пояса Манштейна офицерскую шпагу и перекинул ее солдату. Свой белый шарф повязал ему на поясе.

— Хвалю! Носи! Ступай! Служи!

В походной канцелярии, когда надо было подпись ставить, Васенька Михайлов, заробев, долго примеривался:

— Перышко-то... чего так худо очинено?

Окунул он палец в чернила, прижал его к бумаге. Выяснилось, что азбуки не знает. И тут мальчик-офицер расплакался:

— Тому не моя вина! По указу ее величества велено меня, сколь ни проживу на свете, грамоте никогда не учить...

Манштейн вскоре все выяснил об этом новом офицере:

— Солдат Василий Михайлов... на самом же деле — это Василий Михайлович из дому князей Долгоруких! Вы, экселенц, нарушили указ государыни нашей, коя велела отроков из этой фамилии пожизненно в солдатском звании содержать и в чины офицерские под страхом смерти не выводить...

Долгорукие в это время составляли оппозицию правлению Анны Иоанновны; члены этой фамилии выступали против засилия иноземцев в правительстве и армии; большая часть Долгоруких была уже казнена, сослана, сидела по тюрьмам и острогам.

— Так ты говоришь, что солдату век в солдатах ходить? — Миних в гневе топнул ботфортом, звенящим острою, как кинжал, испанскою шпорой: — Но я же слово армии дал, а слово маршала — закон...

Войска бурно растекались по узким канавам улиц Перекопа. А всюду — грязь; посреди улиц лежали кучи пороха. Валялись пушки с гербами московскими (еще от былых походов столетья прошлого). Кажется, и дня не прожить в таком свинстве, какое царило в янычарской цитадели, и солдаты спрашивали:

— А где ж земляца-то райская, кою сулили нам вчера?

Но за Перекопом им неласково приоткрылся Крым — опять степи голые, снова безлюдье, пустота и дичь. Парили над падалью ястребы да цвели дикие степные тюльпаны, никого не радуя. Решительным марш-маршем русская армия шагнула в Бахчисарай, столицу ханства, и предала ее карающему огню...

Сколько раз уже входил в Крым человек русский, и всегда только *рабом*. 1736 год — для истории памятный.

В этом году русский человек вступил сюда *воином!*

...Разведя армию на зимние квартиры вдоль берегов Днепра, Миних велел солдатам всю зиму дробить пешнями днепровский лед, чтобы конница татарская не могла по льду форсировать реку. А сам отъехал для доклада императрице в Петербург.

Закончив говорить о важных делах, он уже направился к дверям, и вдруг — хитрец! — хлопнул себя по лбу:

— Ах, голова моя! Все уже забывать стала.

— Ну, говори, — повелела Анна Иоанновна. — Что еще?

— В армии, матушка, состоял в солдатах отрок один. И первым на фас Перекопа вскочил. Так я, матушка, чин ему дал.

— И верно сделал, — одобрила его императрица.

— Да отрок-то сей неучен, матушка.

— Неучен, да зато храбр! Такие-то и надобны.

— Из Долгоруких он, матушка...

Царица нахмурилась. Долгорукие — ее личные враги; они кичились древнею славой предков своих, они бунтовали против нее и ее фаворита графа Бирона...

— Дал так дал, — недовольно сказала императрица. — Не отнимать же мне шпагу у сосунка. Пушай таскает ее... Но грамоте учить его не дозволю.

Война с Турцией закончилась в 1739 году, когда Василию Долгорукому исполнилось семнадцать лет, а за спиною юноши уже отполыхали пожары Очакова и Бахчисарая, в битвах окрепла его рука...

Стоившая народу немалых жертв, эта война никакой пользы России не принесла, разве что озлобила ханство.

В истории все объяснимо: могущество России, военное и экономическое, еще не созрело до такой степени, чтобы Крым взять и удержать за собой...

В последующее царствование — Елизаветы Петровны — многое на Руси изменилось к лучшему: было создано национальное русское правительство, куда вошли умные деловые люди; на берегах Невы открылась Академия художеств; промышленность ковала для армии мощное добротное вооружение; флот российский снова распустил паруса...

При Елизавете семь лет подряд Европу сотрясала война, которую принято называть Семилетней; вызвал эту войну прусский король Фридрих Великий — талантливейший полководец XVIII века, глубокомыслящий хищник, оригинальный стратег, побеждать которого было нелегко.

В рядах армии, прокладывавшей дорогу на Берлин, состоял и князь Василий Михайлович Долгорукий; в битве под Кюстрином он был жестоко изранен, но фронта не покинул, за что наградой был ему чин генерал-поручика.

Слава — фея капризная, и никогда не знаешь, где она тебя увенчает лаврами... Ему было уже пятьдесят лет, когда началась очередная русско-турецкая война.

Стотысячную армию возглавлял крымский хан Крым-Гирей.

«Пестрота одежд, блеск лат, колчанов и сабель, разукрашенных позолотой и камнями, сочетались со строгой мрачностью европейской амуниции... новенькие французские пушки замыкали торжественное шествие армии Гирея». Вся эта орава вторглась на Украину, и вновь запылали города и села, опять, как во времена Батгя, арканили людей, словно скотину, и тысячами гнали

в крымскую Кафу, где шла бойкая торговля людьми на базарах. Кавалерийская орда Крым-Гирея с воплями вкатывалась в земли польские, по которым татары пронеслись, как через жнитво проносится черный смерч; на их пути все было уничтожено, все осквернено, все обесцечено; они вырезали ляхов семьями, а прекрасных полонянок табунами гнали в Крым — для продажи в гаремы; пламя пожаров полыхало над многострадальной Польшей, и было жутко, как никогда...

Русские генералы собрались в Зимнем дворце.

— Армию поднимать в поход... Отмщение врагу многовечному близится. Кровь великая будет, но и славы прибавит!

15 июня 1771 года русская армия под командованием «солдата Василия Михайлова» с ходу уперлась в твердыни Перекопа.

Долгорукий приставил подзорную трубу к слезящемуся от пыли глазу, всмотрелся в возню янычар на высоких крепостных фасах, вдоль которых красовалось страшное ожерелье из отрубленных голов христианских воинов.

— Един раз пришел я сюды мальчиком-солдатом, — сказал он штабу, — а ныне явился во второй уже стариком генералом... Товарищи! — обратился к войскам. — Первого из вас, кто взойдет на фас Перекопи и останется жив, жалую я офицерской шпагой...

Поэты писали:

И здесь в очах сего героя виден жар,
И храбрость во очах его та зрима,
С которыми разил кичливых он татар!
Се Долгорукий он и покоритель Крыма.

Ворота Ор-Капу вдребезги разлетелись, и, разломав крепости Перекопа, русское воинство хлынуло в Крым.

Это была блистательная операция! Долгорукий повершил Миниха и взял у татар не только Бахчисарай, но и Кафу (нынешняя Феодосия) — многовековой центр международной работорговли. Ханство было повержено...

При десанте в Алуште гренадеры наши дрались как дьяволы, а вел их в бой молодой Михаила Голенищев-Кутузов, и в небывалой ярости схватки пуля не пощадила его.

«Сей штаб-офицер, — рапортовал Долгорукий в столицу, — получил рану пулей, которая, ударивши его между глаза и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица...»

Рана опасная!

Державин сказал о ней поэтически:

«Смерть сквозь главу его промчалась!»

Уже на склоне лет, когда армию Наполеона гнали прочь из России, одноглазый Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, в морозную ночь на бивуаке, греясь возле костра, неожиданно вспомнил молодость. Он долго рассказывал о князе Долгоруком...

— Под его командой, — заключил он рассказ, — я получил черную повязку на глаз и начал понимать войну... Спасибо старику — от него я многому научился!

Екатерина II вызвала князя Долгорукого в столицу...

Верхи Петрополя златые
Как бы колеблются меж снов,
Там стонут птицы роковые,
Сидя на высоте крестов!

Императрица приняла полководца во внутренних покоях, одетая в голубенький капот, на коленях у нее грелась злющая дымчатая кошка с острыми черными ушами, которая часто шипела...

— Звала ты меня, матушка? Так вот я — прибыл!

Она предложила ему чашечку кофе своего приготовления, но старик отвел от себя все ее заботы.

— Того не надобно, — сказал. — Уже откушал...

— Ну, Василий Михайлович, — заговорила императрица, — услужил ты отечеству в избытке. Жалую тебя шпагой с алмазами, и прими от меня бриллианты к ордену Святого Андрея Перво-

званного... Слышала я, будто долгов ты накошелял немало? Так ты скажи, сколько должен: все твои долги беру на себя...

За вторжение в Крым он получил титул *Крымского!*

— Доволен ли ты? — спросила Екатерина II.

— Да уж куда выше? — отвечал Долгорукий Крымский. — Но уважь просьбу мою... Сызмальства при войсках состою российских, сам бил, и меня били! Уставать начал от дел бранных. Дозволь в деревеньку отъехать, на солнышке раны погреть старые?

В деревне он засиделся, прижился в тиши поближе к петухам, будившим его на восходе солнца, поближе к яйцам, сметанам и лукошкам с грибами пахучими. Казалось, жизнь уже прожита, ничего больше не будет...

Но в 1780 году указом свыше его назначили на высокий пост главнокомандующего в Москве (по сути дела, он стал генерал-губернатором «первопрестольной столицы»).

Надо признать, что грамоты князь так и не осилил.

И всю жизнь обвинял в своей безграмотности... *перья:*

— Опять перышко худо зачинили — никак не могу писать! Эй, секретарь, кудыть ты провалился, ты развей меня, ну-к, пиши за мою милость, а я тебе, дураку, диктовать стану...

Доступ к нему всегда был свободен.

— Мне ли, старому солдату, дверьми от народа затворяться! — говорил Крымский, и к нему в кабинет смело входили и купец, и ветеран-инвалид, и крестьянин с обидой на барина...

Законов князь никаких не знал и, кажется, даже гордился тем, что не знает, а судил-рядил «по-отечески», руководствуясь лишь смекалкой и богатым жизненным опытом.

— Я солдат, — с гордостью говаривал о себе Василий Михайлович, — в чернильной купели не купан, с острия пера не вскормлен, казенной бумагой не пеленат... Я прост, как ружейный багинет!

Был он человеком по-русски щедрым и хлебосольным, к столу своему сажал любого захожего с улицы. Дважды открывший двери для русской армии в лучезарный Крым, он скончался 30 января

1782 года. Умер как раз на пороге важного события, когда Крым вошел в состав нашего государства на правах новой губернии — Таврической!

Его похоронили в селе Полуехтове Рузского уезда Московской губернии, и над могилой полководца склонились трепетные русские березы, стали вить гнезда певучие русские птицы...

В эпитафии поэта Ю.А. Нелединского-Медецкого сказано:

Прохожий, не дивись, что пышный мавзолей
Не зришь над прахом ты его;
Бывает, оною покрыты и злодеи;
Для добродетели нет славы от того!
Пусть гордость тленная гробницы созидает —
По Долгорукове ж Москва рыдает.

В 1842 году в городе Симферополе «солдату Василию Михайлову» был сооружен памятник...

Остался на Москве дом его в Охотном ряду, где позже размещалось московское Благородное собрание, а ныне — Колонный зал Дома Союзов.

И каждый раз, когда передают концерт из Колонного зала, мне почему-то невольно припоминается Долгорукий Крымский...

Мир праху его солдатскому!

Лейтенант Ильин был

Летом 1886 года в России был спущен на воду самый быстроходный в мире корабль класса минных крейсеров. Шампанское обрызгало его острый форштевень, который под звуки оркестров стремительно рассек темную воду, и волна, отраженная от берега, обмыла золотую славянскую вязь его имени: «Лейтенант Ильин»...

Впрочем, среди публики слышались голоса:

— Лейтенант Ильин... простите, а кто он такой?

Это уже не ново, что история умеет прочно забывать.

Но зато история умеет и вспоминать!

Я раскрываю старинную книгу и читаю в ней такие слова:

«Клевета, зависть — вы уже довольно насытились, заживо преследуя почтенного Ильина: прекратите же гонения свои, скройте самих от себя, не беспокойте прах друга души моей!»

Итак, он был гоним... *За что?*

На синих воротниках матросов Российского флота издавна три белые полосы — в знак побед при Гангуте, Чесме и Синопе. В 1770 году русская эскадра под кейзер-флагом Алексея Орлова заперла флот султана турецкого в Чесменской бухте...

С этого и начинается рассказ о лейтенанте Ильине!

Накануне наша эскадра спускалась по ветру в Хиосский пролив, нагоняя турецкие корабли Гассан-бея, которых было много... очень много! «Увидя такое сооружение, — вспоминал Орлов, — я ужаснулся». Но ужасаться превосходству заклятого врага России было некогда, паче того, адмирал Спиридов уже деловито командовал:

— Как только выйдем на пушечный выстрел, с Богом учиняйте пальбу великую... Всех псов-турок топить нещаднейше!

Ветер сносил эскадру в батальной линии все ниже по ветру. Авангардом из трех кораблей управлял Спиридов. «Европа» под флагом капитана 1-го ранга Клокачева малость замешкалась перед противником, и Спиридов тут же прогорланил:

— Каперанг Клокачев, поздравляю тебя: ты — матрос! А если еще сплхуешь, велью за борт выкинуть... Пошел вперед!

Кордебаталию из трех кораблей возглавлял сам Орлов, а за ними плыли суда арьергарда. Над головами, разрывая паруса и снасти, гремели раскаленные ядра. Спиридов, обнажив шпагу, гулял по шканцам «Святого Евстафия» словно по бульвару и скрипел новенькими ботфортами; на ютах кораблей играла воинственная музыка, литавры гремели, а Спиридов взбадривал музыкантов:

— Играть вам всем до последнего, кто живым останется...

Прошло два часа жаркой пальбы, ветер вдруг стих, но «Евстафий» уже врезался в борт турецкого флагмана «Реал-Мустафы», причем бушприт его навис над палубой неприятеля, и сразу нача-

лась дикая абордажная драка — на ножах, на штыках, на кулаках. «Один из наших матросов бросился срывать турецкий флаг. Его правая, протянутая к флагу рука была ранена. Протянул левую — ее отсекли ятаганом. Тогда он вцепился в флаг зубами, но, проколотый турком, упал мертвым с флагом в зубах...»

Такова ярость боя! Что тут еще можно добавить?

Горящая мачта турецкого флагмана рухнула на палубу русского корабля, давя людей, а мощные сквозняки пожара ворвались в пороховую крьюйт-камеру. «Евстафий» раздулся бортами, как пузырь, и, лопнув, он взлетел на воздух вместе с «Реал-Мустафою!» 620 человек команды погибли в иссушающем пламени порохов, лишь несколько счастливых выбросило взрывом далеко в море...

Неплох был и Алешка Орлов: он геройски вывел «Трех иерархов» напротив капудан-паши, велел отдать якоря и с якорей, чтобы стоять нерушимо, бил и бил в борт турецкий ядрами, пока от противника не осталась пылающая развалина. За «Тремя иерархами», все в дыму, проходили «Ростислав», «Саратов», «Не тронь меня» и прочие корабли, имена которых вписывались в летопись русского героизма...

Турки бежали! Они скрывались в лежащую близ Хиосского пролива Чесменскую бухту, и здесь русская эскадра затворила их.

Догорали пожары на кораблях. На ютах отпевали мертвых. Был созван флагманский совет. Прихлебывая черное, как деготь, кипрское вино из громадного кубка, по салону расхаживал Алешка Орлов, молодой и веселый, в прожженной рубахе. Перед ним сидели его соратники — Спиридов, Ганнибал и Грейг.

— Решайтесь, товарищи, — говорил Орлов...

И решили: флот турецкий в Чесме вконец разорить, дабы самим стать в море господами, а действовать указано эскадре брандерами — брандскугелями (зажигательными снарядами). Спешно готовили к ночному прорыву в бухту Чесмы четыре брандера.

Грейг выстроил перед Орловым четырех офицеров:

— Брандер первый — капитан-лейтенант Дугдаль!

— Брандер второй — капитан-лейтенант Маккензи!

— Брандер третий — мичман князь Гагарин!

— Брандер четвертый — лейтенант Ильин!

— Смерти вам не желаю, а жизни не обещаю... Вы уж не подгадывайте, ребятушки, — сказал Орлов командирам брандеров, и, волоча по ступеням трапа длинные полы халата, он удалился в салон...

Настала ночь — тихая, лунная. Грейг в полночь засветил на корме «Ростислава» три фонаря — сигнал атаки. Битва началась, турок стали обкладывать бомбами. Обстреливали их долго, но лишь во втором часу ночи русский «брандскугель упал в рубашку грот-марселя одного из турецких кораблей, а так как грот-марсель был совершенно сух и сделан из бумажной материи, то он мгновенно загорелся».

— Великому делу малый почин сделан, — говорили моряки.

Словно белка по деревьям, огонь быстро скакал по снастям турецкого корабля; мачта, подгорев у основания, рухнула на палубу, весь корабль охватило веселое пламя, брызжащее снопами искр.

— Брандеры! — наказал Грейг. — Вперед их!

Первым пошел брандер Дугдаля, но две турецкие галеры выплыли наперерез и взяли брандер на abordаж, нещадно уничтожив всю его команду.

Вторым проник в бухту брандер Маккензи, но сбился с пути и, выскочив на мель, был взорван своей же командой.

— Скверно начали! Князь Гагарин... с Богом!

— Ясно, — слышалось от воды.

Прибавив парусов, третий брандер ворвался в Чесменскую бухту и свалился с турецким кораблем — в свирепом огне, раздуваемом ветром, исчезли и турки и наши. Половина турецких судов уже горела, подожженная артиллерией, но большая часть эскадры Гассан-бея еще была совсем не тронута огнем.

— Лейтенант Ильин, — окрикнул Грейг проходящий брандер, — ты остался последний, на тебя вся надежда... Навались на турок, что стоят еще незажжены, да сцепись с ними покрепче.

— Сделаю, — отвечал лейтенант Ильин.

Было ему тогда 28 лет. Острым зрением он выбрал в гуще вражеских кораблей тот, который покрупнее и лучше вооружен. Неслышно возникнув из-под тени берега, брандер Ильина плотно, словно пластырь, прилип к борту неприятеля. Боцман запалил факел и побежал вдоль палубы, поджигая кучками рассыпанный порох. Огонь шипящею змейкой, чуть посвистывая, юркнул в люк — прямо в трюмы брандера, где тесно, одна к другой, стояли бочки с порохом.

— Готово! — крикнул боцман, швыряя факел в море. Ильин в это время прилаживал к борту врага «каркас» (особый взрывчатый снаряд). Два дюжих матроса работали мушкетелями, заколачивая гвозди, которыми крепился «каркас» к неприятельскому кораблю. Сверху по ним не только стреляли, но даже плевались турки. Однако дело свое они довели до конца: «каркас» прибили, и он уже громко пощипывал, готовый вот-вот взорваться.

— Бросай все к черту... назад, ребята!

Попрыгали в шлюпку и оттолкнулись от брандера, яростно выгребая прочь. Замешкайся они сейчас — и смерть, а потому гребли с такой силищей, что вода бурлила, весла сгибались в дугу.

— Суши весла... стой! — велел вдруг Ильин.

Весла нависли над водой Чесменской бухты; Ильину хотелось своими глазами увидеть, чем все это закончится... Турецкий корабль уже разносило в куски, с палуб разметывало людей и пушки, вся бухта окрасилась в красный цвет, луну закрыло дымом, и стало жутко. Огонь схватил всю эскадру султана! Над шлюпкою Ильина пролетали горящие лохмотья снастей и раскаленные головешки сгоравшего рангоута. Перекрестившись на это сатанинское зрелище, матросы сказали:

— Слава те, хосподи, не стыдно домой возвращаться...

— Весла-а... на воду!

И пошли к своей эскадре.

Грейд второпях записывал в журнале: «Легче вообразить, нежели писать ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем: целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду,

поверхность бухты была покрыта множеством людей, но не многие из них спаслись». В одну ночь турецкий султан ПОТЕРЯЛ ВСЕ СВОЙ ФЛОТ. На воде Чесменской бухты еще долго дымились искореженные обломки кораблей, волна лениво колыхала жирный слой пепла...

Европа узнала об этой победе прежде России, и настроение королей, епископов и курфюрстов было надолго испорчено — от зависти! Русский флот заявил о себе миру как могучий флот, способный осуществлять самостоятельно дерзкие операции вдали от своих родных баз.

Наконец известие о Чесме курьеры домчали и до Петербурга.

«Блистая в свете не мнимым блеском, — писала Екатерина II Орлову, — флот наш нанес сей раз чувствительный удар оттоманской гордости... Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся, находящаяся при вас, эскадра!» Она велела наградить моряков годовым жалованьем, а матросам, согласно Морскому уставу, за сожженные вражеские корабли выдали 187 475 рублей — от казны!

И была выбита медаль, которою наградили всех участников Чесменской битвы. На одной стороне медали изображен погибающий турецкий флот, а на другой — отчеканено одно лаконичное слово: Б Ы Л.

Дмитрий Сергеевич Ильин — скромный парень из деревни Весьегонского уезда, он даже не знал, что его ждет впереди. Спору нет, и матросы и офицеры эскадры Орлова отважно дрались с врагом. Но *главная* роль в уничтожении турецкого флота все-таки принадлежала лейтенанту Ильину.

Деньги, как известно, разделить всегда легко.

Труднее делится слава...

И вот, когда стали «делить славу», тогда и обнаружилось, что у лейтенанта Ильина немало завистников. Рыцари в жестоких битвах стали не по-рыцарски вести себя после сражения.

Некоторые прямо говорили Ильину:

— Езжай-ка ты, Митя, в Весьегонск... гусей пасти!

Но последовал вызов из Петербурга — явить лейтенанта Ильина ко двору, яко особо отличившегося на брандере при Чесме.

Поехал Дмитрий Сергеевич, зла не ведая.

Прибыл!

«Лейтенант Ильин» — это имя тогда гремело в столице, и любой вельможный дом отворял перед ним двери. Митеньку сажали на лучшее место, под иконами: ешь, лейтенант, пей, лейтенант, только не молчи — рассказывай... На этом-то враги его и поймали! В гостиных никогда не шаркавший, от интриг далекий, простой и честный, Дмитрий Сергеевич не заметил *подвоха* в радушном гостеприимстве столицы!

Секретарю своему, Храповицкому, говорила императрица:

— Ильин-то, герой чесменский, приехал, а пошто ко мне не заявится? Вроде бы и зван был... Другие ног под собой не чувуют, коли я до своей персоны зову, а Ильин ведет себя так, будто я сама должна первой ему визитировать.

— Матушка, — отвечал хитрый Храповицкий, вовлеченный в интригу, — да где ему до твоей милости! Кутит напропалую, даже дверьми ошибаться стал. Намедни к Нарышкиным его звали, так подъезды перепутал: закатился в дворницкую, где и пировал до утра с лакеями, ибо лакеев за господ Нарышкиных принял.

— Ну и ладно, — засмеялась императрица. — Когда отгуляется да проспится, пушай ко мне заявится... Человек он несветский, где ему знать порядки наши! А я наградить его особо должна...

Храповицкий шепнул кому следует, и завистники славы Ильина довершили свое черное дело. После ночного винопития однажды они взяли Ильина в охапку, бросили в сани и повезли во дворец...

В таком виде и представили императрице:

— Во, матушка, Ильин-то! Сказывают, ты его видеть хотела.

— Что это с ним? — спросила Екатерина II.

— Да... сама зри! Трезвым, почитай, и не бывает. Вишь как его заводит из стороны в сторону. Что делать-то с ним будем?

— Уберите его...

Она велела его убрать только из своего дворца, но враги Ильина решили убрать его вообще из русской истории. Вытащили бедного лейтенанта на мороз, уложили в санки и велели кучерам:

— Теперь гоните... аж до самого Весъегонска!

Громкая победа при Чесме была — да, но зато не было подвига лейтенанта Ильина — нет, не было. Историк пишет: «Не погибший в Чесменском бою, Ильин погиб от тех, кто захватил его славу, а те, в свою очередь, выбросив Ильина, торжествовали...» Санки остановились на окраине убогой деревушки, Дмитрий Сергеевич, хрустя снегом под валенками, пошагал в избу. Это была его родина — сельцо Застижье Весъегонского уезда Тверской губернии, и здесь «погибе его память без шума».

Слава Чесмы была поделена между другими!

Его имя предали вековому забвению...

Текли годы, умерла первая жена, он женился вторично и вторую похоронил, как и первую. Росли две дочери — русоголовые, смешливые, приносили из лесу грибы да ягоды. Дмитрий Сергеевич никуда из деревни не выезжал, вел жизнь бедную и одинокую. Иногда лишь, когда бывало особенно грустно, он раскрывал томик Хераскова.

Старик читал стихи о себе самом:

Как быто нес главу Горгоны к ним в руках,
Окаменение им Ильин навел и страх.
Он бросил молнию в их плавающие дома,
Ударили со всех сторон от россов громы...
К чему ни коснется, все гибнет и горит;
Огонь небесну твердь, пучину кровь багрит;
Подъемлют якори, от смерти убегают;
Но, кроясь от огня, друг друга зажигают.

Дочери выросли и покинули его. Старик остался один. На этот раз совсем один. За окном пылили синие морозные вьюги...

19 июля 1803 года легендарный лейтенант Ильин умер!

Его там же и погребли — неподалеку от Подборовского озера, возле бедной, прозрачной от ветхости церквушки.

Деревенские соседи — Ирецкие, Ушаковы, Лодыгины (это все морские фамилии!) — возложили на могилу плиту с надписью:

*Под камнем симъ положено тело
Капитана первого ранга
Дмитрия Сергеевича Ильина, который
сжег турецкий флотъ при Чесме.
Жилъ 65 летъ. Скончался 1803.*

Над забытой печальной могилой шумела молодая листва...

Прошло много-много лет, никто не навещал могилу; дочери Ильина прошли по земле бесследно, как тени; каменная плита поросла мхом и осела в землю; неграмотную надпись обмывали теплые грозы. Так бы и пропал лейтенант Ильин в забвении, если бы не было такой прекрасной науки, как *история*.

Ее задача — вспоминать и напоминать!

Ильина вспомнили. И напомнили о нем в печати.

Появились книги о славном Чесменском сражении.

Лейтенанты очень редко попадают в энциклопедии.

Все-таки, что ни говори, лейтенант — не адмирал.

Но лейтенант Ильин попал и в русские энциклопедии.

Наконец, в 1886 году был спущен на воду минный крейсер «Лейтенант Ильин», а в 1893 году морской министр адмирал Чихачев вошел с докладом к императору Александру III.

— Ваше величество, — сказал он ему, — через два года двадцатипятилетие Чесменской битвы, а могила главного героя Чесмы, лейтенанта Ильина, находится в ужасном состоянии...

— Безобразие! А на что существуют родственники?

— Пробовали искать потомков лейтенанта Ильина через департамент герольдии, но... увы. А с могилою надо что-то делать.

— Весъегонский уезд... это такая глушь, — отвечал император. — Стоит ли там ставить и поддерживать памятник Ильину?

— И ставить там, и следить за ним придется там, ибо Пантеона для героев русской славы пока нет, а прах усопшего покоится в весьма живописной местности... Это же его отчие места!

Скуп был Александр III, но все же расщедрился:

— Вот тысяча рублей... и больше не просите — не дам!

Над могилою лейтенанта Ильина вырос памятник с надписью:

*В воздаяние славных боевых подвигов
при Чесме в 1770 году.*

На гранях памятника были укреплены медальоны из черной бронзы — увеличенные копии медалей времен Чесмы, а вокруг надгробия расположились восемь чугунных пушек старинного образца, соединенных якорной цепью... Так что если тебе, читатель, случится побывать в тех краях, ты не будь удивлен, когда тропинка выведет из леса на кладбище, где угрюмо смотрят в притихшую даль старинные корабельные пушки, а меж ними тяжело провисают якорные цепи.

«Лейтенант Ильин — потомству в пример».

Такова стародавняя формула увековечивания героев.

Чесма была — и лейтенант Ильин тоже был!

Мешая дело с бездельем

Двести лет назад сочные воронежские лесостепи, еще не взрезанные плугом, топтали табуны диких лошадей. Это — родина знаменитого орловского рысака, а вывел его талантливый зоотехник граф Алексей Григорьевич Орлов Чесменский, который, всю жизнь мешая дело с бездельем, был и первым русским спортсменом... Державин писал:

Его покой — движенье,
Игра, борьба и бег...

Итак, имя героя названо; сразу предупреждаю, что Орлов был подчас страшным, но смешным никогда. Одна из выразительных фигур своего сумбурного века! Человек сильных страстей: в его поступках не было полумер — он все свершал сверх меры, и эта мера была для него одинаковой как во дни юности, так и на закате жизни. «Неукротимые, бурные силы жили в этом необычном человеке, — писал академик Е.В. Тарле, — никакие ни моральные, ни физические, ни политические препятствия для него не существовали, и он даже не мог взять в толк, почему они существуют для других...»

Я заговорил о спорте. А был ли тогда спорт?

Нет, спорта не было, но зато мужчины ездили верхом, дуэлировались на шпагах, гонялись за волками и лисицами на парфорсной охоте, а женщины много и с увлечением танцевали. Простые же люди играли в горелки и бабки, бегали по праздникам взапуски; парни ходили «стенка на стенку», и все усиленно работали мускулами. Однако среди множества богатырей века Екатерины II слово «спортсмен» историки относят лишь к одному Орлову Чесменскому; правда, что Потемкин Таврический силой не уступал Орлову, но разве повернет-ся язык, чтобы назвать сибарита Потемкина спортсменом?

А через всю великую русскую литературу прошли на рысях «Холстомер» Толстого и «Изумруд» Куприна; за этими великолепными сагами о рысаках я вижу красивое белое лицо Алешки Орлова, страшно разрубленное в пьяной кабацкой драке сабельным ударом.

Алехан — так его звали в российской гвардии!

Пять братьев Орловых прибыли в столицу из глухой провинции, стали солдатами гвардии. Гроша за душой не имели. Но были могучи и неустрашимы, как львы. Только здоровущий лейб-компанеец Шванвич мог осилить одного из Орловых; но зато двое Орловых уже насмерть били Шванвича! Однажды этот Шванвич играл на бильярде в трактире Юберкампа, когда туда закатились хмельные Гришка да Алешка Орловы; выпили они все вино Шванвича,

отняли у него деньги, а самого вытолкали за двери трактира; стоя под проливным дождем, Шванвич дождался, когда Алехан вышел на двор, и рубанул его сплеча саблей по голове.

— Вот тебе, — сказал, — от меня на вечную память!*

Алехан, весь в крови, завалился в канаву. Кончик отрубленного носа как-то умудрился прирасти на прежнее место, а шрам остался на всю жизнь, изуродовав лицо.

В 1762 году Алехан был самым энергичным деятелем заговора в пользу Екатерины; 28 июня он вошел в спальню к молодой императрице и спокойным голосом, будто звал ее к завтраку, возвестил:

— Вставай-ка, матушка. У меня все готово...

В Петергофе избил караул голштинцев, а сам поскакал в Ораниенбаум, где арестовал императора. 6 июля он выставил на стол вина побольше, распечатал колоду карт и посадил сверженного Петра III рядом с собой — стали играть; были тут еще князь Ванька Барятинский да актер Федор Волков, зачинатель русского театра. Игра закончилась тем, что Орлов заколол царя вилкой. Екатерине он прислал записку: мол, ты не бойся, дело уже сделано! Петра III, как простого офицера, без царских почестей зарыли в конце Невского на кладбище Лавры, а записку Орлова об убийстве мужа Екатерина спрятала в секретную шкатулку. Алехан в награду получил чин генерала, восемьсот крепостных душ и титул графа.

— Это самый страшный человек, какого я знаю, — тишком признавалась Екатерина II своим близким, и словно желая задобрить Алехана наперед, чтобы он и ее не убил, она осыпала его именьями, орденами, лошадьми, золотом, чинами и богатыми сервизами.

Орлов все брал — никогда не морщился!

И вдруг... заболел. Под чужим именем покатыл на заграничные воды для поправки здоровья. На самом же деле все его путеше-

* Это отец известного офицера М.А. Шванвича, который находился в штабе Е.И. Пугачева и послужил для Пушкина прототипом его героя Швабрин в повести «Капитанская дочка». Достоинно примечания, что братья Орловы, достигнув небывалого могущества в империи, никогда Шванвичу не мстили, а, напротив, помогли ему стать комендантом Кронштадта.

стве было разведкой! Россия выходила на южные моря, а борьба с Турцией была главным политическим делом русского человека. Орлов вел себя как опытный шпион-резидент: вошел в контакт с греческими патриотами, русские офицеры под видом купцов проникали в Черногорию и Морею, где становились военными советниками при инсургентах. В 1769 году Алехан получил право давать офицерские чины героям борьбы с турками — грекам и славянам; из Петербурга его тайно предупредили, что вокруг Европы уже движется в Средиземное море российский флот...

Эскадра пришла! Спиридов и Ганнибал взяли у турок крепость Наварин, а Европа злорадно потешалась над моряками России и лично над Орловым: «Куда они забрались, эти безумцы? Когда грозный капудан-паша Гассан-бей станет топить их корабли, русским ведь даже негде спастись. Орлов поднял кейзер-флаг над эскадрой, будучи генералом от кавалерии... Ха-ха!» Европа не понимала того, что понимал любой наш матрос. Россия не имела тогда флота на Черном море, и она, следовательно, не могла нанести удар по флоту турецкому от своих берегов. А потому в Петербурге и решились ударить по эскадрам Гассан-бея из тылов Средиземноморья, где турки много веков подряд хозяйничали, как им хотелось. Адмирал Спиридов богатым опытом флотоводца подпирал «кавалерийскую» дерзость Орлова, и Европа могла смеяться сколько угодно, но тут грянула Чесма! Дым сгорающих эскадр Гассан-бея объял ужасом Турцию, а Европу наполнил изумлением...

Алехан за победу при Чесме получил перстень с портретом императрицы и богатую трость с компасом на набалдашнике; в честь его была выбита медаль; дворец «Кекерексинец» (Лягушачье болото) стал называться Чесменским; в благодатной зелени Царского Села возник памятник — Чесменский обелиск... Позже юный лицеист — Пушкин — воскликнул перед Державиным:

О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!

Алехан обрел европейскую славу. Столицы открывали перед ним ворота; короли оказывали ему небывалые почести, поэты слагали в его честь пышные дифирамбы.

Русская эскадра возвращалась домой... А через знойные пустыни Аравии и Сирии, через Турцию, Венгрию в Польшу — под вооруженным конвоем! — арабы вели на Москву кровных скакунов Востока, закупленных Орловым, и дольше всех (целых два года!) шел на новую родину удивительный жеребец Сметанка — пращур наших Холстомеров и Изумрудов.

Алехана на родине поджидал титул *Чесменский*, пожизненный пенсион, орден Георгия I степени и... ничегонеделание. Решительный Потемкин, отстранив от Екатерины ее фаворита Григория Орлова, сам занял его место; следом за Гришкой были отставлены от службы и все его братья: песенка «орлов» уже спета! На этом, казалось бы, все и закончилось.

Но как раз с этого-то все и начинается.

Жизнь в отставке он проводил в Нескучном дворце возле Донского монастыря. «Герой Чесменский, — вспоминал о нем москвич Степан Жихарев, — доживал свой громкий век в древней столице. Какое-то очарование привлекало к нему любовь народную. Могучий крепостью тела, могучий силою духа и воли, он был доступен, радушен, доброжелателен, справедлив; вел образ жизни на русский лад и вкус имел народный: любил разгул, удалство, мешал дело с бездельем...» Знатный вельможа, он запросто общался с конюхами, мужиками, солдатами, монахами и нищими.

Державин описывал образ жизни опального Алехана:

Я под качелями гуляю,
В шинки пить меда заезжаю,
Или, как то наскучит мне,
По склонности моей к преме,не,
Имея шапку набекрене,
Лечу на резвом скакуне...

Скакун здесь упомянут недаром! Лошадь по тем временам была основой государственного хозяйства. Плуг тащила и гостей возила, в атаку ходила и почту доставляла! Не будь лошади — все развалится. А тем более в такой стране, как Россия, где столько пашен, столько забот, столько войн, столько дурных дорог. Когда в столице поджидали из Австрии императора Иосифа II, царица вызвала в Зимний дворец лучшего петербургского ямщика:

— Степан, мне нужно, чтобы кесарь через тридцать шесть часов стал моим гостем. Берешься ли доставить его ко мне за такой срок?

Ответ ямщика стал ответом историческим:

— Доставлю и раньше! Но душа в нем жива не будет.

При такой лихости езды России требовались и лихие рысаки, а их... не было. Правда, вельможи запрягали в шестерни коней венецианской породы, которые брали разбег очень быстро, но еще быстрее выдыхались. Это ведь не от роскоши, это не от барства применялись у нас шестерочные упряжи — оттого, что лошади были слабы! Орлов путем генетического отбора, путем сложного скрещивания задумал получить такую лошадь, которая бы отвечала русским условиям, — выносливую в дальней дороге, красивую по статям, быструю как ветер. Он заводил родословные книги на лошадей (студ-буки), следил за генеалогией — кто дед, откуда бабка? Для него был важен год рождения, возраст родителей, сезон первого выезда — зимний или летний? Алехан лично присутствовал при вскрытии павших лошадей, стараясь выявить причину недуга...

Подмосковье казалось ему темным, да и травы не те! В 1778 году Алехан перевел свои конские заводы в Хреновое — обширнейшее имение в воронежских степях, где славный Жилиярди выстроил гигантский комплекс дворцов-конюшен, существующий и поныне для целей советского конезаводства. Здесь граф расселил 10 000 крестьян-лошадников с их семьями, выстроил больницу и школу. Совместными усилиями Орлова и мужиков в Хреновом был выведен знаменитый рысак Свирепый — родоначальник всех орловских рысаков, — отсюда началась их удивительная скачка...

Орлову частенько ставили в вину то, что он продавал своих лошадей, имея от того коммерческую выгоду. Верно — продавал! Но зато Алехан ни одну свою лошадь не отправил на живодерню. Его кони состаривались в уютных стойлах, в дружной семье своих сыновей и внуков, получая полный рацион овса, как в пору беговой молодости. А когда умирали, их хоронили на хреновском кладбище; рысаков ставили в могилах на четыре копыта (стоймя!), с уздечкою возле губ, с седлами на спинах... И плакали над ними, как над людьми!

— Только не бить — лаской надо, — внушал Орлов конюхам. — Лошадь, полюбившая человека, сама наполовину как человек...

Орловские лошади, не зная кнута и страха, были общительны, сами шли к людям, теплыми губами, шумно фыркая, брали с ладоней подсоленные куски ржаного хлеба, смотрели умными глазами, как собаки, пытаясь понять, чего желает от них человек.

Так же не терпел Орлов и презренного слова «кличка».

— Помилуйте, — обижался он, — это среди каторжных да воров существуют клички, а у моих лошадей только имена...

Имена он давал не с бухты-барахты, а разумно. Это уж потом появились жеребцы — Авиатор, Кагор, Бис, Спрут, Электрик, Шофер, Рислинг, а кобылы — Ателье, Синусоида, Тактика, Bravo, Субсидия, Эволюция... Орлов не давал лошади имени до тех пор, пока она не выявляла главной черты своего характера или стати. Имя свое лошадь «должна была сначала заработать, а потом уже оправдывать всю свою жизнь».

Вникнем, читатель, в характеры орловских лошадей: Капризная, Щеголиха, Добрая, Павушка, Откровенная, Чудачка, Субтильная, Догоняй, Султанша, Цыганка, Ревнивая — это все кобылы, а вот имена жеребцов: Свирепый, Варвар, Изменщик, Залетай, Танцмейстер, Умница, Барс, Лебедь, Богатырь, Горностай, Мужик... Именно этот Мужик и привлек внимание Орлова Чесменского.

— До чего же ровно бежит! — воскликнул он. — Ну, будто холсты меряет. Не бывать ему в Мужиках — быть ему Холстомером!

Холстомер и стал главным героем повести Льва Толстого...

Старая Россия знала лишь «проезды» на лошадях по улицам городов в праздники — вроде гуляния. Орлов ввел в нашу жизнь бега и скачки, в которых до самой смерти участвовал лично, делая ставки не на деньги, а на румяные калачи, которые с большим удовольствием и надкусывал в случае своей победы. Бешеный аллюр орловских рысаков продолжается и поныне...

Ему было под пятьдесят, когда он женился на молоденькой Лопухиной. Жена оказалась не под стать ему: больше молилась и вскоре умерла, оставив ему дочь. Орлов всегда жаловался:

— Даже нарядов не нашивала. В икону ткнется — и все тут! В дерюжном бы мешке такую таскать... Нет, это не по мне!

Ему больше нравилась его старая метресса Марья Бахметева, с которой он жил, как собака с кошкой, и они то разводились с громом и молниями, так что вся Москва бурлила, то снова съезжались, дружески иронизируя по поводу своих «разводов».

— Эх, Алешка! — говорила Марья. — Шумишь ты, а ведь от меня никуда не денешься... Для всех ты граф Чесменский, а для меня ты князь Деревенский! Лучше б ты подарил мне что-либо...

К дочери Орлов относился деспотично. Если его навещал человек, достойный уважения, он призывал к себе юную графиню:

— Вишь, гость-то каков! Или мы тебя, никудышную, сейчас с кашей съедем, или... мой полы в честь гостя приятного!

Графиня тащила ведро с водой, устраивала поломытие.

— Да не так моешь! — кричал на нее отец. — Не ленись лишний раз тряпку-то выжать... Это тебе не Богу маливаться!

Тургеневский герой, однодворец Овсянников, вспоминал: «Пока не знаешь его, не взойдешь к нему, боишься, точно робеешь, а войдешь — словно солнышко пригреет — и весь повеселеешь... Голубей-турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, во двор, сядет в кресло и прикажет голубей поднять; а кругом на крышах люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа

большой серебряный таз поставят с водою: он и смотрит в воду на голубков... А рассердится — словно гром прогремит. Страху много, а плакать не на что: смотришь — уж и улыбается».

Совсем иное впечатление производил Орлов на иностранцев.

Англичанка мисс Вальмонт признавалась, что при виде Алехана все ее тело охватила дрожь ужаса, а когда ей следовало поцеловать Орлова в изуродованное лицо, она чуть не упала в обморок. Чесменский герой казался нежной мисс каким-то чудовищем, и ей было странно видеть, как среди азиатской роскоши свободно и легко двигался этот «дикий варвар» в распахнутом на груди кафтане, с повадками мужика-растяпы и при этом носил на руках чью-то маленькую, чумазую девочку, которую он нежно целовал и еще приплясывал, забавляя ребенка:

У кота, у кота — колыбелька золота,
а у кошки, у кошечки — золочены окошечки.

— Чье это очаровательное дитя? — спросила мисс Вальмонт.

— А разве узнаешь... — отвечал Орлов. — Забежала вот вчера с улицы... Так и осталась. Не выкидывать же. Пушай живет!

Москвичи знали, что там, где Орлов, там всегда весело, и толпами валили в его Нескучное, где любовались рысистым наметом лошадей, красотой одежд конюхов... Алехан иногда скидывал на снег тулупчик козлинный, ему подавали бойцовские рукавицы:

— Ну, ребята? Пришло время кровь потешить...

Специально, чтобы с Орловым подраться, приезжали в Москву туляки — самые опытные на Руси драчуны-боксеры. Алехан, которому пошло на седьмой десяток, браковал соперников:

— Да куда ты лезешь, черт старый! Я ж тебя еще молодым парнем бивал... Давай сына! Ах, с внуком приехал? Станови внука...

Из толпы заяузских кожемяков выходил парень: сам — что дуб, а кулаки — будто две тыквы:

— Давай, граф, на пять рублей биться.

— А у тебя разве пять рублей сыщется?

— Никогда в руках не держал. Но тебя побью — будут...

— Ну, держись тогда, кила рязанская!

Теснее смыкался круг людей, и на истоптанном валенками снегу начиналась боевая потеха. Иной раз и кровь заливала снег, так что смотреть страшно. Но зато все вершилось по правилам — без злобы. А туляки почасту свергали Орлова наземь. Порядок же был таков: «Кого поборет Орлов — наградит, а коли кто его поборет — того задарит совсем и в губы зацелует!»

По натуре он был азартный игрок. На пари брался с одного удара отрубить быку голову — и отрубал. Спорил с ямщиками валдайскими, что остановит шестерку лошадей за колесо — и останавливал. Мешая дело с бездельем, он устроил на Москве регулярную голубиную почту. Развел петушинные бои, вывел особую породу гусей — бойцовских. На всю Россию славились своим удивительным напевом канарейки — тоже «орловские»!

Наконец, из раздолья молдаванских степей он вывез на Москву цыганские таборы, поселил их в подмосковном селе Пушкине, где образовался цыганский хор. Орлов первым на Руси оценил божественную красоту цыганского пения. Всех хористов он называл по-цыгански «чавалы» (в переводе на русский значит «ребята»):

— Ну, чавалы, спойте, чтобы я немножко поплакал...

На традиционном майском гулянии в Сокольниках цыгане пели и плясали в шатрах. Растроганный их искусством, Алехан раскрепостил весь хор, и отсюда, из парка Сокольников, слава цыганских романсов пошла бродить по России — по ярмаркам и ресторанам, восхищая всех людей, от Пушкина до Толстого, от Каталани до Листа! А в грозном 1812 году цыганский хор целиком вступил в Народное ополчение, и певцы Орлова стали гусарами и уланами, геройски сражаясь за свое новое отечество.

Только дважды была потревожена жизнь Алехана... Вдруг он заявился в Петербург, где его никто не ждал, и посеял страшное беспокойство в Зимнем дворце.

— Зачем он здесь? — испуганно говорила Екатерина II. — Это опасный человек. Я боюсь этого разбойника!

Орлов Чесменский прибыл на берега Невы только затем, чтобы как следует поругаться со своей старой подругой. В глаза императрице он смело высказал все недовольство непорядками в управлении страной.

Екатерина от критики уже давно отвыкла, сама считала себя «великой» и потому ясно дала понять, чтобы Орлов убирался обратно...

В 1796 году на престол вступил Павел I, боготворивший память своего отца. В шкатулке матери он обнаружил ту самую записку, в которой Орлов признавался Екатерине, что убил ее мужа-императора. Павел I сказал:

— Я накажу его так, что он никогда не опомнится...

Участников переворота 1762 года собрали в столице; были они уже старые, и только Алехан выглядел по-прежнему молодцом. Петра III извлекли из могилы. Началась тягостная церемония переноса его останков из Лавры в Петропавловскую крепость. В этот день свирепствовал лютейший мороз. Траурный кортеж тянулся через весь Невский, через замерзшую Неву: от страшной стужи чулки придворных примерзали к лодыжкам. А впереди всех шествовал Алехан; в руках без перчаток (!) он нес покрытую изморозью корону убитого императора. Месть была утонченна: в соборе Павел I велел старикам целовать прах и кости своего отца. Многие ослабли при этом. Орлов с самым невозмутимым видом облобызал голштинский череп. Павел I понял, что такого лихого скакуна на голой соломе не проведешь.

— Езжай прочь, граф, — сказал он сипло...

Вместе с Марьей Бахметевой он укатил за границу, проживая зимы в Дрездене и Лейпциге, лета проводил в Карлсбаде и Теплице. «Здесь, — сообщал на родину, — довольно перебесились на мой счет. Всю предлагают, чтобы я здесь поселился... встречали со радостным лицом, и кланелись, из дверей выбегая и из окошек выглядывая. Много старичков, взягивая, в припрышку взбегались,

а ребетишки становились во фронт...» Европа уважала Орлова: это были отзвуки Чесмы — отзвуки молодости! В его честь бывали факельные шествия, сжигались пышные фейерверки, города иллюминировали, стрелковые фрейны Тироля устраивали перед ним показательные стрельбы, а при въезде в столицы герцогств на огромных щитах полыхали приветственные слова, сложенные из разноцветных лампионов:

ВИВАТ КОНТЕСС Д'ОРЛОВ

Несколько городов, зная о гонениях императора на Орлова, предлагали ему политическое убежище. «Я же им в ответ говорю, што они с ума сошли, што хотят меня неверным отечеству сделать. Если так поступить, так лутче дневнаго света не видать!» Весной 1804 года Алехан дождался известия из России, что Павла I задушили в потемках спальни шарфиком, и граф сказал своей метрессе:

— Ну, Марья, собирайся домой ехать... отгостевали!

Жизнь была прожита. Одни скажут — хорошо. Другие скажут — плохо. Белинский писал: «Чем одностороннее мнение, тем доступнее оно для большинства, которое любит, чтоб хорошее неизменно было хорошим, а дурное — дурным, и которое слышать не хочет, чтоб один и тот же предмет вмещал в себя и хорошее и дурное». Это слова к месту: граф Орлов Чесменский легко выносил ненависть современников и горячую их любовь... Где же тут середина?

В 1805 году до него дошло известие о поражении наших войск при Аустерлице. Старик заплакал, как ребенок.

Семидесяти трех лет от роду он скончался 24 декабря 1807 года и был погребен в селе Отрада Подольского уезда Московской губернии. Его дочь, предавшись религиозному ханжеству, все несметные орловские сокровища раздарила алчным монахам, даже прах отца перенесла в новгородский Юрьевский монастырь. Но в 1896 году,

уже на грани XX века, Алехана вновь потревожили в его могиле. Цугом в шесть орловских рысаков его доставили обратно в Отраду.

На этот раз его везли уже на орудийном лафете!

Потопи меня или будь проклят!

Американский посол во Франции, мистер Портэр, все шесть лет пребывания в Париже занимался изучением старинных, затоптанных временем кладбищ. Наконец в 1905 году его поиски увенчались успехом: на кладбище Grangeaux Belles он обнаружил могилу человека, о котором уже были написаны два романа (один — Фенимором Купером, а другой — Александром Дюма).

— Вы уверены, что нашли Поля Джонса? — спрашивали посла.

— Я открою гроб и посмотрю ему в лицо.

— Вы надеетесь, что адмирал так хорошо сохранился?

— Еще бы! Гроб до самого верху залит алкоголем...

Гроб распечатали, выплеснув из него крепкий виноградный спирт, и все были поражены сходством усопшего с гипсовой маской лица Поля Джонса, что сохранилась в музее Филадельфии. Знаменитые антропологи Папильон и Капитэн подвергли останки адмирала тщательному изучению и пришли к выводу:

— Да, перед нами славный «пенитель морей» — Поль Джонс, в его легких сохранились даже следы того воспаления, которым он страдал в конце жизни...

Мертвеца переложили в металлический гроб, в крышку которого вставили корабельный иллюминатор; через Атлантику тронулась к берегам Франции эскадра боевых кораблей США, а в Анаполисе янки заранее возводили торжественный склеп-памятник, дабы адмирал Поль Джонс нашел в Америке место своего последнего успокоения... Париж давно не видывал такого великолепного шествия! Гроб с телом моряка сопровождали французские полки и кортеж американских матросов. Во главе траурной процессии, держа в руке цилиндр, выступал сам премьер Франции; оркестры

играли марши (но не погребальные, а триумфальные). За катафалком, водруженным на лафет, дефилировали послы и посланники разных стран, аккредитованные в Париже, и русский военноморской атташе с усмешкою заметил послу А.И. Нелидову:

— Американцы твердо запомнили, что Поль Джонс был создателем флота США, но они забыли, что чин адмирала он заслужил не от Америки, а от России... все-таки — от нас!

Сын шотландского садовника, он начинал свою жизнь, как и многие бедные мальчики в Англии, с юнги. На корабле, перевозившем негров-рабов из Африки в американские колонии, он познал «вкус моря», научился предугадывать опасность в темноте и тумане, но душа Поля была возмущена жестокостью соотечественников. Юный моряк покинул невольничий корабль, поклявшись себе никогда более не служить британской короне.

— Английские корабли достойны только того, чтобы их топить, словно бешеных собак! — кричал Джонс в портовой таверне...

Новый Свет приютил беглеца. В 1775 году началась война за независимость Америки, и стране, еще не обозначенной на картах мира, предложил свои услуги «лейтенант» Поль Джонс. Вашингтон сказал:

— Я знаю этого парня... Дайте ему подрасть!

Джонс собрал экипаж из отчаянных сорвиголов, не знавших ни отца, ни матери, не имевших крыши над головой, и с этими ребятами разбивал англичан на море так, что от спесивой доблести «владычицы морей» только искры летели. В жестоких абордажных схватках, где исход боя решал удар копьем или саблей, Джонс брал в плен британские корабли и приволакивал их, обесчещенных, в гавани Америки, а на берегу его восторженно чествовали шумные толпы народа... Поль Джонс говорил Вашингтону:

— Теперь я хочу подпалить шкуру английского короля в его же английской овчарне! Клянусь дьяволом, так и будет!

Весной 1778 года у берегов Англии появился внешне безобидный корабль, за бортами которого укрылись восемнадцать пушек. Это был замаскированный под «купца» корвет «Рейнджэр».

— Что слыхать нового в мире, приятель? — спросили лоцмана, когда он поднялся на палубу корвета.

— Говорят, — отвечал тот капитану, — что близ наших берегов шляется изменник Поль Джонс, а это такой негодяй, это такой мерзавец, что рано или поздно он будет повешен.

— Вот как? Хорошее же у вас, англичан, мнение обо мне. Будем знакомы: я и есть Поль Джонс! Но я тебя не повешу...

В громе картечи и ручных гранат, ободря матросов свистом и песнями, Поль Джонс топил британские корабли у их же берегов. Лондонскую биржу лихорадило, цены на товары росли, банковские конторы разорялись на простое судов в гаванях.

...Лоцман показал вдаль, где брезжили огни города:

— Вот и Уайтхейвен, как вы и желали, сэр. Позволено мне узнать, что вы собираетесь делать здесь, сэр?

— Это моя родина, — отвечал Поль Джонс, — а родину иногда следует навещать даже такому сыну, как я!

Осыпанные теплым ночным дождем, матросы во главе со своим капитаном высадились в городе, взяли форт, заклепали все его пушки, и, спалив британские корабли, стоявшие в гавани, они снова растворились в безбрежии моря...

Король, удрученный, сказал:

— Мне стыдно. Или слава моего флота — это миф?

— Что делать, — отвечали королю адмиралы, — но Джонс неуловим, как старая трюмная крыса... Нет веревки на флоте вашего величества, которая бы не источала кровавых слез от желания удавить на мачте этого нахального пирата!

А Поль Джонс уже высадился в графстве Селкирк, где в старинном замке застал только графиню, которой и принес глубочайшие извинения за беспокойство, а ребята с «Рейнджера» потащили на корабль все графское серебро, что заставило Джонса до конца своих дней выплачивать Селкиркам стоимость сервиза из своего кошелька. «Но я же не разбойник, каким меня англичане считают, — говорил Поль Джонс, —

а если моим славным ребятам так уж хочется ужинать непременно на серебре, так пускай они едят у меня по-графски... У них так мало радостей в жизни!» Вскоре, отдохнув с командой во Франции, он снова появился в морях Англии на «Простаке Ричарде»; на этот раз его сопровождали французские корабли под флагом некоего Ландэ, уволенного с флота как сумасшедшего. Джонс взял его к себе на службу. «Я и сам, когда дерусь, — сказал он, — тоже делаюсь не в себе. Так что этот полоумный парень вполне сгодится для такого дела, каким мы решили заняться...» На траверзе мыса Фламборо Джонс разглядел в тумане высокую оснастку пятидесятипушечного линейного фрегата «Серапис», который по праву считался лучшим кораблем королевского флота; за ним ветер подгонял красавец фрегат «Графиня Скарборо»...

Сначала англичане окликнули их в рупор:

— Отвечайте, что за судно, или мы вас утопим!

Поль Джонс в чистой белой рубашке, рукава которой он закатал до локтей, отвечал с небывалой яростью:

— Потопи меня или будь проклят!

В этот рискованный момент «сумасшедший» Ландэ на своих кораблях погнался за торговыми кораблями. Благодаря явной дурости Ландэ маленький «Простак Ричард» остался один на один с грозным королевским противником. Прозвучал первый залп англичан — корабль американцев дал течь и загорелся, при стрельбе разорвало несколько пушек. Корабли дрались с ожесточением — час, другой, третий, и битва завершалась уже при лунном свете. Круто галсируя и осыпая друг друга снопами искр от пылающих парусов, враги иногда сходились так близко, что к ногам Джонса рухнула бизань-мачта «Сераписа», и он схватил ее в свои объятия.

— Клянусь, — закричал в бешенстве, — я не выпущу ее из рук до тех пор, пока один из нас не отправится на дно моря!..

Палуба стала скользкой от крови. В треске пожаров, теряя рангоут и пушки, «Простак Ричард» сражался, а из пламени слышались то свист, то брань, то песни: это раненый Поль Джонс воодушевлял своих матросов.

— На абордаж, на абордаж! — донеслось с «Сераписа».

— Милости прошу! — отвечал Джонс. — Мы вас примем...

И английские солдаты полетели за борт, иссеченные саблями. Но мощь королевской артиллерии сделала свое дело: «Простак Ричард» с шипением погружался в пучину. Море уже захлестывало его палубу, и тогда с «Сераписа» храбрецов окликнули:

— Эй, у вас, кажется, все кончено... Если сдаетесь, так прекращайте драться и ведите себя как джентльмены!

Поль Джонс швырнул в англичан ручную бомбу.

— С чего вы взяли? Мы ведь еще не начинали драться.

— Пора бы уж вам и заканчивать эту историю...

— Я сейчас закончу эту историю так быстро, что вы, клянусь дьяволом, даже помолиться не успеете!

«Простак Ричард» с силой врезался в борт «Сераписа»; высоко взлетев, абордажные крючья с хрустом впились в дерево бортов; два враждующих корабля сцепились в поединке. Началась рукопашная свалка, и в этот момент с моря подошел безумный Ландэ со своими кораблями. Не разбираясь, кто тут свой, а кто чужой, он осыпал дерущихся такой жаркой картечью, что сразу выбил половину англичан и американцев.

— Нет, он и в самом деле сошел с ума! — воскликнул Поль Джонс, истекая кровью от второй раны.

Но тут капитан «Сераписа» вручил ему свою шпагу:

— Поздравляю вас, сэр! Эту партию я проиграл...

С треском обрывая абордажные канаты, «Простак Ричард» ушел в бездну, выпуская наверх громадные булькающие пузыри из трюмов, звездный флаг взметнулся над мачтой «Сераписа».

— А мы снова на палубе, ребята! — возвестил команде Джонс. — Берем на абордаж и «Графиню Скарборо»...

На двух кораблях победители плыли к французским берегам. Отпевали погибших, перевязывали раны, открывали бочки с вином, варили густой «янки-хаш», плясали и пели:

У Порторико брось причал —
на берегу ждет каннибал.
Чек-чеккелек!
Моли за нас патрона, поп,
а мы из пушек — прямо в лоб.
Ха-ха-ха!
Окончен бой — давай пожрать,
потом мы будем крепко спать.
Чек-чеккелек!
По вкусу всяк найдет кусок —
бедро, огузок, грудь, пупок.
Котел очистим мы до дна.
Ха-ха-ха!

Дух грубого времени в этой старинной моряцкой песне, которая родилась в душных тавернах Нового Света.

Гибкий и смуглый, совсем не похожий на шотландца, он напоминал вождя индейских племен; взгляд его сумрачных глаз пронзал собеседника насквозь; щеки, пробуренные ветрами всех широт, были почти коричневыми, как финики, и «приводили на ум тропические страны. Это необычайно молодое лицо дышало горделивым дружелюбием и презрительной замкнутостью».

Таким запомнили Поля Джонса его современники...

В честь его поэты Парижа слагали поэмы, а он, не любивший быть кому-то должным, тут же расплавивался за них сочинением приятных лирических элегий. Парижские красавицы стали монтировать прически в виде парусов и такелажа — в честь побед «Простака Ричарда». Франция, исстари враждебная Англии, осыпала Джонса небывалыми милостями, король причислил его к своему рыцарству, в парижской опере моряка публично венчали лаврами, самые знатные дамы искали минутной беседы с ним, они обласкивали его дождем любовных записочек.

Джонс вправе был ожидать, что конгресс страны, для которой он немало сделал, присвоит ему чин адмирала, и он был возмущен, когда за океаном в честь его подвигов лишь оттиснули бронзовую медальку. Вокруг имени Поля Джонса, гремевшего на всех морях

и океанах, уже начинались интриги политиканов: конгрессмены завидовали его славе... Поль Джонс обозлился:

— Я согласен проливать кровь ради свободы человечества, но тонуть на горящих кораблях ради лавочников-конгрессменов я не желаю... Пусть американцы забудут, что я был, что я есть и я буду!

А в далеком заснеженном Петербурге давно уже следили за его подвигами. Екатерина II, политик опытный и хитрый, сразу поняла, что за океаном рождается сейчас великая страна с энергичным народом, и объявила «вооруженный нейтралитет», чем и помогла Америке добиться свободы. Между тем в причерноморских степях назревала новая война с Турцией, и России требовались молодые, храбрые капитаны флота.

— Иван Андреич, — наказала Екатерина II вице-канцлеру Остерману, — выгодно нам забияку Поля Джонса на нашу службу переманить, и то прошу учинить через послов наших...

Джонс дал согласие вступить на русскую службу; в апреле 1788 года он уже получил чин контр-адмирала, а писаться в русских документах стал «Павлом Жонесом». «Императрица приняла меня с самым лестным вниманием, которым может похвастаться иностранец», — сообщал он парижским друзьям. А русская столица открыла перед ним двери особняков и дворцов: Джонса засыпали приглашениями на ужины и обеды, на интимные приемы в Зимнем дворце... Английские купцы — в знак протеста! — позакрывали в Петербурге свои магазины, наемные моряки-англичане, служившие под русским флагом, демонстративно подали в отставку. Английская разведка точила зубы и когти, выжидая случая, чтобы загубить карьеру Джонса в России... Моряк и подле русского престола вел себя как республиканец: он дерзко преподнес в подарок Екатерине II тексты конституции США и Декларацию Независимости, на что императрица, как женщина дальновидная, отвечала ему так:

— Чаю, революция американская не может не вызвать других революций... этот пожар и далее перекинется!

— Смею думать, ваше величество, что принципы американской свободы отворят немало тюрем, ключи от которых утопим в океане.

Контр-адмирал отъехал к Черному морю, где поднял свой флаг на мачте «Владимира»; он имел под своим началом парусную эскадру, громившую турок под Очаковым в Днепровском лимане. Отважный корсар теперь выступал в ином обличье — в запыленных шароварах запорожца, с кривою саблей у бедра. Поль Джонс курил из люльки хохлацкий тютюн и пил казачью горилку, закусывая ее шматами сала, чесноком и огурцами. Ночью на запорожской остроносой «чайке», велел обмотать весла тряпками, контр-адмирал проплыл вдоль строя турецкой эскадры. На борту флагмана султанского флота он куском мела начертал свою дерзкую резолюцию:

Сжечь. Паль Джонс.

Русские были восхищены его удачью, но и сам Джонс неизменно восхищался бесподобным мужеством русских солдат и матросов. В сражении на Кинбурнской косе Джонс действовал рука об руку с Суворовым («Как столетние знакомцы», — писал об этом Суворов), и турецкий флот понес страшное поражение. Поль Джонс был отличным моряком, но зато он был бездарным дипломатом, и его отношения с князем Потемкиным вскоре же обострились до крайности... Английская разведка, незримое око которой сторожило Джонса даже в днепровских плавнях, выжидала момент, чтобы нанести удар!

Удар был особо болезнен, ибо как раз в этот период Джонс хлопотал о развитии торговли между Россией и Америкой; он строил планы о создании объединенной русско-американской эскадры, которая должна базироваться в Средиземном море как всеобщий залог мира в Европе... Но с князем Потемкиным он разругался в пух и прах, а англичане обрушили на него из Петербурга лавину ложных и грязных слухов: будто он повинен в контрабанде, будто застрелил своего племянника и прочее. Не обошлось дело и без подкупа в столичных верхах... Историкам еще многое неясно, а отсутствие документов и масса легенд, основанных на сплетнях того

времени, только запутывают истину. Но кое в чем историки все-таки разобрались. Поль Джонс стал неугоден не русскому флоту, а самой императрице, которую не уставал «просвещать» в конституционном духе, всюду рекламируя республиканский образ жизни.

Ну что ж. Отставка дана. Суворов подарил ему шубу.

— Но я еще вернусь в Россию, — убежденно заявил Поль Джонс, когда лошади взяли шаг и карета завернула к заставе...

Покружив по Европе, словно бездомный бродяга, он закончил свой бег по морям и океанам в Париже.

Париж был иным — уже революционным. Ключи от Бастилии парижане переслали за океан — в дар Вашингтону со словами: «Принципы Америки отворили Бастилию!» Отсюда, из Парижа, моряк переслал в Россию свой проект весьма удачной конструкции пятидесятичетырехпушечного корабля, но в Петербурге его спрятали под сукно.

Екатерина II близким своим людям признавалась:

— Поль Джонс обладал очень вздорным умом и совершенно заслуженно чествовался презренным сбродом...

Эту фразу императрицы легко расшифровать: «презренный сброд», всегда окружавший Джонса, — это были люди, алчущие свободы, это были его друзья-якобинцы... Начиналась новая полоса жизни!

Из окна своей убогой мансарды «пенитель морей» видел черепичные крыши Парижа и сладко грезил о могучих эскадрах, что выходят в океан ради битв против деспотии.

Как и все передовые люди того времени, Поль Джонс вступил в масонскую ложу Девяти Сестер*, вобравшую в себя лучшие умы Франции; в эти годы моряка окружали поэты, философы и революционеры, а проживал он под опекою своей сердечной подружки — госпожи Телисьен, побочной дочери Людовика XV.

* Это наиболее активная ложа, объединившая масонов, оппозиционных «старым порядкам»; одно время во главе этой ложи стоял граф А.С. Строганов, отец «первого русского якобинца», о котором пишу в миниатюре «Граф Попо — гражданин Очер».

Франция хотела, чтобы Поль Джонс возглавил революционный флот, но «пенитель морей» был уже болен... Да, он был болен и беден. Передвигался уже с палочкой в руках. Однако белая рубашка моряка и сейчас, как в канун битвы, неизменно сверкала ослепительной чистотой.

Смерть сразила его 18 июля 1792 года.

Ему было всего 45 лет.

Поль Джонс умер ночью — в полном одиночестве.

Он умер стоя, прислонившись спиной к шкафу, а в опущенной руке держал раскрытый том сочинений Вольтера. Конец удивительный! Даже в смерти адмирал не упал, и даже смерть не смогла разжать его пальцев, державших книгу...

Американский посол не явился на его похороны.

Национальное собрание Франции почтило память «человека, хорошо послужившего делу свободы», вставанием и молчанием.

Двенадцать парижских санкюлотов во фригийских красных колпаках проводили «пенителя морей» до его могилы. Тогда же было решено перенести его тело в Пантеон великих людей, но в вихре последующих событий об этом как-то забыли.

Забыли и то место, где Поль Джонс был погребен.

Наконец забыли и самого Поля Джонса...

О нем вспомнил Наполеон — в черный для Франции день, когда адмирал Нельсон уничтожил французский флот в битве при Трафальгаре.

— Жалею, — сказал Наполеон, — что Поль Джонс не дожил до наших дней. Будь он во главе моего флота, и позор Трафальгара никогда бы не обрушился на голову французской нации...

В 1905 году историк Август Бюзль отыскал в Америке человека, сохранившего мемуары своего прадеда Джона Кильби, который служил матросом на «Простаке Ричарде»; этот Кильби писал о Джонсе:

«Хотя англичане и трубили о нем, как о самом худшем человеке на белом свете, но я должен сказать, что такого моряка и

джентльмена я никогда еще не видел. Поль был храбр в бою, добр в обращении с нами, простыми матросами, он кормил нас отлично и вообще вел себя как следует. Если же нам не всегда выдавали жалованье, то это уже не его вина...» (Это вина конгресса!)

Поль Джонс занял место в американском Пантеоне. Недавно в нашей стране вышла монография ученого Н.Н. Болховитинова «Становление русско-американских отношений», в которой и Джонсу отведено достойное место; там сказано:

«Чтить своих военных героев американцы, как известно, умеют. О Поле Джонсе знает каждый школьник, и очерк о храбром капитане можно найти рядом с биографиями Дж. Вашингтона, Б. Франклина, А. Линкольна и Ф. Рузвельта. Поначалу мы несколько удивились, увидев Поля Джонса в столь блестящем окружении, но в конце концов решили, что американцам лучше знать, кого надо больше всего чтить, а мы, вообще говоря, меньше всего помышляем о том, чтобы как-то умалить заслуги знаменитого адмирала».

Поразмыслив, можно сказать последнее...

Конечно, где-то в глубине души Поль Джонс всегда оставался искателем приключений с замашками типичного флибустьера XVIII века, и не свяжи он своей судьбы с борьбой за свободу Америки, не стань он адмиралом флота России — кто знает? — возможно, и скатился бы он в обычное морское пиратство, а на этом кровавом поприще Поль Джонс наверняка оставил бы нашей истории самые яркие страницы морского разбоя.

Но жизнь сама вписала поправки в судьбу этого незаурядного человека, и Поль Джонс останется в истории народов как адмирал русского флота, как национальный герой Америки!

Граф Попо — гражданин Очер

Летом 1817 года фрегат русского флота «Святой Патрикий» вышел из Копенгагена в Лиссабон, чтобы доставить в Португалию графа Павла Строганова, умиравшего от чахотки.

— Я не доживу до Лиссабона, — сказал он жене. — А перевод Дантова «Ада» ты закончишь, Софи, уже без меня...

Фрегат вздрагивал от ударов волн, тяжкие скрипы шпангоутов были уже привычны. Строганов беседовал с врачами по-английски, с племянником по-французски, с женою и слугами по-русски. Все говорили ему «ваше сиятельство», а близкие называли его: «Попо... наш дорогой Попо!» Среди ночи он вызвал в каюту капитана Фому Кандлера:

— Сколько футов под килем и сколько миль от берега?

Берег Дании был еще недалек, а глубина небольшая.

— Вот и хорошо. Сейчас вы бросите якоря в море, всех с корабля прошу сойти на берег. Со мною останется только собака.

— Нет! — закричала Софья Владимировна. — И я... и я...

— Ты уйдешь с корабля тоже. Я хочу побыть один.

От фрегата отвалили вельботы. Плачущая женщина смотрела, как угасают за кормою сигнальные огни «Святого Патрикия». Еще несколько взмахов весел, и шлюпки с хрустом полезли на берег. Матросы развели большие костры. Черная ночь почти враждебно нависала над бивуаком русских людей, случаем заброшенных на чужбину.

Звезды не спеша угасли. Розовой полосой обозначился рассвет. Софью Владимировну доставили на борт фрегата. Догоревшая свеча дымилась еще в стакане. Верный друг — собака — с жалобным воем лизала руку мертвого хозяина. «Святой Патрикий» поднял паруса и поплыл обратно — в Россию...

...В эту же ночь в парижском бедламе умерла всемирно знаменитая Теруань де Мерикур.

Какая же связь между русским аристократом и этой кровавой героиней Французской революции?

Если падают звезды при смерти людей, то в эту ночь две большие чистые звезды обрушились с небосвода в кипящую бездну океана.

Попо родился по дороге из Фернея в Париж, после визита его родителей к Вольтеру. Об отце его Екатерина II шутя говорила: «Вот человек, который тщетно желает разориться, и все не может». Детство Попо провел во Франции. Когда мальчик подрос, его гувернером стал бродячий математик Жильбер Ромм. Республиканец в душе, Ромм на своем ученике доказал, что не происхождение, а воспитание образует человека. Мрачный умница, резкий и раздражительный, как все уроженцы Оверни, гувернер был человеком возвышенной души и чистый нравами. Легкомысленные родители Попо были заняты своими страстями, и Ромму никто не мешал формировать из мальчика человека своих представлений.

Волшебный Грез писал тогда портрет с Попо (в овале — пышнокудрая голова ребенка). Легран резал с портрета гравюру. Неистовый гувернер в бешенстве разворотил гравюрную доску.

— Не будите в ребенке тщеславия, — заявил он родителям.

Ромм вместе со Строгановыми приехал в Петербург; по дороге ученик и его учитель изучали русский язык. На Невском их ждал дворец — дивное создание Растрелли. Но вернулись они не вовремя — фаворитом Екатерины был красивый Римский-Корсаков, которого за его вокализы прозвали «Царем Эпирским»; в него-то сразу и влюбилась чувственная мать Попо. Граф А.С. Строганов великодушно подарил жене-изменнице подмосковное Братцево (близ села Тушина), и она, бессердечная к сыну, укатила туда с Римским-Корсаковым.

— А вы замените ему мать, — сказал Строганов гувернеру.

Ромм ввел в комнаты Попо робкого крестьянского мальчика:

— Его зовут Андреем Ворониным, он приехал из пермских владений вашего отца... Попо, я хочу, чтобы вы стали братьями!

Воронихин был крепостным, Ромм отечески наставлял обоих — и графа и его раба. Мальчики дружили. Подрастали. Строганов-отец верно считал, что для образования необходимы путешествия. Неповторимы были их маршруты: от Архангельска до Алтая, от Дунайских гирл до солнечной Тавриды... Попо зачислили в адью-

танты к Потемкину, а Воронихин от графа получил отпускную бумагу — будущий архитектор стал «вольным» человеком.

Втроем они выехали за границу. Берлин, Рим, Лион, Женева... Музеи, библиотеки, беседы с учеными, тихие душевные вечера. Попо и Воронихин вырастали в задумчивых, стройных юношей, которыми любовались на улицах. Рядом с ними шагал их сгорбленный учитель — враг деспотии, пламенный друг народной свободы.

— Дети, — внушал юношам Ромм, — зачем вы разглядываете женщин? Неужели видение заката менее достойно вашего внимания?

Париж и революция! В них Попо нашел свою любовь.

Теруань де Мерикур была прекрасна. В багровом плаще амазонки, обутая в античные сандалии, она вела женщин Парижа на штурм Версаля. Обнаженная грудь ее была перетянута шелковой перевязью. С кинжалом в руке она шла, неотразимая, как смерть.

Попо полюбил ее со всею горячностью юности. Была несусветная любовь, и был диплом якобинца, на котором краснела печать с девизом: *vivre libre ou mourir* (жить свободным или умереть)...

Скоро до Петербурга дошло известие, что молодой граф Попо, известный в Париже как «гражданин Очер»*, с ружьем в руках и во фригийном колпаке якобинца, рука об руку со своим гувернером, ходил на штурм Бастилии. В Париж был срочно отправлен кузен Попо, Николай Новосильцев, который и доставил «якобинца» вместе с Воронихиным на родину.

Екатерина II распорядилась круто:

— Разбойника титулованного с глаз моих долой — в ссылку!

Попо сослали в деревню. Здесь, в сельской глуши, он встретил свою ровесницу — Софью Голицыну, которая полюбила его свято и спокойно. Скоро до него дошла парижская газета, из которой он узнал ужасное. Толпа разъяренных женщин схватила в парке Тюильри его богиню и подвергла ее мучительным издевательствам. Теруань де Мерикур этого не вынесла и сошла с ума. И он пошел к венцу с памятью о невозвратном.

* Очер — так называлось одно из пермских имений графа Строганова.

В 1794 году Жильбер Ромм был на «вершине» Конвента (на горе — «монт», отчего соратников его называли «монтаньярами»). Отсюда, с этой «горы», учитель Попо боролся с врагами якобинцев. Он был последним из числа павших. Когда озверелая толпа вела его на гильотину, Ромм выхватил стилет и вонзил его в свое сердце. При этом известии Попо горько рыдал, а Софи говорила ему:

— Отчего ты плачешь, любовь моя? Вот наш сын, ты посмотри, как он смеется... Попо, я тебя так безумно люблю. Не плачь!

Она опустилась перед ним на колени, высоко подняла над собой своего первенца — Александра.

И молодость затягивала раны — почти безболезненно.

Смерть Екатерины II избавила Попо от ссылки, и он вернулся в Петербург, где Павел I разлял его при всех за якобинство и тут же (вне всякой логики) велел быть камер-юнкером. Здесь, при дворе, произошла встреча с Александром, наследником престола. Ученик республиканца Лагарпа протянул руку ученику якобинца Ромма:

— Какое дивное волнение испытываю я, глядя на вас, друг мой. Вы для меня — пришелец из иного, нового мира. Поверьте, я с живым участием, тайком от бабки, следил за революцией во Франции. В подлиннике изучил конституцию. И хотя осуждаю крайности всех революций, но искренно радуюсь республиканской форме правления. — И он нежно обнял Попо, нашептывая ему на ухо: — Наследственность власти есть учреждение нелепости. Верховная власть должна вверяться человеку не по случайности его рождения, а лишь по подаче за него большинства голосов нации...

— Гражданин Александр, — отвечал Попо наследнику престола, — я счастлив при дворе российском обнаружить республиканца.

Попо поверил в искренность человека, который был «тонок в политике, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». Что делать? Не только Попо, но и многие видные умы Европы ошибались в Александре. А разочарование — страшно!

Едва наследник занял престол, как Попо сказал ему:

— Так исполните же свои благие республиканские мечтания — освободите крестьян российских от рабства закоренелого.

— Вы — мой друг, — отвечал император. — Зовите же своих друзей. Мы сообща сделаем нашу родину цветущей и свободной.

При Александре I образовался «Негласный комитет», в который вошли молодые горячие головы («Якобинская шайка!» — называл их старик Державин). Недовольство заслуженных, посевших в хитроумных кознях сановников было очень велико:

— Какие-то мальчишки управляют Россией, а император почтительно их выслушивает... Они ставят себя выше сената!

Было время, когда казалось, что Александр I готов перекроить свое наследство, как худой кафтан. Попо активно добивался от царя издания закона о всеобщем народном образовании:

— Но сначала уничтожьте право крепостное, право дикое!

Александр I отвечал, что отмена рабства вызовет возмущение помещиков, главного класса в империи, и это довольно-таки опасно.

«Дворян, — писал ему Попо, — бояться нечего. Это сословие самое невежественное... наиболее неразвитое и тупое. Если же в этом вопросе кроется опасность, то она заключается не в освобождении крестьян, а в удержании крепостного состояния». Александр прочел это и... призвал к себе Аракчеева! Кроме того, царственный друг стал ухаживать за женою Попо, и Софи, чтобы не встречаться с царем, вернула во дворец свой статс-дамский шифр. Домоседка, она посвятила себя мужу и детям.

Попо тяжело переживал крах мечтаний.

— Император — фигляр и обманщик! — говорил он.

Попо оставил пост товарища министра. Он записался «волонтером» в армию, участвовал в походах. Служить России можно и так... В 1811 году Андрей Воронихин заканчивал строительство Казанского собора в Петербурге; отец Попо председательствовал в Комиссии о строении. В метельную стужу старый граф ползал по верхним лесам, горячася от неполадок, простудился и смертельно заболел.

— Сын мой, — напутствовал он Попо, — оставляю тебе одиннадцать миллионов... долгов, конечно! Расплатись за меня, грешного.

Попо было уже 36 лет. Из юного красавца он превратился в мужественного полководца. Весь изранен, закален в лишениях и тяготах воинских.

Вырастал сын Александр, и, глядя на него, он вспоминал свою юность... Строганов иногда сбрасывал мундир, переодевался в простонародное платье. Хлопала дверь — он уходил и где-то пропадал. Не раз видели его в лакейской. Там, среди распаренных овчин, в обществе кучеров, дворников и конюхов, кухарка подносила ему миску щей и деревянную ложку. В такие моменты никто не смел назвать его «сиятельством». В нем словно просыпался прежний «гражданин Очер» — пылкий юноша, ученик последнего монтаньяра! В роду Строгановых долго хранилось одно предание. Будто однажды Попо в красном колпаке якобинца велел везти себя во дворец. Имея свободный доступ к императору как генерал-адъютант, Попо высказал в лицо Александру I все, что он о нем думает... Император молча выслушал оскорбления от человека, на счету которого уже были — Аустерлиц, финский поход, Силистрия, гром Бородинской битвы, кровь Лейпцига и... Бастилия (она тоже за ним!).

Наступил 1814 год — армию Наполеона добивали уже на полях Франции. Попо сводил личные счета с Наполеоном: он ненавидел узурпатора, воссоздавшего на развалинах Великой революции свою империю. Сыну исполнилось уже 18 лет, и Попо сказал ему:

— Саня, пора тебе воевать... Собирайся!

— Оставь сына со мною, — просила жена.

— Наш сын принадлежит не только нам, дорогая Софи, но в нем нуждается и отечество... Не спорь. Мы едем вместе.

Битва при Краоне началась рано утром. Французов было 50 000, русских всего 14 000. Попо, открыв сражение, еще не знал, что против него стоит сам Наполеон, а Наполеон не ведал, кто стоит во главе русских. Император скакал сейчас через фланги:

— Кто этот дерзкий, что осмелился вступить в единоборство лично со мною? Вернулся Барклай? Или подошел Беннигсен?

Французы в натиске отважном сминали передовые линии русских. В разгар сражения до Попо дошел слух:

— Молодой Строганов убит... Ядром ему оторвало голову!

— Коня! — И Попо поскакал в огонь битвы.

Нет, сын — невредим! — стоял в плотных шеренгах, счастливый от участия в битве. Попо с трудом перевел дыхание.

— Ты... жив? — спросил он. — Выходит, слухи неверны.

— Я жив, отец. Поверь, мне сейчас очень хорошо...

Битва при Краоне закончилась под вечер — в топоте и ржанье лошадей. Попо бросил на траву подзорную трубу. И вот тут, в конце битвы, к его ногам положили тело без головы, оторванной ядром. Это и был его сын... Что должен был испытать он, отец, когда с полей Франции увозил на родину тело сына, которому мать не могла на прощание даже заглянуть в лицо!

При встрече с женой Попо сказал ей:

— В последние мгновения жизни наш сын был счастлив. Поверь, это так: я видел его лицо — лицо счастливого юноши...

Для Попо жизнь кончилась. В грудь вошел туберкулез. Он отплыл на фрегате «Святой Патрикий», и была смерть на безлюдном корабле — на якорях, в скрипах шпангоутов, под вой собаки, лизавшей ему руки. Его погребли рядом с сыном на кладбище Александро-Невской лавры в столице...

Пушкин с большим уважением относился к семейству Строгановых и знал подлинную его историю. Остались его стихи:

О страх, о горькое мгновенье,
О... когда твой сын
Упал сражен, и ты один...
И предал славе ты чужой
Успех, достигнутый тобой.

Долгое время эти стихи так и печатали (с пропуском). Юрий Тынянов проставил на месте пропуска слово «Строганов», и тогда все

стало ясно... А успех при Краоне Попо подарил графу Воронцову, который до конца дней называл себя «победитель при Краоне».

Был грозный для нашей страны 1942 год, когда в холодном номере уютной гостиницы в Перми умирал человек с высоким лбом мыслителя. Это был Юрий Тынянов, и перед смертью он торопливо заканчивал свой последний в жизни рассказ.

Рассказ под названием «Гражданин Очер».

Все книги и рукописи писателя остались в его квартире — в блокадном Ленинграде. Он писал о Попо лишь то, что сохранила ему угасающая память. Не надо спрашивать, почему в суровую годину Тынянов, умирая, обратился к жизни человека, жившего задолго до нас... Он писал о гражданине-воине, писал о горячем патриоте, который жертвует всем ради пользы отечества!

Первый листригон Балаклавы

В молодости, настроенный романтично, я впервые встретился с легендарным Ламбро Качиони в книге Николая Врангеля «Венок мертвым». Автор, назвав этого человека «свиристым», ничего более о нем не сказал, опубликовав два портрета — самого Ламбро Дмитриевича и его жены, красивой левантинки, которую тот добыл при абордаже турецкого корабля, а уж потом влюбился в нее...

Нам не понять появления в Петербурге греческих патриотов, если не будем знать, что Греция веками изнемогала под турецким игом, а сами греки, жаждая свободы, взирали на Россию с надеждой как на избавительницу. Русские издревле стремились к Черному морю, но каждый раз наши предки встречали сопротивление турецких султанов, и в борьбе с Турцией русский народ неизменно находил поддержку у народа эллинского. Таким образом, исторические чаяния греков о национальной свободе неизбежно переплетались с чаяниями россиян, отчего давняя дружба Греции и России всегда была, есть и будет достойной нашего внимания.

На портрете «свирепый» к врагам Ламбро Качиони изображен воинственно, в шлеме с перьями страуса, но я-то знаю, что в обычной жизни он носил феску, на которой красовалась эмблема — серебряная рука: знак того, что неустранимый корсар пребывает под вечным покровительством России. Так решила Екатерина II, и я был крайне удивлен, узнав, что Ламбро Качиони ускорил смерть русской императрицы...

Неизбежная война с Турцией возникла в 1769 году, снова (в какой уже раз!) оживив надежды угнетенных балканских народов. Настало время небывалых побед Румянцева, Потемкина и молодого еще Суворова; наша армия стояла на Дунае, а наш флот, обогнув Европу, уже вошел в Греческий архипелаг, угрожая столице султана. Андреевский флаг видели у берегов Марокко и Палестины, он реял под стенами Каира, Корсика и Мальта искали русского подданства — да, громкие времена! Множество греков-волонтеров сразу же включились в войну, никак не отделяя интересов России от интересов будущей Греции. Среди таких патриотов оказался и наш герой Ламбро Качиони...

Кто он такой? И откуда он взялся?

Ламбро родился в греческой Ливадии; он был еще слишком молод, хотя о нем уже тогда сложилась громкая слава отважного корсара. Все греки — прирожденные моряки, а борьба с пиратами Алжира сделала из них великолепных воинов. В те давние времена коммерция была сопряжена с пушечной пальбой, право на прибыль от торговли добывалось в яростных абордажах. Ламбро с детства понюхал пороху, познал боль ранений, он пришел на русский флот со своим кораблем, добытым в бою, его дружески приветили адмирал Спиридов и граф Орлов Чесменский... О роли греческих корсаров-добровольцев советские историки пишут сейчас как о важной, но утраченной странице истории русского флота (а в Греции по этому вопросу давно сложилась обширная литература, в которой главное место отведено именно Ламбро Качиони).

В его скромной каюте хранились две книги: Библия и «Одиссея» Гомера. А речи Ламбро перед земляками были внушительны.

— Эллины! — призывал он. — Носите пистолеты заряженными, у кого хватит сил — носите за поясом и пушку...

Турки опустошали Южную Элладу, уничтожая жителей морей; гречанки, закрыв детям глаза ладонями, бросались в пропасти между скал, как истинные спартанки. Ламбро мстил за муки народа, в схватках на море он разбивал турецкие корабли, вырезая пленных без жалости. Впрочем, пощадил только одну женщину, которую и сделал своей женой.

Кучук-Кайнарджийский мир завершил эту войну, но грекам, сражавшимся на стороне России, грозило полное истребление вместе с их семьями. Чтобы спасти патриотов от гибели, Петербург взял их всех под свою защиту: беженцам отвели для расселения пустующие земли в Крыму и Причерноморье. Ламбро Качиони к тому времени уже имел чин капитана. Екатерина II назначила его командиром Греческого батальона в Балаклаве... Оглядевшись на новом месте, бывший корсар сказал:

— Эллины! Не об этой ли гавани, населенной великанами листригонами, пел Гомер в десятой песне своей «Одиссеи»: «В славную пристань вошли мы. Ее образуют утесы, круто с обеих сторон... вход и исход из нее заграждая».

Корсары превратились в рыбаков-листригонов, в садовников, лелеющих на склонах гор солнечные виноградные кисти. Греки похищали в аулах шаловливых татарок с накрашенными кармином ногтями на пальцах рук и ног, свозили в Балаклаву волооких и тишайших девушек-караимок. Суворов, начальствуя в Крыму, хотел «осемьянить» греков, дабы они не вымерли, и потому не препятствовал «умыканиям». Об этом сохранился документ от 1778 года...

Сладок был виноград, приятно было вино, душистая кефаль сама плыла в Балаклаву. Когда же императрица совершала свое путешествие в Тавриду, князь Потемкин Таврический выделил для конвоя амазонок, набранных из числа балаклавских жительниц. Женскою ротой командовала красавица Елена Сарандаки. Это была удивительная кавалькада! Юбки амазонок были сшиты из бархата

зеленого, тюрбаны женщин были скручены из розового шелка, осыпанного алмазными блестками. Среди цветущей природы Крыма, словно экзотические цветы, амазонки скакали на лошадях и на полном скаку палили в небо из ружей — огнем боевым, беглым...

Севастополь уже был. Черноморский флот создан!

Но путешествие Екатерины II в Тавриду обеспокоило турок, и в 1787 году открылась вторая русско-турецкая война. Я не знаю почему, но князь Потемкин Таврический уверовал именно в дипломатические способности корсара.

— Ламбро, — сказал он ему, — ты поедешь в Персию, постарайся склонить Агу-Магомета к дружбе с нами, и пусть он пошлет свое войско на турок противу турецкой армии...

Качиони проделал опасный путь до Мешхеда и выполнил свою миссию отлично, за что и был произведен в майоры. По возвращении в Крым он стал командовать каперским судном «Князь Григорий Потемкин Таврический», а самого Потемкина, давшего свое имя этому кораблю, он застал в полном отчаянии: страшная буря разбросала корабли Черноморской эскадры.

— Все пропало, — горевал светлейший, плача...

Обстановка складывалась не в пользу России. Теперь бы по примеру первой русско-турецкой войны следовало снова отправить флот в Средиземное море, но Швеция по стовору с султаном вероломно напала на Россию, и Балтийский флот остался в своих гаванях для охраны столицы. В этом случае надо было иным способом ударить по туркам с тыла их грандиозной империи, и Ламбро Качиони вызвался это сделать.

— Если доберусь живым до Триеста, — обещал он, — будет у меня флотилия, будут матросы, будут пушки и деньги.

— Благословляю тебя, — согласился Потемкин...

Греческая община Триеста купила корабль, на который Ламбро поставил 28 пушек; судно назвали «Минерва Севера». В прибрежной таверне Качиони пил вино.

— Эй, кто тут эллины? Мне нужны матросы.

— Какие условия? — спрашивали его.

— Условие одно: вы должны любить свою Грецию.

— А — деньги?

— Денег добудем у турецкого султана...

Наведя ужас на турецких морских коммуникациях, Ламбро Качиони абординировал корабли противника, и летом 1788 года под его командованием в Средиземном море плавала уже целая флотилия. Потемкину он депешировал: «Я, производя курс мой, совершенно воспрепятствовал Порте обратить военные силы из островов Архипелажских в море Черное, и столько произвел в Леванте всякого шума, что Порта Оттоманская принуждена отправить из Константинополя против меня 18 великих и малых судов, отчего она и понесла немалые убытки». На трех маленьких кораблях «командующий российской императорской флотилией» (так именовался Качиони в официальных бумагах) встретил эскадру турецкую, обратив ее в постыдное бегство.

Молва о его подвигах докатилась до Петербурга, и Екатерина II произвела корсаров в подполковники, а Потемкин разрешил ему своей властью принимать греков на русскую службу, производя их в офицерские чины от имени императрицы.

Французы в Триесте спрашивали Качиони:

— В чем секрет ваших поразительных успехов?

— Обычно я нападаю первым, — отвечал Качиони.

В 1789 году он разбил три эскадры противника, обеспечив себе господство в Эгейском море. Русский флаг на кораблях Качиони видели даже в Дарданеллах. А летом, курсируя возле берегов Леванта, Качиони штурмом взял крепость Кастель-Россо, что привело султана в паническое состояние. Абдул-Гамид переслал ему письмо, в котором прощал пролитие османской крови, обещая 200 000 монет золотом, если он отступится от дружбы с Россией. Султан просил Качиони выбрать для себя любой из островов Архипелага в свое вечное владение и быть там пашой... В противном же случае, писал он, Константинополь пошлет «силу великую, дабы усмирить Вас»!

«Меня усмирят только смерть или свобода Греции», — отвечал храбрый Качиони, снова выводя свои корабли в море...

Султан Абдул-Гамид призвал на помощь эскадру алжирских пиратов, опытных в абордажных схватках, и 15 своих кораблей. Они думали, что неуловимого Качиони предстоит долго искать, но Качиони сам нашел их... Неравная битва разыгралась в проливе у острова Андроса, заставив весь мир дивиться мужеству греческих волонтеров. Два дня подряд семь кораблей под флагами русского флота дрались с двумя эскадрами, ядра разрушали рангоут, в пожарах рушились палубы и мачты, ятаганы скрещивались в абордажах с саблями греков. «Минерва Севера» погибла с шумом, полегли замертво на палубах 600 патриотов, остальные все, как один, были изранены; Качиони, обливаясь кровью, остался при двух кораблях, но все же они выстояли! Все газеты Европы пели дифирамбы Качиони. За это сражение Екатерина II щедро наградила участников боя, а Качиони стал полковником и кавалером ордена Георгия... Богатые греческие общины Триеста и Венеции помогли ему восстановить свой флот, и к лету 1791 года под его началом раскачивало на волнах эскадру в 24 корабля с молодыми матросами.

В этом же году Россия заключила мир с Турцией.

Прослышав об этом, Качиони заявил командам:

— Если императрица русская заключила с Портою свой мир, то я, полковник ее флота, своего мира не заключаю...

Качиони обратился к грекам с манифестом от своего имени, в котором обещал защиту вдовам и сиротам тех, которые погибли в неравной борьбе. Теперь он именовал себя не полковником русской службы, а «королем Спарты», и никто не противился его самозванству, ибо популярность этого человека была поистине всенародной... О русской императрице он говорил:

— Я проклиная эту неверную женщину!

Лишенный поддержки России, Ламбро Качиони собрал корабли в гавани Порто-Квалио у мыса Матапан. Французская эскадра примкнула к турецкой, что плыла в море под флагом са-

мого капудан-паши (адмирала). Три дня продолжалась неравная битва: батареи греков смешали с землей, их корабли расстреляли, обгорелые обломки флота корсаров торжественно утащили в Константинополь, чтобы показать султану: с Качиони и его флотилией покончено. А сам Качиони, проскользнув ночью между французами и турками, на легком корабле достиг владений Венеции и стал собираться в дальнюю дорогу.

Санкт-Петербург! Мороз, иней на деревьях, сугробы снега...

Здесь его никто не ждал, и все были удивлены корсарской храбрости. Не уважать Качиони было нельзя: своими действиями в море Средиземном он, как хороший насос, оттянул часть турецких сил от моря Черного, где адмирал Ушаков решал судьбу главных морских сражений и где осваивалась «Новая Россия» с юными чудесными городами — Одессой, Херсоном, Екатеринославлем и прочими.

Потемкина уже не было в живых, а это осложняло положение Качиони в царской столице. Адмирал А.С. Шишков (известный писатель) встретил Качиони встревоженными словами:

— Ламбро, тебе бы где затаиться от гнева государыни, а ты сам на глаза лезешь. Шуточное ли дело — мир с Турцией ведь ты нарушил, противу воли ее величества.

Екатерина, будучи умной женщиной, сделала вид, что никаких разногласий между ними не возникало, а она рада его видеть. Из полковников он был переименован в капитаны 1-го ранга и снова зачислен для служения на Черноморском флоте. В разговоре с корсаром императрица пожаловалась на свое здоровье:

— А лейб-эскулапам своим не верю...

Ноги у нее опухли, на них образовались язвы, двигалась она с трудом. Качиони, пожалев женщину, сказал, что среди корсаров тоже нет доверия к медицине.

— Пошли-ка завтрава курьеров за водою из моря...

Воду возили от фортов Красной Горки, но вода Качиони не нравилась: он сказал, что в ней мало соли, и курьеров погнали

далее — до Ревеля. Екатерина каждое утро погружала ноги в холодную морскую воду.

— Вечером тоже ставь, — велел ей Качиони. — Я твой характер, матушка, раскусил: ты сама по натуре большая пиратка, а посему слушайся пиратов...

Лейб-медик Роджерсон противился варварскому лечению и, как пишет очевидец, «говорил о могущих быть для здоровья и самой жизни бедственных последствиях». Екатерина не послушалась Роджерсона, а в июле раны на ее ногах вдруг закрылись. Качиони уверял, что это самый верный способ:

— У пиратов все так лечат — водою. И даже перед боем мы пьем не вино, а глотаем по стакану соленой воды...

Раны, действительно, закрылись, но Екатерина умерла. Это случилось 5 ноября 1796 года, и о поведении в этот день Ламбро Качиони я нашел лишь свидетельство — того же адмирала Шишкова (его записки были опубликованы в Берлине и больше никогда не переиздавались). «Появление Ламбро Качиони крайне меня удивило, — пишет адмирал. — Он показался мне смутен... стал спиною к окошку и стоял неподвижно». Эта сцена происходила в Зимнем дворце. «Я взглянул на него еще раз и увидел, что он больше похож на восковую куклу, нежели на живого человека».

— Ламбро! — окликнул его Шишков. — Что сделалось с тобою? — Качиони молчал. — Посмотришь в зеркало, — продолжал адмирал. — Поди скорее да посоветуйся с каким-либо лекарем...

«Он ни слова. Стоит, вытараща глаза, будто истукан».

Ламбро Качиони вернулся в Балаклаву, где снова занял пост командира Греческого батальона, несшего дозорную службу на побережье. Впервые в жизни, кажется, он мог спокойно вникнуть в строки Гомера, не хватаясь спросонья за оружие... Здесь его настигли тайные агенты турецкого султана, и знаменитый патриот и гражданин был ими отравлен. Русские источники указывают год смерти 1801-й, а французский историк Лавис говорит, что в 1806 году Качиони снова появился в Средиземном море, где и корсарствовал по-прежнему.

Русский народ никогда и далее не оставался равнодушен к делам Греции: на базарах в глухой провинции офени разносили яркие лубки с изображениями подвигов греческих инсургентов, мужицкие избы в деревнях украшали образами национальных героев Греции — почтенным Колокотронисом, которого зарисовал Карл Брюллов, или воинственной Бобелиной верхом на коне. Пушкин отчаянно завидовал Байрону, сражавшемуся за свободу греков, и сам желал бежать в Грецию, чтобы помочь ее освобождению... К русским берегам постоянно прибывало волны греческой эмиграции. Греки селились обширными землячествами, их большие колонии были в Мариуполе, Кишиневе, Астрахани, Мелитополе, Таганроге, Керчи, Феодосии; Россия образовала Греческую гимназию, эллинская речь звучала на улицах Москвы, Петербурга, Одессы и Херсона, а про Нежин и говорить нечего — Нежин был вроде греческой столицы. Из греческих эмигрантов вышло в России немало педагогов, промышленников, офицеров военного флота, участников революций в странах Востока, но особенно много греков служило в русской дипломатии, достигая высоких назначений по службе.

Благодарные России, греки всегда доблестно сражались за свою вторую отчизну, геройски проявив себя в войнах, а в 1854 году Греческий батальон насмерть стоял у Балаклавы, сдерживая бешеный натиск англо-французских десантов и бомбардирование с кораблей флота. Балаклава для греков была — по традиции — русской Спартой!

Я никогда не был в Балаклаве, и я не знаю, сохранилась ли там могила моего героя. Сын его, Ликург Ламбрович Качиони, с 1812 года служил на русском флоте, потом, как и его отец, стал командиром Балаклавского батальона, а в старости состоял инспектором Керченского карантинного пункта. Внук корсара, Александр Ликургович, начал служить гардемаринном при адмирале Лазареве, затем в чине мичмана был переведен в ряды Балтийского флота. После них осталось потомство, в котором можно встретить и писателя Спиридона Качиони, писавшего рассказы уже в нашем, XX веке.

Надеюсь, что со временем, когда книги о подвигах Ламбро Качиони с новогреческого будут переведены в нашей стране на русский язык, мы будем знать гораздо больше об этом отчаянном русском офицере и отважном патриоте гордой Эллады.

О нем уже пишут в нашей флотской печати, пишут с большим уважением. Но мне бы хотелось, чтобы читатели видели его таким, каким вижу сейчас я: в высоком шлеме с перьями, при сабле, с орденом Георгия на груди, с пышными черными усами.

С в и р е п о г о !

Жизнь генерала-рыцаря

Еще не поздно, есть о чем
Нам вспоминать. Теперь два слова
Скажу про Кульнева, — о нем
Тебе, чай, слышать уж не ново?

Это из поэмы о Кульневе знаменитого финско-шведского поэта Иоганна Рунеберга...

Яков Петрович Кульнев — давняя любовь моя. Сколько волнений, сколько восторгов пережил я, узнавая о нем...

Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани!
Он пал, главу на щит склонил
И стиснул меч во длани —

так писал Жуковский; Денис Давыдов писал гораздо проще:

О муза, Расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя,
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед...

Человеку нормального роста эфес сабли Кульнева доходил по плеча — Яков Петрович был великаном, души добрейшей и благородной.

А вид имел зверский: нос у него громадный, от вина красный, весь в кущах бакенбард, зачесанных вперед от висков, а глаза — как угли.

Кульнев, презирая смерть, всегда шел в авангарде.

— Герой, служащий отечеству, — говорил он друзьям, — никогда не умирает, оживая духом бессмертным в потомстве...

И земля тряслась, когда он взмахом сабли срывал в атаку лавину гродненских гусар.

Еще юным поручиком Кульнев отличился при Бендерах, за что его свысока потрепал по плечу сиятельный Потемкин. А в кавалерийской лаве под Брест-Литовском Кульнев решил участь сражения — и его заметил Суворов. Под Прагой он первым ворвался на коне в город — ему был присвоен чин майора.

Майор был беден. Он шил себе гусарский доломан из солдатского сукна. Все деньги, какие были, отсылал домой. Кормился же из котла солдатского. Павел I, вступив на престол, издал приказ о количестве блюд по званиям: майор должен был иметь за столом непременно три кушанья... Император спросил Кульнева:

— Доложи — каковы три кушанья ты отведал сей день?

— Одну лишь курицу, ваше величество.

— Как ты смел?

— Виноват. Но сначала я положил ее плашмя. Потом смело водрюзил ребром. И наконец безжалостно обкусал ее сбоку...

Брату своему Кульнев писал на Псковщину:

«Подражаю полководцу Суворову, и, кажется, достоин того, что меня называют учеником сего великого человека. А в общем, прозябаю в величии нищеты римской. Ты скажешь — это химера? Отнюдь нет... чтение Квинта Курция есть беспрестанное мое упражнение!»

Громадная шапка густых волос рано поседела. В обществе он был хмур, сосредоточен и, кажется, несчастлив. Кульнев флиртовал

немало, как и положено гусару, но безответно любил он только одну женщину. К сожалению, она принадлежала к титулованной знати, и он — гордец! — молчал о чувствах своих, боясь получить отказ...

Но вот запели трубы о войне — грянули походы по Европе против Наполеона.

В боевой жизни Кульнев преображался. Становился весел, шутлив, смеялся летящим ядрам; он слагал стихи друзьям. На гусарских бивуаках, в треске костров, немало поколочено бокалов, рыдали гитары и пелось, пелось, пелось... всю ночь!

Наступление — Кульнев идет в авангарде! Случись ретирада — и Кульнев в арьергарде сдерживает натиск врага. Всегда при сабле, а по ночам не спит, сидя на барабане.

— Не сплю для того, — говорил, — чтобы солдаты могли как следует выспаться...

Слава подлетала к нему не спеша. Не было сражения, в котором бы не прогремело имя Кульнева. Народ, самый точный ценитель отваги, отметил эту славу — и владимирские офени уже разносили по Руси первые лубки с изображением Кульнева. В крестьянских избах, на постоянных дворах и харчевнях «храбрым Кульневым» стали украшать стены. И мужчины, попивая чаек, уже толковали о нем, как о герое всенародном:

— Вон наш батюшка Кульнев... вишь, как наяривает!

А сам Кульнев по окончании войны сказал:

— Люблю Россию! Хороша она, матушка, еще и тем, что у нас в каком-нибудь углу да обязательно дерутся...

Точно — в самом углу России тут же возникла русско-шведская война, и Кульнев вскочил в седло. Донцы с гусарами его шли за ним, сутками хлеба не куснув, ибо Кульнев гнал конницу вперед, только вперед (обозы не поспевали!). Трижды прошел Кульнев через Финляндию — через снега, через завалы лесные, буреломы, под пулями. В дерзких рейдах по тылам врага Кульнев выковал тактику партизанской борьбы, которая вскоре нам пригодится...

Не знаю, как сейчас, но раньше не было в Финляндии школьника, который не знал бы о Кульневе... Читали наизусть:

Ты б посмотрел его черты!
Между картин убогой хаты
Еще порой увидишь ты
Какой-то облик волосатый;
Ты подойдешь — проглянет рот,
Улыбка кроткая блеснет
И взор приветливый, открытый...
Вглядишься — то Кульнев знаменитый!
На нас рука его несла
Беду и смерть и ужас боя,
Но честь его и нам мила,
Как честь родного нам героя...

Поначалу своим появлением он навел страх на финнов. В метельных потемках застывал Якобштадт, население которого решило балом развеять печаль военной зимы. Играли скрипки и вздыхали жалобно валторны шведского оркестра. Двери настежь... в блеск чопорного бала прямо с мороза ввалился он, заснеженный медведь. Иней и сосульки покрывали лицо, заросшее волосами. Зорким глазом могучий партизан окинул женщин. И точно определил он первую красавицу в городе. Что-то грозно потребовал у нее на своем языке, показывая почему-то на ноги девушки.

Вид Кульнева был столь ужасен, что...

— Уступи ему, Эльза, во всем, — заговорили горожане. — Ведь ты не хочешь, чтобы он спалил наш уютный Якобштадт!

Башмачок упал с ноги рыдающей красавицы. Партизану больше ничего не нужно. В туфлю хлынуло шампанское. Кульнев осушил ее единым глотком. Поцеловал туфлю в каблук. После чего с облегчением запели скрипки и радостно вздохнули валторны. Бал продолжался, и Кульнев был самым приятным кавалером...

Опять он шел в авангарде, вызывая удивление в противнике своей удалью. Скоро о нем знали все как о генерале-рыцаре. Кульнев был страшен в битве, когда враг не сдавался. И он был

необыкновенно благороден, если враг запросил пощады. Имя Кульнева в Финляндии становилось знаменем спасения.

— Кульнев идет! — а это значило: идет великодушный противник, который станет другом; одно имя его вселяло успокоение.

Кульнев приходил в бешеную ярость, если кто-нибудь допускал насилие над пленными. И он «рубил в куски» тех, кто наносил обиду мирному жителю. Покоренная Финляндия полюбила его; когда он с кавалерией входил в старинный Або, все жители вышли на улицы, устроив ему пышную встречу, как триумфатору...

Бывало не раз, что казаки с пиками наперевес окружали королевских гусар, готовые проткнуть их насквозь, и тогда над сугробами неслись призывы шведских офицеров:

— Koulnef, Koulnef sauvez-nous la vie!*

И, словно вихрь, из бурана вылетал на коне генерал-рыцарь; разбросав перед собой пики казачьи, Кульнев спасал от гибели побежденных, которые кидались ему на шею.

— Отныне вы гости мои, — говорил он пленным. — Живу по дон-кишотски я, как рыцарь Печального Образа, но... прошу всех к столу моей стряпни отпробовать.

Из Стокгольма в шведскую армию, действующую против России, пришел удивительный приказ, в котором король запрещал стрелять в генерала Кульнева!

Однако война со Швецией затянулась, и уже нарастала угроза новой войны с Наполеоном. Пора было кончать битву на фланге, чтобы освободить армию для баталий решающих.

Перед русскими воинами в 1809 году лежало замерзшее Балтийское море — все во вздыбленных торосах, в пуржистых бурях...

Шестого марта Кульнев издал свой исторический приказ:

«Бог с нами, я перед вами, а князь Багратион за нами. В полночь собраться у мельницы. Поход до Шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны — истинная награда, честь и слава бессмертия! Иметь при себе по две чарки водки на человека, по куску

* Кульнев, Кульнев, спаси нам жизнь! (фр.)

*мяса и хлеба. Лошадям — по два гарнца овса. Море нестрашно.
Отдыхайте, мои товарищи!»*

Русская армия двинулась через море, и кавалерия Кульнева вдруг загарцевала под стенами Стокгольма. Тогда-то и был заключен Фридрихсгамский мир, по которому шведы уступили русским всю Финляндию. Война закончилась грандиозным банкетом, который побежденные шведы устроили своим победителям — русским.

Слава Кульнева в этой войне упрочилась, и он решил объясниться в любви с дамою своего сердца. Женщина охотно соглашалась вручить ему свою руку и сердце, но...

— Прошу вас, — сказала она, — оставить воинскую службу. Я немало наслышана о безумной храбрости вашей, и согласитесь, что мне совсем нежелательно остаться вдовою.

— Сударыня, — отвечал ей Кульнев, — долг пред службою отечеству я ценю выше долга супружеского...

Так завершилась его любовь. За блистательный поход кавалерии через Балтику Кульнева наградили пятью тысячами рублей. Яков Петрович половину отослал матери, остальные истратил на друзей и своих подчиненных. Осталась генералу та же самая курица, которую он клал на тарелке плашмя, лежа и всяко разном.

А на финских хуторах и поныне можно встретить старинные гравюры. Кульнев изображен в окружении финской семьи, нянчащим на своих руках младенца. Младенец же этот — Иоганн Рунеберг, краса и гордость финской культуры, который позже писал:

Вражду лишь робкий заслужил —
Ему позор и посмеянье,
Но честь тому, кто совершил
Бесстрашно война призванье...

За отличие в битвах с турками при Дунае Кульнев получил саблю, осыпанную алмазами. Его назначили шефом Гродненского гусарского полка. Первым же приказом он запретил гусарам ношение в ушах серег. И никто не взроптал.

— Для любимого дружка и сережку из ушка! — говорили вислоусые, старые, прокуренные гусары...

Близился год 1812-й — год нашей славы и доблести.

Наполеон через Смоленск устремился на Москву, а в сторону Петербурга двинулись войска маршала Удино, против которого стоял с армией князь П.Х. Витгенштейн. В этом корпусе Витгенштейна, прикрывавшем столицу, состоял и Кульнев со своими гродненцами. Судьба обрекла его сражаться сейчас на тех зеленых полянах, среди которых прошло его детство.

— Ежели, — говорил он в эти дни, — паду от меча неприятельского, то паду славно, почитая себе за счастье каплей крови последней жертвовать защите отечества!

Витгенштейн в порядке отводил свой корпус к Дрисскому лагерю. Прикрывая отход его армии, в непрерывных схватках, гусары Кульнева привычно качались в седлах, звенели низко опущенные ташки с вензелями, бряцало оружие, и раздавалась песня:

Нам плевать на Удино —
Он для нас одно дерьмо...

Яков Петрович с тревогой оглядывал отчие места, затянутые дымом от сгоревшего пороха.

— Жано, — сказал он своему адъютанту Нарышкину, — ты бы знал, милый, какая тоска гложет сердце. Ведь это моя родина! Неподалеку отсюда есть постоялый двор в Клястицах, где проездом, сорок восемь лет назад, нечаянно родила меня матушка...

Ударом небывалой ярости Кульнев обрушил своих гусар на противника. Расколошматил французов в пух и прах. Они стояли перед ним дрожащие. Среди пленных, весь в блеске мундира, застыл и любимец Наполеона — генерал Сен-Жени.

И шел дождь...

Кульнев сорвал с пояса Сен-Жени шпагу.

— А вам — в Москву, — сказал в злости...

Сен-Жени был *первым* генералом Наполеона, который попал к нам в плен, и Москва сбегалась смотреть на него, как на чудо. Остальных пленных Кульнев загнал в монастырь бернардинов, где была его штаб-квартира. Иван Нарышкин открыл монашеские погреба, а там бродили меды панские, дремали в бочках вековые ликеры. Тут французы перепились с горя (а хитрый Нарышкин слушал, о чем они болтают). Утром он навестил Кульнева:

— Женераль! Судя по всему, что я узнал, маршал Удино совершает обходное движение по тракту из Полоцка на Собежу.

— В седло, гусары! — отвечал Кульнев...

Ельник да березник, изредка сосны вдоль почтового тракта. Глухие ставки озер, редко-редко где прочернеет пахота. В этих краях Кульнев перехватил корпус Удино. Битва разгорелась возле селения Клястицы, где он родился. И это была *первая* значительная битва в Отечественной войне 1812 года. Удино не выдержал напора русских — он отступил, побросав обозы. Гусары сотнями брали пленных. Победа под Клястицами возвысила дух нашей армии.

Яков Петрович ждал, что его «сикурсируют» подмогой с тыла. Но, в горячке погони за Удино, он далеко оторвался от корпуса Витгенштейна...

Жарко было. Дожди стучали по земле бурными, короткими ливнями, не освежая.

— Вперед, гусары! — призывал Кульнев.

Навзничь он опрокинул бригаду французского генерала Кабрино. А за этой бригадой вдруг выросли пред ним, как стенка, *главные* силы противника.

— Время жить кончилось, — сказал Кульнев. — Ныне пристало время умирать. Найдется ли у нас в обозе хоть одна бутылка шампанского? Разопьем ее поскорее и поспешим в битву, гусары!

На затылке — кивера,
Доломаны — до колена,
Сабли, таши — у бедра,
А лежанкой — копна сена...

Взвизгнул обнаженный клинок, и в тумане утреннем померкла сизая олонецкая сталь. Кульнев — впереди! впереди! впереди! — водил гусар в атаку. Из одной выведет — ведет во вторую.

Над зелеными полями разносился призыв:

— Руби их в песи, круши в хузары!

Удино навалился на гусар всей мощью своего корпуса, и Кульнев отвел свой отряд за Дриссу. Было так жарко, что он сбросил с плеч гусарский ментик. Земля парила, громохал гром...

Средь печальных холмов отчизны мокли брошенные пушки.

Кульнев слез с коня и, презрев смерть, повел его в поводу.

— Поспешим! — торопил его Нарышкин.

— Нет, — отвечал Кульнев адъютанту, — так уж повелось: в авангарде я первый, а в ретиреде — последний...

Он подошел к пушке, открыл зарядную фуру:

— Заряжай!

Генерал-рыцарь Яков Петрович Кульнев сражался до конца.

Из брошенной мортиры, прикрывая отвод своих товарищей, он стал обкладывать ядрами колонну противника. Здесь его настигло французское ядро, которое оторвало ему две ноги сразу.

Обезноженный Кульнев не терял сознания.

Одним движением руки он сорвал с себя все ордена:

— Возьми их, Жано! Пусть французы не ведают, что им удалось убить самого Кульнева...

Нарышкин, плача, забрал у него реликвии былой славы. Последним усилием Кульнев завернулся в шинель солдата. Он желал умереть как рядовой великой армии. Но весть о гибели Кульнева все же дошла до Наполеона, и в письме к своей молодой жене император поделился своей радостью...

Это случилось возле деревеньки Сивошино; позже там выросли молодые елочки, которые бросали тень благодатную на придорожный камень, а на камне том было начертано:

На сем месте пал, увенчан победой, храбрый Кульнев, как верный сын, за любезное ему Отечество сражаясь.

Славный конец его подобен и славной жизни.

Оттоман, Галл, Германец и Швед зрели его мужество и неустрашимость на поле чести. Стой, прохожий, кто бы ты ни был, Гражданин или Воин, но почти его память слезюю.

Кульнев был первым русским генералом, павшим в Отечественной войне, и Москва облеклась в траур.

Знаменитая певица Лизынька Сандунова (тогда еще во всем блеске женской красоты и таланта) выступала в тот день на оперной сцене. Слезы душили ее, она не могла вести арию — и вдруг властно остановила оркестр. В белом хитоне античной богини, раскинув руки, Сандунова запела о боли сердечной:

Сла-ава нашему генералу-у Ку-ульневу,
положившему живот за Отечество, —
ему наша сла-а-ава-а...

И весь зал, как один человек, разом поднялся в рыданиях.

В 1831 году прах Кульнева из придорожной могилы перенесли в его бедное именье Ильзенберг (что в Режицком уезде Витебской губернии). Над гробницей Кульнева, в особом треножнике, положили роковое французское ядро. Позже над могилой была возведена церквушка. Полк гродненских гусар стал называться полком Клястицким гусарским. А в 1912 году, когда отмечался столетний юбилей Отечественной войны, железнодорожная станция Межвиды, лежавшая неподалеку, была переименована в *Кульнево*.

Своего потомства Кульнев не оставил. Из числа его побочных потомков отличились два правнучатых племянника. Николай Ильич Кульнев, будучи мичманом, геройски сражался в Цусиму на флагманском броненосце «Князь Суворов». А старший лейтенант флота Илья Кульнев стал одним из первых асов морской авиации. Он погиб над водами Балтики — в неравном бою с германскими «альбатросами».

Ныне могила Я.П. Кульнева находится на территории Латвийской ССР. Сейчас это место называется Берзгале — его навещают туристы, едущие по дороге от Великих Лук. Могила генерала-рыцаря находится под охраною государства, как памятник нашей славной истории.

В Военной галерее героев 1812 года, что расположена в Зимнем дворце, имеется портрет Кульнева, писанный Д. Доу, но мне, честно говоря, больше нравится рисунок с Кульнева, — резко и жестко — французом Луи де Сент-Обеном.

Был век бурный, дивный век.
Громкий, величавый,
Был огромный человек —
Расточитель славы...

Это опять из Дениса Давыдова, которому эфес кульневской сабли доходил до кончика носа.

Нептун с Березины

Каждый из героев былого несет в себе какой-либо заряд — положительный или отрицательный. Некоторые исторические имена произносишь почти машинально, без лишних эмоций, ибо о них уже сложилось определенное мнение, и горячиться начинаешь только тогда, когда с этим мнением не согласен. Признаюсь, что имена Чичаговых я всегда произносил с равнодушием.

Известно, что адмирал Василий Яковлевич Чичагов плывал до ледяного Шпицбергена, в кампании 1788–1790 годов по его вине была упущена шведская эскадра, заблокированная в бухте Выборга нашими кораблями; сын его Павел Васильевич, тоже адмирал, управлял морским министерством, а прославил себя тем, что на переправе через речку Березину дозволил Наполеону вырваться из неминуемого плена. Вывод прямо-таки подозрительный: отец прозевал шведского короля Густава III, а его сын допустил бегство Наполеона из России.

После такого предисловия я напомним читателю старинную истину: мемуары, как правило, пишут те люди, которым в старости надобно оправдать свои ошибки, совершенные в молодости; иногда же мемуаристы берутся за перо лишь затем, чтобы свои грехи свалить на головы других, а самим предстать перед потомками в наилучшем свете. Павла Чичагова в России осуждали чересчур строго — как изменника, и потому сразу возникает каверзный вопрос: оставил ли он после себя мемуары?

Да, он писал их всю жизнь. Где же и когда они были опубликованы? Именно тут и начинаются всякие несуразицы, а советская историография дает четкий ответ: записки П.В. Чичагова в России были опубликованы лишь частично.

Вот они! Кладу их перед собой.

Василий Яковлевич, костромич родом, женился на какой-то загадочной «вдове», уроженке Саксонии. У старого адмирала было хорошее правило: он никогда не лез ко двору императрицы Екатерины II, не шаркал на дворцовых паркетах, предпочитая им корабельную палубу, а жил в большой бедности.

Его сын Павел с четырнадцати лет служил на флоте, состоя при отце вроде флаг-офицера, щедро награжденный за храбрость, после чего и возникли слухи об отцовской протекции. Тогда отец спровадил сына подальше от себя — в Англию, чтобы он мог там завершить образование; Чичагова сопровождал профессор математики Семен Гурьев. Но в Лондоне юный мичман и его наставник обнаружили повальное пьянство, не открыв в науках ничего нового. Однажды, будучи званы на обед к русскому послу графу Семену Воронцову, мичман Чичагов об этом и заявил:

— Последний офицер русского флота, по-моему, более знающ и грамотен, нежели офицеры флота английского короля.

Воронцов был англоман и вступился за честь Англии.

— Да будет известно вам, — вспыхнул он, — что самый ничтожный мичман флота Англии знает больше русского адмирала.

Павел Чичагов рывком поднялся из-за стола:

— В вашей сентенции, граф, усматриваю личное оскорбление, ибо являюсь мичманом, а мой отец — адмирал флота российского!

На этом обед закончился. Через два года (в 1794 году) Чичагов снова навестил пасмурные берега Англии, но уже командиром фрегата «Ретвизан». Английские офицеры зачастили на его корабль, восхваляя чистоту и порядок, они искренно удивлялись высокой маневренности фрегата... В порту Чатам Павел Васильевич сблизился с семьей капитана Проби, у которого была на выданье дочь Елизавета, и молодой офицер не замедлил в нее влюбиться. Это вызвало ответное чувство. Чичагов взял с девицы сердечное согласие — ждать его, чтобы потом вместе с нею вернуться на свою родину.

— Я согласна жить в России, — отвечала девушка...

Вскоре все круто переменялось: на престол вступил император Павел I, носивший титул генерал-адмирала, а помощниками ему были «гатчинские флотоводцы» — Григорий Кушелев и поэт Александр Шишков, давние ненавистники Чичаговых. Услужить императору было легко — для этого надо было беспощадно критиковать все сделанное его матерью. Слепнувший адмирал Василий Чичагов, кавалер Георгия I степени, проглядел в полицейских ведомостях существенное. Среди пунктов царского указа о дамских модах затерялся приказ об уничтожении орденов Георгия и Владимира, полученных в царствование Екатерины II.

— Как?! — негодовал Павел. — Старый Чичагов еще таскает на мундире орден Георгия? Гнать его со службы...

Оскорбленный за отца, Павел Чичагов тоже хотел выйти в отставку, но его отговорил сам отец, рассуждавший так:

— Какие бы тяжкие времена ни переживала отчизна, каждый честный патриот обязан сносить все тяготы службы...

В это же время Павел Васильевич известился, что в Чатаме умер капитан Проби, его дочь осиротела, но, верная своей клятве, она ждет его, чтобы он увез ее в Россию. Чичагов начал хлопоты о поездке в Англию, но Павел заупрямился:

— Передайте этому дураку, что в России полно засидевшихся девиц и не вижу надобности плавать за невестами в Англию.

Чичагов предался отчаянию. Он просил вельмож двора воздействовать на царя, чтобы они напомнили ему: сам лорд Спенсер, командующий английским флотом, самого высокого мнения о нем, о Чичагове. Павел I сдался, заявив Кушелеву:

— Надо ублажить этого упрямого жениха.

— Как? — спросил Кушелев.

— Дам ему чин контр-адмирала, и пусть явится ко мне...

Свидание состоялось во дворце Павловска. Но никак было не миновать Кушелева, сидевшего в передней царя, подобно верному Трезору возле будки. Кушелев вынудил Чичагова на откровенность — после чего, оставив гостя в передней, сам прошел к императору:

— Ваше императорское величество, в приватной беседе с Чичаговым я выяснил нечто ужасное. Чичагов желает изменить вам и перейти на службу Англии, а просьба ехать за невестой — это лишь повод для бегства из России.

— В отставку его! — распорядился Павел.

Кушелев вернулся в переднюю, стал что-то писать.

— Григорий Григорьевич, что вы там пишете?

— Пишу государев указ о вашей отставке.

— Значит, мне можно ехать в Англию?

— Да. Но сначала пройдите в кабинет государя.

Павел (в окружении флигель- и генерал-адъютантов) гневно пыхтел, как самовар, готовый распаяться от непомерного жара.

— Предатель! Ты желал служить лорду Спенсеру?

Тут Чичагов понял, почему так ласково беседовал с ним Григорий Кушелев, и решил дать достойный ответ:

— Лорд Спенсер не возьмет меня даже в юнги, ибо английская конституция не допускает принятия на службу иноземцев.

Павел затопал пудовыми ботфортами:

— Якобинец! Сорвать с него ордена... раздеть! Кушелев, где ты? Тащи с него шпагу. Сейчас дадим ему конституцию...

На Чичагова накинулись дружной сворой, и буквально через минуту он стоял в одних кальсонах, скромно называемых на святой Руси «исподними». Павел Васильевич уже не помышлял о свободе, ожидая ссылки в Сибирь, и, предчтя дальнюю дорогу, он не растерялся, крикнув императору:

— Ваше величество, у меня в мундире был и бумажник... верните его мне! Там лежат мои последние деньги.

— В крепость! — велел Павел. — Там деньги не нужны...

«Залы и коридоры Павловского дворца были переполнены генералами и офицерами после парада, и Чичагов, шествуя за Кушелевым, прошел мимо этой массы блестящих царедворцев, которые еще вчера поздравляли его с высоким чином контр-адмирала» — так написано в сборнике биографий сенаторов.

Его посадили в сырой каземат Петропавловской крепости, но перед этим он повидал генерал-губернатора графа Палена.

— Что вы так возмущаетесь? — сказал Пален адмиралу. — Сегодня посадили вас, а завтра посадят меня...

Скоро Чичагова навестил в крепости сам император, который нашел помещение «слишком чистым и светлым», указав Палену, чтобы пересадили адмирала в каземат с крысами.

Наконец, император прислал к узнику графа Палена.

— Его величество приказали спросить вас, чего вы желаете: или служить его величеству, или оставаться в обществе крыс?

Чичагова было не узнать — весь зарос бородами.

— Чего тут выбирать? — отвечал он. — Но весьма досадно, что этот же вопрос государь не догадался задать мне раньше, а начал сразу с раздевания и отнятия последних денег.

Тюремный цирюльник побрил узника, Чичагов был обряжен в драный сюртучишко с чужого плеча. Таким его доставили в Зимний дворец, где адмирала встретил язвительный Кушелев:

— Поздравляю: сидя в рavelине, вы даже располнели.

— Распух — точнее! Где мой мундир?

— Он остался в гардеробе Павловского дворца, за ним уже послали курьера. Император желает вас видеть...

Павел взял руку Чичагова, прижав ее к своему сердцу:

— Забудем все, останемся друзьями. Знаете ли, что явилось причиной моего гнева? Ваши якобинские правила.

— Правила? — удивился Чичагов. — Да разве я штурмовал Бастилию? Напротив, это вы заточили меня в свою Бастилию.

Далее цитирую речь Павла I: «Если вы якобинец, — продолжал он, — то представьте себе, что у меня на голове красная шапка, что я ваш главный начальник, а вы повинуйтесь мне...» Чичагов обещал повиноваться «начальнику якобинцев», носившему корону. Адмирал понадобился царю, чтобы он возглавил эскадру, посылаемую на помощь английскому флоту — против французов.

Указ об этом был подписан 3 июля 1799 года, а сама экспедиция именовалась «секретной». Но вскоре Павел рассорился с Уайтхоллом и отозвал эскадру обратно, а Чичагов вернулся в Ревель с нежной мисс Проби, которую по-русски стали величать Елизаветой Карловной. Новобрачные зимовали в Кронштадте, где флот готовился отразить возможное нападение эскадры адмирала Нельсона... Павел снова пожелал видеть Чичагова:

— Вот видите в моем кабинете бюст Бонапарта, и отныне мои планы будут совмещены с его планами, дабы покарать Англию...

Страшась русско-французского союза, Англия устроила заговор в Петербурге, и в марте 1801 года император Павел I был убит по всем правилам уголовного искусства. Россия вступала в XIX век, а на рабочем столе адмирала Чичагова тоже появился бюст первого консула Наполеона Бонапарта. Это почитание культа личности Наполеона было тогда общим европейским поветрием, и ставить его в укор адмиралу никак нельзя...

Молодой император Александр I на другой же день после убийства своего отца зачислил Чичагова в свою свиту.

— Срочно езжайте в Ревель, — наказал он ему, — чтобы отвадить адмирала Нельсона от привычки шляться у наших берегов...

Очень скоро Чичагов сделался доверенным лицом императора; современники оставили нам свидетельства, что он, крайне само-

любивый и не в меру горячий, бывал вежлив только с низшими, но даже императору никогда не боялся дерзко высказать самые жестокие истины. Мало того, Чичагов доказывал царю, что пора отменить крепостное право, столь позорное для русского народа. Александр I был хитер; он покорно выслушивал Чичагова, украшая его орденами, произвел в вице-адмиралы, назначил в сенаторы, пожаловал ему имение на Виленщине:

— Вы меня растрогали прямою своего характера. Но менять что-либо в порядках Руси нам еще рано...

Управляя морским министерством, Чичагов с его строптивым нравом оказался на своем месте. Не боясь наживать врагов и завистников, он преследовал злоупотребления и казнокрадство на флоте, улучшал кораблестроение и укреплял гавани, он запретил заковывать матросов в колодки, по берегам морей ставил сигнальные маяки, занимался морской медициной и гигиеной, налаживал производство навигационных инструментов. Ему исполнилось сорок лет, когда он стал полным адмиралом.

— Ветер дует в мои паруса, — говорил он жене...

Елизавета родила ему трех дочерей, и вдруг паруса поникли, потеряв счастливый ветер. Жена стала болеть, врачи доказывали, что для ее спасения надо переменить климат. Чичагов взял длительный отпуск; два года они прожили во Франции, но Лиза просилась в Англию и там, на родине, умерла. Чичагова с трудом оторвали от мертвой жены, он не мог отвести взор от ее лица. Историк пишет, что адмирал «встретил смерть ее полным отчаянием, совершенным упадком духа... не хотел оставить тело любимого им существа далеко от себя и своей родины». Он перевез прах жены в Петербург. Надгробие над ее могилой заказал знаменитому Мартосу: скульптор изобразил самого Чичагова в позе отчаяния; эпитафия в английских стихах была украшена стонущим признанием на русском языке: «На сем месте навеки схоронил я мое блаженство...»

После похорон жены, полностью разбитый, подавленный горем, Чичагов пожелал оставить пост министра:

— Я в таком состоянии, что пользы не принесу.

Александр I с ним согласился.

— Но я оставляю вас в свите. Кстати, — сказал он, беря со стола бумагу, — прочтите, адмирал, что пишут из Парижа...

Это было донесение тайного агента: Наполеон собирал армию для нападения на Россию, уверенный в успехе, ибо русская армия под командованием Кутузова сражалась на Дунае.

— Я уже писал Михаиле Ларионычу, дабы он поспешил с миром, чтобы освободить Дунайскую армию для борьбы с Наполеоном...

Чичагов отметил в мемуарах: «Кампания 1812 года уже открывалась перед нами. Иноплеменная армия, составленная из войск многих государств материка Европы, стояла на рубежах России... все готовились к войне, которая предвиделась нам в самом кровавом виде». Утром 6 апреля 1812 года император принял Чичагова в своей спальне, сказав, что завтра выезжает в Вильну, а Наполеон усилил себя армиями своих сателлитов — Австрии и Пруссии, на что адмирал ответил ему:

— Дунайская армия, тоже усиленная добровольцами Молдавии, Валахии и Сербии, способна разрушить тыл Наполеона со стороны Балкан, сразу проникнув в земли венских монархов.

— Вот вы и возьмите на себя Дунайскую армию...

Чичагов прибыл в Бухарест, где Кутузов накануне уже подписал прелиминарные условия мира, а когда трактат о мире был утвержден, он сдал Дунайскую армию адмиралу:

— Теперь османы не могут помешать нам расправиться с этим зарвавшимся корсиканцем. Прощайте, адмирал...

Дунайская армия превратилась в резервную. Наполеон еще не думал оставлять Москву, когда Чичагов получил из Петербурга приказ — двинуть свою армию в Белоруссию, чтобы отрезать пути отхода французам. Перемещая армию с берегов Дуная, адмирал успешно отбил наскоки австрийцев и саксонцев, союзников Наполеона, которые сочли за благо укрываться в Польше. Когда же Наполеон оставил Москву и побежал вспять, стало ясно, что

ему — на путях к Вильне — никак не миновать переправы у Березины, куда подходила Дунайская армия. Наполеон, преследуемый Кутузовым с тыла, окажется в капкане. Позорный плен — вот что ожидало его на Березине!

— Понимаем, — рассуждали в штабе Чичагова, — именно здесь, на переправах через Березину, история сплетает два венца — терновый для Наполеона и лавровый для нашего адмирала...

Александр I из Петербурга напоминал: «Подумайте, каковы будут последствия, если Наполеон уйдет за наши границы и создаст новую армию» (в Европе). Близилась зимняя стужа, в сражении под Красным французы были разгромлены, Кутузов уведомил Чичагова: «Наполеон ускакал со свитой своею, оставя свои войска на жертву воинам нашим. Поспешайте, ваше высокопревосходительство, к общему содействию, и тогда гибель Наполеона неизбежна...» Под ошметками своих знамен Наполеон еще имел немалую армию, но — какую? Сегюр писал, что «не стало братства по оружию, все связи были порваны. Невыносимые страдания лишили всех разума, каждый помышлял о собственном спасении». Немец спешил выбраться в Германию, поляки грезили о кофейнях Варшавы, испанцы мечтали о жарнице Мадрида, португальцы — о далеком Лиссабоне, а сами французы шатались от голода и не чаяли, как дотащить свои кости до Вильны...

Чичагов в эти дни метался среди лесов и замерзших болот, не зная, где занять главную позицию; он с нетерпением ожидал, когда с севера подойдет к нему на подмогу армия генерала Витгенштейна, охранявшая подступы к Петербургу.

Трагедия Березины определилась. Не стану ее описывать, а лучше сошлюсь на мнение «Советской Исторической Энциклопедии»: «Отсутствие взаимодействия между отд. группами войск, ошибки Чичагова и Витгенштейна помешали выполнению плана окружения противника. Однако общественное мнение России вину за это целиком возложило на Чичагова...» Тут все ясно! Но сама Березина стала могилой для армии Наполеона. Вот что увидел Чичагов на

месте переправы: «Ужасное зрелище представилось нам, когда мы 17 ноября пришли на то место... земля была покрыта трупами убитых и замерзших людей... река запружена множеством утонувших пехотинцев, женщин и детей; возле мостов валялись целые эскадроны, которые бросились в реку. Среди этих трупов, возвышавшихся над поверхностью воды, видны были стоявшие, как статуи, окоченелые кавалеристы на лошадях — в том положении, в каком застала их смерть», — цитирую из записок Чичагова...

Крылов в басне «Щука и Кот» вывел адмирала в образе щуки, пожелавшей ловить мышей. Престарелый Гаврила Державин не сдержал своего гнева, выразив то, что думали все русские:

Смоленский князь Кутузов
Предерзостных французов и гнал и бил,
И наконец им гибельну он сеть связал;
Но земноводный генерал
Приполз, — да всю и распустил...

Итак, Наполеон вырвался живым из ловушки на Березине, последствия его спасения были ужасны: война не закончилась в 1812 году его пленением, а потребовала изнурительных побоищ на полях Европы, завершенная только в 1815 году — битвою при Ватерлоо... Вот в чем вся главная суть Березины!

Петербургские остряки тогда говорили:

— Если бы на Березине русскими войсками командовал сам Наполеон, то он непременно взял бы в плен сам себя...

Историк М. Богданович писал: «Вся тяжесть народного негодования за уход Наполеона пала на одного Чичагова, о котором стоустая молва разглашала, будто бы он выпустил бич Европы из западни, устроенной ему дальновидным Кутузовым». Там, на Березине, было немало боевых генералов, но русское общество винило лишь Чичагова, и, пожалуй, один только прямой А.П. Ермолов пытался защитить адмирала, указывая на других виновников Березины. «Чувствую с негодованием, — писал Ермолов, — насколько бессильно оправдание мое...»

Я тоже не верю в измену Чичагова, который якобы сознательно выпустил Наполеона из березинской ловушки; не верю я и в предательство Чичагова, о котором открыто судили-рядили его разгневанные современники. Мне кажется все проще: адмирал не знал законов войны на сухопутье, сам запутался в своих бестолковых распоряжениях, запутал и подчиненных ему генералов, а в трагедии Березины более других повинен сам царь, доверивший командовать армией человеку, способному воевать только в морских просторах...

Теперь начиналось плетение тернового венца!

Оскорбленный подозрениями и не находя способов для своего оправдания, в январе победного 1814 года Павел Васильевич просил у царя полной отставки. Император не согласился с ним, разрешив лишь «бессрочный заграничный отпуск».

— С сохранением адмиральского жалованья, — сказал царь...

За границей Чичагов жил не только жалованьем, но доходами со своих имений в России, получая еще 1825 пенсионных рублей за ордена, которые имел. Вдали от родины адмирал начал свои мемуары. Проживая в Италии, он писал их на итальянском, в Англии продолжил на английском, в Париже писал на французском, а живи он в России, то, наверное, писал бы на русском языке. Начал он издалека — со смерти Петра I, когда родился его отец. Постепенно росла громадная кипа исписанной бумаги со множеством вставок и вклеек в листы рукописи.

Французские издатели, думая, что адмирал станет оправдываться за Березину, просили его мемуары для публикации.

— Я пишу не для вас, — отвечал Чичагов, — и записки мои достойны внимания публики лишь после моей смерти...

Как и отец, он рано начал слепнуть, продолжая писать карандашом по клеточкам — на ощупь. Любимой его дочерью была младшая, Екатерина, обликом напоминая ему покойную жену. Она без любви стала женой лейтенанта французского флота графа де Бузэ, объясняя свой брак таким образом:

— Я не искала личного счастья, надеясь, что моему отцу будет приятно иметь зятем морского офицера...

Но зять постоянно плавал, дома его не видели, а во время отпусков он проводил все ночи на крыше, занимаясь астрономией. Павел Васильевич купил себе в парижском предместье Со небольшой домик, в котором и тянулась его печальная старость. Прошло двадцать лет его «отпуска», и в 1834 году его исключили из службы. В правительственном указе было сказано: «Были и ныне есть примеры, в коих лица, получившие паспорта на отлучку за границу, остаются там на неопределенное время, тем самым дозволенную отлучку произвольно превращая в переселение». Николай I всех таких «эмигрантов», подобных Чичагову, лишил доходов с имений, отнял у них право на получение орденских пенсий.

Можно понять озлобление Чичагова, оставленного в нищете, но зато никак нельзя оправдать его поведение. Обвинив императора в «произволе», он продиктовал дочери ответное письмо: «Чтобы восстановить свои общечеловеческие права, я приписался к нации, умеющей всего более поддержать идею разумной свободы, и принял английское подданство...» Так порвались все его связи с родиной, а впереди — слепота, мрак, одиночество.

Сам несчастный, он сделал несчастной и свою дочь.

— Я тоже несу крест свой, — говорила она, — за... Березину!

10 сентября 1849 года, проживая в Со, адмирал скончался. Но в предсмертной агонии он вспомнил о своих записках:

— Сожги их при мне, пока я жив... сожги, умоляю!

Екатерина Павловна упала перед ним на колени.

— Пощади хоть это, — молила она. — Не требуй от меня жечь то, что должно остаться после тебя... после меня... после этой проклятой Березины... после всех наших несчастий!

Екатерина Павловна была вывезена за границу девочкой восьми лет, но она всю жизнь мечтала вернуться в Россию, всегда с большой гордостью называя себя русской. Потеряв отца, женщина взялась приводить в божеский вид его неряшливые мемуары, переводя заново с итальянского и английского языков на французский, чтобы затем перевести их для русского читателя.

Через пять лет после смерти адмирала Франция вкупе с Англией высадила войска в Крыму — началась осада Севастополя. Наполеон III призвал всех военных присутствовать на благодарственном молебне в соборе Парижской Богоматери, дабы восславить свои победы. В собор обязан был явиться и муж Екатерины Павловны (тогда уже адмирал). Женщине не удалось отговорить его от участия в церемонии, унижительной для ее родины; тогда она взяла все его ордена и спустила их в трубу водопровода.

— Без орденов ты будешь сидеть дома, — сказала она...

Но через год в парижском «Revue contemporaine» вдруг появились отрывки из мемуаров Чичагова. Оказывается, их украл родственник мужа, тоже граф де Бузэ. В разгар Крымской кампании вор напечатал именно те страницы, в которых шла речь о 1812 годе. Это была политическая диверсия против России, и Екатерина Павловна оповестила все редакции газет Парижа, что она протестует против таких безответственных публикаций. Но сиятельный жулик, жаждущий славы, не угомонился.

К своей авантюре он привлек и продажного Эмиля Шале.

— Я останусь в роли адмирала Чичагова, — сказал он, — а ты придашь его мемуарам научный вид, дополнив их цитатами и бранью английских газет. Мы с тобой заварим такой «буй-абесс», что русские им подавятся... Гонорар, конечно, пополам!

Цель фальсификаторов была ясна — опорочить Россию, представить Березину как поражение русской армии и заодно восхвалить военный гений Наполеона. В 1858 году они выпустили в Берлине «Мемуары адмирала Чичагова», к которым адмирал не имел никакого отношения. Книжонка была наполнена вымыслами де Бузэ, который от имени Чичагова надругался над Россией и русским народом, а Эмиль Шале «научно» подтверждал достоверность мемуаров. Берлинское издание разошлось быстро, его тираж сразу повторили в Лейпциге. Конечно, вся эта грязь скоро просочилась через таможи России, и забытое имя Чичагова снова, как в 1812 году, подверглось всеобщему осуждению русских патриотов:

— Нептун несчастный! Мало того что на Березине Наполеона проворонил, так теперь еще измывается над своей отчизной...

Екатерина Павловна пришла в ужас! Но она, уже измученная неудачами в жизни, решила бороться, обратившись в суд Парижа. Современники писали: «Она вышла на защиту чести своего родителя и своей родины перед людьми, враждебно настроенными, и перед судом, склонным враждебно заодно с обвиняемыми (фальсификаторами) над достоинствами ея отечества...»

Этот процесс наделал тогда много шума в Париже!

Дочь адмирала предъявила суду мемуары отца:

— Вот его подлинная рукопись, и вам, господа судьи, дозволяется сверить авторский текст с брошюрой графа де Бузэ и Эмиля Шале, чтобы убедиться, кто клеветал на мою родину. Мой отец был слишком резок в осуждении своих современников, но он никогда не порочил чести России и славы русского народа...

Цитирую далее: «Возмущенная до глубины души и пораженная наглостью графа де Бузэ, она говорила столь увлекательно, так умно и внушительно, что суд Парижа не мог надивиться ея самозащите, решив дело в ее пользу». Судьи вынесли запрет на публикацию фальшивых мемуаров адмирала Чичагова. Но когда Екатерина Павловна услышала аплодисменты публики, граф де Бузэ не скрывал своего торжества:

— Мадам, вы этот процесс выиграли, а я не проиграл его! Подлинные мемуары вашего отца остались в рукописи, а моя книга — после этого суда — обрела еще большую популярность... Мне остается только благодарить вас!..

Этими словами он уничтожил ее. Екатерину Павловну разбил паралич, и до самой смерти своей в августе 1882 года она уже не вставала с постели. Но за год до смерти ее навестили дальний родственник Леонид Михайлович Чичагов, полковник русской артиллерии, и Петр Петрович Каратыгин, сын знаменитого актера. Вот им она и завещала рукопись мемуаров отца...

Так они оказались в руках русского читателя!

В своем рассказе я не хотел порочить адмирала Чичагова, не собирался и оправдывать его, — я старался лишь следовать истине, чтобы напомнить читателю о «Нептуне с Березины», который не удержал Наполеона своим мифическим трезубцем...

Конная артиллерия — марш-марш!

Я скучаю по Артиллерийскому музею в Ленинграде...

В огромных и прохладных залах арсенала всегда торжественная тишина; можно погладить темную паутину на бронзе мортир и гаубиц; теперь пушки молчат, словно греза о прошлом, когда из кратеров их жерл вытрескивались молнии и в батарейных громах, колышущих небеса, зарождались предезостные виктории.

Пламя залпов — оранжевое. Пороховой дым — черный.

Это и есть традиционные цвета российской гвардии.

Существовали два понятия — конная артиллерия и полевая; в обоих случаях орудия тянули лошади, но путать полевую артиллерию с конной никак нельзя. Полевая двигалась вровень с пехотой, а конная неслась на бешеном аллюре кавалерии; полевая нещадно пылила вдоль дорог, а конная летела сломя голову через овраги и буераки, где, кажется, и сам черт ногу сломит!

Мне становилось даже не по себе, когда я рассматривал картины наших баталистов, изображавшие «выезд» гвардейской конной артиллерии. Это какой-то непостижимый ураган орущих всадников и вздыбленных на ухабах лафетов, ощеренных в ржании зубов лошадей и сверкание медных касок — все это в ярости боевого азарта валит напролом, а те, кого выбило из седла, тут же растоптаны и смяты настилом колес, дышел, копыт и осей зарядных ящиков. Что бы ни случилось, все равно не задерживаться — *вперед!*

— Конная артиллерия — марш-марш!

Истории этой артиллерии в России посвящены четыре монографии; одна из них, вышедшая в 1894 году, открывается проникновенными словами: «Доблесть родителей — наследство детей.

Дороже этого наследства нет на земле иных сокровищ... Каждый шаг, каждое деяние защитников Отечества запечатлейте в памяти и сердцах детей ваших от самой их колыбели».

А ведь мы, читатель, совсем забыли о Костенецком!

Помянуть же Василия Григорьевича просто необходимо.

Костенецкий вышел из сытной глуши конотопских хуторов, где на бахчах лопались перезрелые арбузы, а за плетнями хрюкали жирные поросята, где уездные барышни называли яйца «куриными фруктами», а язык мелкопоместных Иван Иванычей и Иван Никифоровичей напоминал язык гоголевских героев; так, запуская пальцы в табакерку соседа, старосветский помещик выспренно произносил:

— Дозвольте оконечностями моих перстов вкрасться в вашу табачную западню, дабы почерпнуть этого благовонного зелья ради возбуждения моего природного юмора...

Выросший в патриархальной простоте, Костенецкий перенял от родителей бесхитростную прямоту характера и отвращение к порокам настолько прочное, что до смерти не соблазнился курением и не осквернил себя ни единой рюмкой вина. Еще мальчиком он уже задевал макушкой потолка в родном доме. Любил Васенька взять быка за рога и валить его наземь, играючись.

— Оставь скотину в покое! — кричала из окошка маменька. — Эвон, ступай лучше на мельницу: поиграй с жерновами...

Отец велел мальчику собираться в Петербург:

— Ну, сынок, скажи нам спасибо, что меду и сала мы на тебя, кровинушку нашу, никогда не жалели, а теперь езжай да покажи свою силушку врагам отечества нашего...

Костенецкий попал на выучку в Инженерный корпус, где сразу выдвинулся в капралы; на правах капрала он волтузил, когда хотел, кадета Лешку Аракчеева («который уже в детстве надоедал всем и каждому») — он бил его, еще не ведая, как высоко вознесет Аракчеева судьба! В восемнадцать лет Костенецкий стал штык-юнкером. Математика и геометрия были его любимыми предметами, а приступ Очакова был первым опытом его славы.

Сиятельный князь Потемкин Таврический единым оком высмотрел в гуще битвы юного героя.

— Сего верзилу, который янычар, будто снопы худые, через плечо швыряет, жалую в подпоручики, — сказал светлейший, зевнув в ладошку, отчего запотели бриллианты в его тяжелых перстнях...

Посадив в лодки казаков, Костенецкий ночью подкрался к турецким кораблям и взял их на abordаж простейшим способом: треснет двух турок лбами и выбросит бездыханных за борт, потом берет за шеи еще двух — треск, всплеск! Так воевать можно без конца — лишь бы врагов хватило... В 1795 году (уже в чине поручика) Василий Григорьевич образовал в Черноморском казачестве пушечную роту, и палила она столь исправно, что слухи о бравом поручике дошли до столицы. Как раз в это время зарождалась конная артиллерия, в которую брали с очень строгим отбором. Костенецкого вызвали в Петербург к фавориту царицы графу Платону Zubову, ведавшему формированием новых войск.

— Ну и вымахал же ты! — сказал Zubов, дивясь его стати. — Таких-то и надобно, чтобы все трепетали...

Костенецкого приодели на гвардейский лад. Красная куртка с бархатным погоном на левом плече, аксельбант в золоте, сапоги гусара — с укороченными голенищами, штаны лосиные, шпоры медные, перчатки с крагами, шарф из черного шелка. Подвели ему коня под малиновым вальтрапом в золотой бахrome, сунул он в кобуры два пистолета. Вот и готов!

Костенецкого прозвали «Василий Великий», а образ жизни его вызывал уже тогда всеобщее удивление. В самые лютейшие морозы комнат он не отапливал, держа окна отворенными настежь, а гостям своим, кои мерзли, говорил:

— Не спорю, что на улице малость прохладненько, но в комнатах у меня тепленько. Я и сам-то, признаться, холодов не люблю...

Ложе его было жестким, одеял и подушек он не признавал, голову во сне подпирал кулаком. Дворники еще с вечера нагребали перед крыльцом сугроб, и Костенецкий, восстав ото сна, нагишом

кидался в снег, купаясь в сугробе, будто плавая в ванне. После пил чай, заваривая его в стакане, а чайные листья съедал — это был его завтрак! Яды не оказывали на его организм никакого действия, и он, чтобы потешить сослуживцев, невозмутимо разгрызал кусок мышьяку, которого вполне хватило бы, чтобы отравить целый полк. Пищу употреблял самую простую — щи с кашей да мясо. Стройный и красивый, Василий Григорьевич чрезвычайно нравился женщинам, и однажды в Красносельском лагере дамы решили над ним подшутить. Небольшой бульжник, имевший грушевидную форму, они столь искусно раскрасили, что камень выглядел аппетитной грушей, только что расставшейся с родимой веткой.

— Это вам от нас, — сказали дамы.

Костенецкий сразу «раскусил» женскую хитрость.

— Ах, какая сочная! — и размял «грушу» в железных пальцах...

XIX век он встретил уже в чине полковника, командуя ротой, в которой у него завелся соратник — фейерверкер Маслов, тоже богатырь, не уступавший в силе своему полковнику. Когда на маневрах лошади не могли вытянуть орудие из болота, Костенецкий с Масловым брались за оси колес и без натуги выносили пушки на сухое место. Что тут удивляться, если даже самый длинный палаш казался игрушечным в могучей длани полковника.

— Не могу же я воевать этой шпилькой! — возмущался он.

Специально для Костенецкого из Оружейной палаты Кремля был выписан гигантский меч — подарок английского короля царю.

1805 год стал годом Аустерлицкой битвы, в которой для Наполеона зажглось нестерпимо яркое «солнце» его победы. Ночь перед боем была напряженной; ездовым лошадям задавали корм прямо в дышлах, а строевых даже не расседывали; строжа уши, кони громко хрумкали сено, голосистым ржаньем отвечая на призывы конницы французского лагеря; вдоль коновязи потрескивали костерками, на которых булькали солдатские чайники.

— Ты от меня не удайся, — наказал Костенецкий Маслову. — Может, даст Бог, и свершим завтрава нечто удивительное...

Битва началась! Когда победа Наполеона сделалась явной, в атаку хлынули русские кавалергарды, и (как писалось об этом уже не раз) поле Аустерлица покрылось белыми колетами павших юношей. В этот трудный для нашей армии день кавалергарды полегли все за смертью, но своим беспримерным мужеством они спасли честь русской гвардии. Зато конной артиллерии пришлось спасать свои пушки... Дело это вошло в историю битвы как дело страшное! Офицеры роты Костенецкого были хватами под стать командиру: Дмитрий Столыпин (дядя поэта Лермонтова) и Николай Сеславин (брат знаменитого партизана) — они, когда французы надели на пушки, обратились к полковнику со словами:

— Погибать — так прикажи, и все костями ляжем...

Отступить было некуда: французская кавалерия обошла их фланги, отсекала им пути отхода, а за кущами виноградных террас мелькали чалмы наполеоновских мамелюков. Из ножен Костенецкого долго выползала, словно длинная змея из глубокой норы, сизо-синяя полоса его небывалого грозного булата.

— На пробой! — возвестил он, прищпорив коня...

В истории Аустерлица записано: «Под ударами огромной сабли Костенецкого, одаренного силой Самсона, французы валились вокруг него, как колосья ржи вокруг мощного жнеца». Он повел роту «на пробой», а за ним двигался Маслов, выдиравший пушки из зарослей винограда. На переправе через Раусницкий ручей, когда казалось, что они уже спасены, Столыпин и Сеславин сообщили полковнику, что четыре орудия все-таки остались в руках мамелюков.

— Четыре! — расвирепел Костенецкий. — Мои пушки, чай, не ведра дырявые, чтобы их врагу оставлять... Эй, Маслов, пошли! А вы нас ждите — без пушек не вернемся!

Как два разъяренных медведя, которых облипала надсадная мошकारа, богатыри гвардии двинулись *обратно*, врезаясь в самую гущу французов. Историк пишет: «При вторичном появлении этих неустрашимых всадников мамелюками овладел животный страх. Сохранилось предание, что Маслов, увидев одного мамелюка,

кинулся на него — и мамелюк... сам вручил Маслову банник*, с помощью которого отважный фейерверкер и начал сносить им головы».

Наполеону было доложено, что в русской артиллерии появились два геркулеса, которые умудрились перебить кучу народа, а сами вместе с пушками вышли из окружения. После Аустерлица император водрузил в Париже Вандомскую колонну, целиком отлитую из трофейных орудий, но в металлическом сплаве этого памятника не было пушечной бронзы батарей Костенецкого... Василий Григорьевич получил в награду орден Георгия, а его фейерверкер Маслов стал кавалером Георгиевского креста, что на всю жизнь избавило его, мужика, от телесных наказаний!

Через два года, при заключении мира в Тильзите, Наполеон расспрашивал Александра I о двух богатырях, отличившихся при Аустерлице, — *кто они*, эти легендарные великаны?

— Да, сир, — отвечал русский император, хитро прищурясь, — в русской провинции очень много людей высокого роста.

Все знают отличного полковника А.П. Ермолова, но мало кому известно, что именно этот генерал с «обликом рассерженного льва» и возглавлял в России конную артиллерию. Алексей Петрович расценивал неудачи в войнах с Наполеоном весьма оптимистически.

— Отколовив нас, — рассуждал Ермолов, — Наполеон оказал нам большую услугу: мы стали скромнее и умнее! Петр Великий воздавал хвалу шведам, бившим его... И мы скажем «мерси» Наполеону!

Наполеон не мог противостоять свирепой мощи русской артиллерии, всегда бывшей лучшей артиллерией мира; недаром же, объезжая поля битв, император велел переворачивать трупы своих «ворчунов» (ветеранов) — все они, как правило, полегли под россыпью гулкой русской картечи...

* Банник — длинный шток, вроде железного стержня, на конце которого «ежик» из проволоки; существует для чистки внутренних каналов орудийных стволов; отсюда и выражение «банить пушки» (то есть чистить их).

Ермолов пришел к выводу:

— Рано мы, господа, откатываем пушки назад, лишая войска нашего пушечного покровительства. Мыслью я так, что артиллерии подобает за лучшее погибать заодно с инфантерией!

Отныне батареям надлежало стоять на позициях как вкопанным — это был новый взгляд на тактику артиллерии, который и выявил героизм пушкарей при Бородине, когда они свято исполнили полученный перед битвой приказ: ЧТОБ РОТЫ НЕ СНИМАЛИСЬ С ПОЗИЦИИ РАНЬШЕ, ПОКА НЕПРИЯТЕЛЬ НЕ СЯДЕТ ВЕРХОМ НА ПУШКИ НАШИ...

В 1812 году Костенецкому выпала нелегкая доля отступить с армией от самых границ до Москвы; он был уже генерал-майором; в густой шапке волос генерала, остриженных «под горшок», как у крестьянского парня, посверкивали первые нити седин. Качаясь в седле, Василий Григорьевич говорил:

— Вот уж никогда не думал, что при моем образе жизни доживу до сорока лет. Может быть, оттого, что слишком громко стреляли пушки, я даже не расслышал тихого полета времени... Знаю, что помру не от болезни — снесут мне голову черти окаянные!

Сражение под Смоленском сделало Костенецкого кавалером ордена Анны. На рассвете 27 августа атакою лейб-егерей началась Бородинская битва; между плотными порядками полков и флешей в карьере выносило батареи артиллерии. Ближе к полудню ратоборство обрело небывалую ярость. Впервые в практике наполеоновских войн маршал Ней (человек большого мужества) лег на землю сам и велел ложиться солдатам, чтобы хоть как-то спастись от огня русской картечи, гранат и ядер. Пелена бурой пыли, поднятой атакою кавалерии Мюрата, скрывала блеск солнца; воины задыхались в кислом пороховом угаре. Сбитые с лафетов пушки вручную оттаскивали назад, ставили на запасные лафеты и снова включали их в концерт канонады. Опытные коноводы, невзирая на визжащие пули, тут же работали шилом и дратвой, наспех починяя разорванную осколком конно-артиллерийскую упряжь.

Умиравшие в этот день говорили живым:

— Завидую счастью вашему — вы еще будете сражаться...

Отступавшая инфантерия часто мешала Костенецкому бить по врагу прямой наводкой; в таких случаях канониры махали своим солдатам шапками, чтобы поскорей расступились, и в промежутки между пехотными колоннами сразу врывались французы.

— Работай, ребята, работай! — прикрикивал Костенецкий.

Как врезали картечью — половина врагов полегла.

— Клади их всех в кучу — одного на другого!

Залп, залп, залп — и вообще никого не стало перед батареями, только дым да стон нависали над polegшей колонной противника.

— Ажно черно да мокро стало, — вспоминали потом канониры...

В два часа дня французы взяли батарею Раевского, и желтая лавина улан двинулась теперь на батареи Костенецкого. С остервенелым бесстрашием, взметывая тучи песку и пыли, уланы вмах рубили клинками прислугу. Костенецкий схватил пушечный банник:

— Ребята, не бойтесь смерти... Смотрите, как надо!

Казалось, воскресли времена былинных героев. Банник, как оглобля, прошелся над головами улан, и человек десять сразу легли под копыта своих лошадей. Еще замах — и образовалась просека во вражьих рядах, вдоль этой просеки и пошел Костенецкий, сокрушая улан направо и налево. Канониры похватили, что было под рукой, и ринулись на защиту своих пушек. В ход пошли банники и пыжовники, тесаки и пальники, кулаки и зубы... Уланы отхлынули!

— А ну всыпь им под хвост, — велел Костенецкий, и звонкая картечь повыбила все задние ряды французской кавалерии...

Наградой ему была золотая шпага «За храбрость» с алмазами на эфесе. Современники пишут, что после Бородина император пожелал видеть Ермолова и Костенецкого.

— Артиллерия работала славно, — сказал он им. — Говорите же, какой теперь награды вы хотели бы лично для себя?

Язвительный Ермолов сказал:

— Ваше величество, сделайте меня... немцем!

Александр I понял намек генерала: засилие немцев на руководящих постах в армии стало уже невыносимо. Он повернулся к Костенецкому — в надежде, что тот язвить не станет:

— Ну а ты, генерал, чего бы хотел от меня?

— Ваше величество, — смиренно отвечал Костенецкий, — прикажите впредь в артиллерии делать банники из железа. А то ведь они деревянные: как трахнешь по каске — сразу пополам трескаются...

Ермолов потом сказал Костенецкому:

— А ведь нам, Базиль, не простят этих шуток...

Не простили! Место Ермолова занял князь Яшвилль, которого Костенецкий терпеть не мог. Но время было не таково, чтобы разбираться с начальством. Париж открылся после битвы при Фер-Шампенуазе; в этой удивительной битве пехота русская даже не успела выстрелить — она лишь утверждала своей поступью победные громы российской артиллерии. Европа рукоплескала русскому воинству, вступившему в Париж, и в памятном манифесте о мире сказано было справедливейше: «Тысяча восемьсот двенадцатый год, тяжкий ранами, приятными в грудь Отечества Нашего для низложения коварных замыслов властолюбивого врага, вознес Россию на верх славы, явил пред лицом вселенныя в величии ея, положил основание свободы народов».

На этом и закончилась боевая карьера Костенецкого!

Пока пушки гремели, при дворе старались не замечать его правды-матки, которую он резал в глаза начальству, невзирая на их чины и титулы. Но вот наступила мирная тишина, пушки, покрытые чехлами, стали тихо дремать в арсеналах, и Костенецкий вдруг оказался неудобен для власть предержащих. К тому же и всесильный граф Аракчеев, достигнув после войны небывалых высот власти, не давал Костенецкому ходу по службе. Однажды при встрече он гнусаво напомнил Василию Григорьевичу:

— Я ведь не забыл, как вы, генерал, меня, сироту горькую, в Корпусе кулаками потчевали. И сейчас, бывало, поплакиваю, дни юности вспоминая, под вашим суровым капральством проведенные...

Один современник отмечал, что Костенецкий был «тверд в своих убеждениях, не умел гнуть спину перед начальством, с трудом переносил подчиненность». Не стало боевых схваток, и конная артиллерия потеряла присущую ей лихость, столь любезную сердцу Костенецкого. А на маневрах бывало и так, что пушки Костенецкого давно умчались за горизонт, а император со свитой, сильно отстав, вынужден догонять их галопом.

— Остановите ж этого безумца! — кричал император. — Или он не понимает, что здесь не война, а только маневры...

Посланный адъютант возвращался с унылым видом:

— Костенецкий сказал, что не вернется.

— Чем же он занят?

— Не смею повторить, ваше величество.

— Я вам повелеваю: повторите.

— Костенецкий сказал, что его бригада не имеет времени шляться по всяким императорским смотрам, занятая служением священного молебна об изгнании из Руси всех татар и немцев.

— Костенецкий зазнался! Надо его проучить...

Командующий 1-й армией, барон Остен-Сакен, решил примирить Костенецкого с Яшвиллем, пригласив их к себе на обед.

— Если вы меня любите, — сказал барон, — то, Василий Григорьевич, должны при мне поцеловаться с князем Яшвиллем.

Костенецкого так и выкинуло из-за стола.

— Да кто вам сказал такую чепуху, будто я люблю вас, барон? Напротив, барон, я ненавижу вас!

Настал черед растеряться командующему армией:

— За что же, милейший, вы меня ненавидите?

— А за то, — рубил Костенецкий, — что вы немец-перец-колбаса, кислая капуста... Терпеть не могу вашего педантизма, формалистики, шагистики и прочих берлинских премудростей.

Я — русский воин, и мне ли подчиняться князьям Яшвиллям и баронам Остен-Сакенам? Ты совсем глупый, если решил, что я твоего татарина целовать стану... Обедайте сами. Ну вас всех к черту!

Костенецкому велели покинуть армию и ехать к себе на хутор. Он приехал домой, а там крестьяне воют от притеснений управляющего.

Василий Григорьевич, забыв о своей нечеловеческой силе, в злости так поддал управляющему, что тот вышиб дверь головой, пролетел метров десять по воздуху и застрял головою в плетне, обрушив с тына целый ряд горшков, сушившихся на солнцепеке.

— Разбитые горшки, — сказал Костенецкий, — купишь в субботу на базаре. А я за твою подлость тратиться на горшки не намерен!

Проживая на вотчинном хуторе Веревка, он вел крестьянскую жизнь: работал на кузнице, косил с мужиками сено, помогал мельнику устанавливать над речкою жернова. Ютился генерал в простой мазанке, над дверями которой повесил свой дворянский герб: пурпурное сердце, вырванное когда-то палачом из груди его предка, пронзенное двумя стрелами... На завалинке сидел он под гербом!

Из списков артиллерии его не вычеркнули. Костенецкий числился как бы в запасе, но Александр I о нем более никогда не вспоминал. Николай I, правда, дал ему чин генерал-лейтенанта, однако продолжал мариновать его на хуторе — подальше от столичных выкрутасов. Лишь в 1831 году Костенецкого срочно вызвали в Петербург, где он получил назначение на пост начальника артиллерии Кавказской армии...

Отъехать на Кавказ не успел — появилась холера.

— Не пейте сырой воды, — внушали ему. — Пейте кипяченую. Не ешьте свежих огурцов, мойтесь уксусом. Курите в комнатах серой.

— Что за чушь! — фыркал Костенецкий. — Дайте мне кусок мышьяку, я сгрызу его — и никакая холера не возьмет меня...

Холера взяла богатыря и скрутила в один день! Василий Григорьевич скончался 31 июля 1831 года. Погребли его на холерном Куликовском кладбище в столице.

Могила его не сохранилась, а дом на хуторе Веревка сгорел, все бумаги и ценная коллекция оружия погибли в пламени.

Женат он никогда не был, записок после себя не оставил, но о нем сохранилось множество анекдотов. А портрет Костенецкого висит в Военной галерее героев 1812 года — в здании нынешнего Эрмитажа: генерал острижен «под горшок», улыбка его застенчивая.

Человек он был очень добрый и артиллерист славный.

В моих ушах звенит его напряженный голос:

— Конная артиллерия — марш-марш!..

И срываются. И пошли. И тогда *страшно...*

Я понимаю: можно самозабвенно любить и пушки. В мемуарах одного русского офицера я встретил такое восклицание: «О артиллерия! О моя прекрасная артиллерия!»

«Мир во что бы то ни стало»

Две старые картины тревожат мое воображение... Первая — верещагинская. «Мир во что бы то ни стало!» — сказал Наполеон поникшему перед ним Лористону, посылая его в тарутинскую ставку Кутузова. Вторая — художника Ульянова, она ближе к нам по времени создания. «Народ осудил бы меня и проклял в потомстве, если я соглашусь на мир с вами», — ответил Кутузов потрясенному Лористону..

Я вот иногда думаю: как много в русской живописи батальных сцен и как мало картин, посвященных дипломатии.

Где они? Может, я их просто не знаю...

Москва догорала. Во дворе Кремля оркестр исполнял «Марш консульской гвардии при Маренго». Наполеон — через узкое окошко кремлевских покоев — равнодушно наблюдал, как на Красной площади его солдаты сооружают для жилья шалаши, собирая их из старинных портретов, награбленных в особняках московской знати.

— Бертье, — позвал он, — я уже многое начинаю забывать...

Кто сочинил этот марш во славу Маренго?

— Господин Фюржо, сир.

— А, вспомнил... Чем занят Коленкур?

— Наверное, пишет любовные письма мадам Канизи...

Арман Коленкур долго был французским послом в Петербурге, и Наполеон убрал его с этого поста, распознав в Коленкуре симпатию к русскому народу. В самый канун войны Коленкура сменил Александр Лористон, который испытывал одну лишь симпатию — лично к нему, к императору. Наполеон сумрачно перелистал сводки погоды в России за последние сорок лет, составленные по его приказу учеными Парижа... Неожиданно обозлился.

— Коленкур много раз пугал меня ужасами русского климата. На самом же деле осень в Москве даже мягче и теплее, чем в Фонтенбло. Правда, я не видел здесь винограда, зато громадные капустные поля вокруг Москвы превосходны.

Бертье слишком хорошо изучил своего повелителя и потому сразу разгадал подоплеку сомнений Наполеона.

— Все равно какая погода и какая капуста, — сказал он. — Мы должны как можно скорее убраться отсюда.

— Куда? — с гневом спросил император.

— Хотя бы в Польшу, сир.

— Га! Не затем же, Бертье, от Москвы остались одни коптящие головешки, чтобы я вернулся в Европу, так и не сумев принудить русских к унижительному для них миру...

Курьерская эстафета между Парижем и Москвою, отлично налаженная, должна была работать идеально, каждые пятнадцать дней, точно в срок доставляя почту — туда и обратно. Но уже возникли досадные перебои: курьеры и обозы пропадали в пути бесследно, перехваченные и разгромленные партизанами. Наконец, император знал обстановку в Испании гораздо лучше, нежели положение в самой России, и не было таких денег, на какие можно было бы оты-

скать среди русских предателя-осведомителя. О положении внутри России император узнавал от союзных дипломатов в Петербурге, но их информация сначала шла в Вену, в Гаагу или Варшаву, откуда потом возвращалась в Москву — на рабочий стол императора...

Барабаны за окном смолкли, оркестр начал бравурный «Коронационный марш Наполеона 1804 года».

— Музыка господина Лезюера, — машинально напомнил Бертье, даже не ожидая вопроса от императора.

— Крикните им в окно, чтобы убирались подальше...

Ночь была проведена беспокойно. Утром Наполеон велел звать к себе маршалов и генералов. Они срочно явились.

— Я, — сказал император, — сделал, кажется, все, чтобы принудить азиатов к миру. Я унизил себя до того, что дважды посылал в Петербург вежливые письма, но ответа не получил... Моя честь не позволяет мне далее сносить подобное унижение. Пусть Кутузов сладко дремлет в Тарутине, а мы спалим остатки Москвы, после чего двинемся на... Петербург! Если мой друг Александр не пожелал заключить мир в покоях Кремля, я заставлю его расписаться в своем бессилии на берегах Невы. Но мои условия мира будут ужасны! Польскую корону я возложу на себя, а для князя Жозефа Понятовского создам Смоленское герцогство. Мы учредим на Висле конфедерацию, подобную Рейнской в Германии. Мы возродим Казанское ханство, а на Дону устроим казачье королевство. Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтобы Европа впредь брезгливо смотрела в сторону востока...

Полководцы молчали. Наполеон сказал:

— Не узнаю вас! Или вам прискучила слава?

Даву ответил, что север его не прельщает:

— Уж лучше тогда свалить всю армию к югу России, где еще есть чем поживиться солдатам и где никак не ждут нас. Я не любитель капусты, которую мы едим с русских огородов.

Ней добавил, что армия Кутузова в Тарутине усиливается:

— Иметь ее в тылу у себя — ждать удара по затылку! Не пора ли уже подумать об отправке госпиталей в Смоленск?

Наполеон мановением руки отпустил их всех.

— А что делает Коленкур? — спросил он Бертье.

— Герцог Виченцкий закупил множество мехов, и сейчас вся его канцелярия подбивает мехом свои мундиры, они шьют шапки из лисиц и рукавицы из волчьих шкур.

— Что-то слишком рано стал мерзнуть Коленкур...

— Коленкур готовится покинуть Москву, дорога впереди трудная, а зима врывается в Россию неожиданно... как бомба!

— Перестаньте, Бертье! Я должен видеть Коленкура...

Коленкур (он же герцог Виченцкий) явился. В битве при Бородине у него погиб брат, и это никак не улучшало настроение дипломата. Мало того, мстительный Наполеон выслал из Парижа мадам Канизи. Теперь император пытался прочесть в лице Коленкура скорбь по случаю гибели брата и тревогу за судьбу любимой женщины. Но лицо опытного политика оставалось бесстрастно.

Наполеон ласково потянул его за мочку уха:

— Будет лучше всего, если я отправлю в Петербург... вас. Я знаю, что русские давно очаровали вас своей любознательностью, вы равнодушны к этой дикой стране, и ваша персона как нельзя лучше подходит для переговоров о мире... Должны же, наконец, русские понять, что я нахожусь внутри их сердца, что я сплю в покоях, где почивали русские цари! Или даже этого им еще мало для доказательства моего могущества?

Арман Коленкур с достоинством поклонился:

— Сир! Когда я был отозван из Петербурга в Париж, я пять часов потратил на то, чтобы доказать вам непобедимость России. Вы привыкли, что любая война кончается для вас в тот момент, как вы въехали на белом коне в столицу поверженного противника. Но Россия — страна особая, и с потерей Москвы русские не сочли себя побежденными...

— Вы отказываетесь, Коленкур, услужить мне?

— Если мы навязали русским эту войну, я не желаю теперь навязать им мир, который они никогда от нас не примут.

— В таком случае, — сказал Наполеон, — я пошлю вместо вас Лористона.

Колленкур удалился, но Лористон, к удивлению императора, высказал те же соображения, что и Колленкур.

— Когда вы успели с ним сговориться? Довольно слов. Вы сейчас отправитесь в Тарутино и вручите Кутузову мое личное послание, и пусть Кутузов обеспечит вам проезд до Петербурга... Мне нужен мир. Мир во что бы то ни стало... любой мир! Речь идет уже не о завоеваниях — дело касается моей чести, а вы, Лористон, войдете в историю как спаситель моей чести...

...Картина «Мир во что бы то ни стало» была завершена В.В. Верещагиным в 1900 году. В этом полотне живописец лишил Наполеона героической позы. Советский историк А.К. Лебедев писал, что «Наполеон для Верещагина не полубог, а жестокий и черствый авантюрист, возглавляющий банду погромщиков и убийц, приносящий неисчислимые бедствия русскому народу...»

Село Тарутино — на старой Калужской дороге — лежало в ста шестидесяти шести верстах от Москвы; именно здесь Кутузов обратился к войскам: «Дети мои, отсюда — ни шагу назад!» Вскоре возник Тарутинский лагерь, куда стекались войска, свозились припасы и полушубки, а тульский завод поставлял в Тарутино две тысячи ружей в неделю. Но подходили новые отряды ополченцев, и оружия не хватало. Здесь можно было видеть деда с рогатиной, которого окружали внуки, вооруженные топорами и вилами. Из села возник военный город с множеством шалашей и землянок. Сюда же, в Тарутино, казаки атамана Платова и партизаны Фигнера сгоняли большие гурты пленных; скоро их стало так много, что П.П. Коновницын (дежурный генерал при ставке Кутузова) даже бранил казаков и ополченцев:

— Куда их столько-то! На один прокорм сих суших бездельников наша казна экие деньги бухает, яко в прорву какую...

Кутузов расположил свою главную квартиру в трех верстах от Тарутина — в безвестной деревушке Леташевке. Именно здесь, в нищенской избе, поселился главнокомандующий, по-стариковски радуясь, что печка в избе большая и не дымит. А генерал Коновницын жил по соседству — в овчарне без окон, лишь землю под собой присыпав соломкою (над овчарней была вывеска: «Тайная канцелярия генерального штаба»). Кутузов готовил армию к боям, терпеливо выжидая, когда Наполеон, как облопавшийся удав, выползет из Москвы с обозами награбленного добра.

Из Петербурга прибыл в Тарутино для связи князь Петр Волконский, и Кутузов гусиным пером указал ему на лавку:

— Ты посиди, князь Петр, я письмо закончу.

— Кому писать изволите?

— Помещице сих мест — Анне Никитичне Нарышкиной...

Было утро 23 сентября 1812 года. Понедельник.

В избу шагнул взволнованный Коновницын:

— На аванпостах появились французы с белыми флагами и просят принять Лористона для свидания с вашей светлостью, а Лористон письмо к вам имеет — от Наполеона...

Сразу же нагрянул сэр Роберт Вильсон, военный атташе Англии; извещенный о прибытии Лористона, он стал высказываться перед Кутузовым в таком духе, что честь и достоинство русской армии не позволяют вести переговоры с противником:

— А герцог Вюртембергский и принц Ольденбургский, ближайшие родственники мудрого государя нашего, и мыслить не смеют о мире с этим корсиканским злодеем.

Кутузов в британской опеке не нуждался:

— Милорд, успокойтесь заботами о чести своей армии, а русская от Вильны до Бородина достоинство воинское сберегла в святости... Избавьте меня и от подозрений своих!

Волконскому он велел ехать на аванпосты, требовать от Лористона письмо императора. Волконский сообразил:

— Лористона вряд ли устроит роль курьера, он обязательно пожелает вручить письмо лично вам... Не так ли?

— Известно, — отвечал Кутузов, — что не ради письма он и появился... А ты, князь Петр, пошли адъютанта своего Нащокина ко мне в Леташевку с запросом, да вели ему ехать потише. Нам каждый день и каждый час задержки Бонапартия в Москве — к нашей выгоде и во вред и ущерб самому Бонапартию...

Волконский все понял. Понял и ускакал.

Кутузов всегда носил сюртучишко, а теперь, ради свидания с Лористоном, решил облачиться в мундир со всеми регалиями. Однако эполеты его успели потускнеть от лесной сырости, золотая канитель их померкла, бахрому кистей даже почернела.

— Петрович! — позвал он Коновницына. — Ты, будь ласков, одолжи мне свои эполеты, они у тебя понарядней...

Потом, выйдя из избы, окруженный встревоженными офицерами, Михаил Илларионович сказал им:

— Господа. Ежели возникнет беседа у вас с Лористоном или его свитой, прошу судачить больше о погоде и танцах-шманцах. А к вечеру весь лагерь пусть распалит костры пожарче, кашу варить сей день с мясом, музыкантам играть веселее, а солдатам петь песни самые игривые... Вот пока и все.

Очевидец вспоминал: «По всему лагерю открылась у нас иллюминация и шумное веселье... мы уже совершенно были уверены, что НАША БЕРЕТ и скоро погоним французов из России!»

Волконский сознательно потомил Лористона на аванпостах, а Нащокин не спешил гнать коня до Леташевки и обратно, почему посланец Наполеона и появился в главной квартире лишь к ночи. Солдатские костры высветили полнеба, в этом зареве было что-то жуткое и зловещее, за лесом играла музыка, в Тарутине солдаты плясали с местными бабами, а среди веселья бродили как неприкайные пленные французы, и они делали вид, что приезд Лористона их уж не касается. Кутузов все продумал заранее, как отличный психолог. На длинной лавке в избе своей он рассадил генералов, меж ними поместил герцога Вюртембергского с принцем Ольденбургским, средь

них пристроил и сэра Вильсона. В маленьком оконце зыбко дрожали отблески бивуачных костров великой российской армии...

— Прошу, — Кутузов указал Лористону место на одном конце стола, а сам уселся с другого конца. — Всех, господа, прошу удалиться, — велел он затем генералам и таким образом избавился от принца с герцогом. Но сэр Вильсон не ушел, согласный сидеть даже за печкой, и тогда Кутузов пожелал ему очень вежливо: — Спокойной ночи, милорд...

В избе остались двое: Лористон и Кутузов. Очевидно, пугающее зарево костров над Тарутином надоумило маркиза завести речь о московском пожаре, и он развил свое богатое красноречие, дабы доказать невинность французов.

— Я уже стар и сед, — отвечал Кутузов, — меня давно знает народ, и посему от народа я извещен обо всем, что было в Москве тогда и что в Москве сей момент, пока мы здесь с вами беседуем... Если пожар Москвы еще можно хоть как-то объяснить небрежностью с огнем, то чем вы оправдаете действия своей артиллерии, которая прямой наводкой разбила самые древние, самые прекрасные здания нашей первопрестольной столицы...

Лористон перевел речь на пленных, благо обмен пленными всегда был удобной предпосылкой для мирных переговоров.

— Никакого размена! — возразил Кутузов резко. — Да и где вы наберете столько русских в своем плену, чтобы менять их на своих французов — один за одного?..

После чего маркиз заговорил о партизанах:

— Мы от этих гверильясов уже натерпелись в Испании! Нельзя же и в России нарушать законные нормы военного права... Нам слишком тягостны варварские поступки ваших крестьян, оснащенных, словно в насмешку, первобытными топорами и вилами.

Ответ фельдмаршала: «Я уверял его (Лористона), что ежели бы я желал переменить образ мыслей в народе, то не мог бы успеть для того, что они войну сию почитают равно как бы нашествия татар, и я не в состоянии переменить их воспитание».

От такого ответа Лористона покорило:

— Наверное, все-таки есть какая-то разница между диким Чингисханом и нашим образованным императором Наполеоном?

Но Кутузов четко закрепил свое мнение:

— Русские никакой разницы меж ними не усматривают...

В крохотное оконце все время заглядывали с улицы офицеры, сиюсь по жестикуляции собеседников определить содержание их речей. Один из таких наблюдателей писал в своих мемуарах, что жесты Кутузова напоминали «упреки, а со стороны Лористона — оправдания, которым он, видимо, желал придать важность».

— Вы не должны думать, — говорил Лористон, — что причиною моего появления служит безнадежность нашего положения. Однако я не отрицаю мирных намерений своего великого императора... Посторонние обстоятельства разорвали нежную дружбу наших дворов после Тильзита, и не пришло ли время восстановить их? Хотя бы, — заключил Лористон, — хотя бы перемирием.

«Вот чего захотели, чтобы убраться из Москвы подобру-поздорову, усыпив нас!..»

Кутузов не замедлил с ответом:

— Меня на пост командующего выдвинул сам народ, и, когда он провожал меня к армии, никто не молил меня о мире, а просили едино лишь о победе над вами... Меня бы прокляло потомство, подай я даже слабый повод к примирению с врагом, и таково мнение не только официального Санкт-Петербурга, но и всего простонародья великороссийского...

Лористон резко поднялся, и в скандале качнулось пламя свечей. А за окном еще польхало зарево костров над Тарутином — жаркое. Нервным жестом он извлек письмо Наполеона:

— Его величество соизволили писать лично вам...

«КНЯЗЬ КУТУЗОВ! Я посылаю к Вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных предметах. Я желал бы, чтобы Ваша Светлость верила тому, что он Вам скажет, и особенно когда выразит Вам чувства уважения и особенного внимания, которые Я издавна к Вам питаю. За сим молю Бога, чтобы он сохранил Вас, князь Кутузов, под своим свящеьным и благим покровом. НАПОЛЕОН».

Ну что ж! И на том спасибо. Кутузов сложил письмо.

— Чтобы передать его мне, можно было прибегнуть к услугам простого курьера.

— Да! — вспыхнул Лористон. — Но мой великий император еще велел просить мне у вас разрешения поехать в Петербург для личных бесед с вашим императором Александром...

Кутузов со вздохом брякнул в колоколец:

— Князя Петра сюда! Живо... — Волконский предстал, что-то наспех дожевывая. — Вот человек, облеченный большим доверием нашего государя императора, и он завтра же отъедет обратно в Петербург, где в точности и доложит о вашем желании...

Время уже наступало Наполеону на пятки, и Кутузов верно расценил беспокойство Лористона, который сказал ему:

— Ради спешности дела мой император согласен пропустить князя Волконского на Петербург через... через Москву!

Волконский тоже был человеком ума тонкого.

— А мы, русские, не спешим, — усмехнулся он. — Думаю, что в объезд Москвы дорога-то моя будет вернее...

Время, время! Лористон истерзал перчатки, комкая их нещадно; уже не скрывая волнения, он спросил напрямик:

— Какое значение может иметь наша беседа?

На колени Кутузова вскочил котенок, и он его гладил.

— А никакого! — был ответ, убийственный для Лористона. — Я не склонен придавать нашей беседе ни военного, ни паче того политического характера. Все подобные разговоры мы станем вести, когда ни одного чужеземца с оружием в руках не обнаружится на нашей священной русской земле...

Лористон сложил руки на эфесе боевой шпаги:

— Не забывайте: наши армии почти равны в силах!

— Я знаю, — откровенно зевнул Кутузов...

За полчаса до полуночи Лористон покинул главную квартиру и вернулся к аванпостам, где его с нетерпением поджидал неаполитанский король — Мюрат...

Лористон сказал ему:

— Коленкур умнее меня — он избежал позора.

— Нам следует подумать и о себе, — отвечал Мюрат. — Слишком много получили мы славы и слишком мало гарантий для будущего.

Горячий и необузданный, Мюрат вскочил на коня, и конь вынес его к бивуакам русским, где возле костра сидел генерал Михаил Милорадович, обгладывая большую жирную куриную ногу.

— Не хватит ли уже испытывать наше терпение? — крикнул ему король. — Выпишите мне подорожную до Неаполя, и я клянусь, что завтра же ноги моей не будет в России.

Галльский юмор требовал ответного — русского.

— Ну, король! — отвечал Милорадович, держа в одной руке бокал, а в другой курицу. — С подорожной до Неаполя вы обращайтесь к тому, кто подписал вам подорожную до Москвы...

Мюрат занимал позицию в авангарде армии.

— Мой родственник, — говорил о нем Наполеон, — это гений в седле и олух на земле. Он теперь повадился навещать русские аванпосты, где казаки дурят ему голову похабными анекдотами и выпивкой. Боюсь, что русские не такие уж наивные люди, как ему кажется, и они просто водят короля за нос...

В ожидании Лористона император не спал, проведя ночь в беседах с генералом Пьером Дарю. Обретя небывалую откровенность, Наполеон раскрыл перед ним свои последние козыри:

— Еще не все потеряно, Дарю! Я еще способен ударить по Кутузову, отбросить его в леса от Тарутинского лагеря, после чего форсированным маршем проскочу до Смоленска.

Дарю тоже был предельно откровенен:

— Едва вы стронете армию из-под Москвы, все солдаты пойдут не за вами, а побегут прямо домой, нагруженные гигантской добычей, чтобы как можно скорее торговать и спекулировать плодами своего московского мародерства...

— Так что же нам делать, Дарю?

— Остаться здесь, в Москве, которую следует превратить в крепость, и в Москве ожидать весны и подкреплений из Франции.

— Это совет л ь в а! — отвечал Наполеон. — Но... что скажет Париж? Франция в мое отсутствие потеряет голову, а союзные нам Австрия и Пруссия начнут смотреть в сторону Англии... Ваш совет, Дарю, очень опасен... хотя бы для меня!

Сосредоточенный, он выслушал доклад Лористона о посещении им ставки Кутузова. Прямо в открытую рану Наполеона Коленкур безжалостно плеснул свою дозу яда:

— И как велико желание вашего величества к миру, так теперь велико желание русских победить вас.

Наполеон схватил Коленкура за ухо — больно:

— По возвращении из Петербурга — да! — вы пять часов подряд уговаривали меня не тревожить Россию. Я бы осыпал вас золотом, Коленкур, если бы вы сумели отговорить меня от этого несчастного похода. А теперь? Если уйти, то... как уйти? Европа сразу ощутит мою слабость. Начнутся войны, каких еще не знала история. Москва для меня — не военная, а политическая позиция. На войне еще можно отступить, а в политике... никогда!

Он резко, всем корпусом, повернулся к Бертье:

— Пишите приказ: дальше Смоленска не тащить к Москве пушки и припасы. Теперь это бессмысленно. У нас передохли лошади, и нам не вытащить отсюда все то, что мы имеем.

Наполеон пробыл в Москве всего тридцать четыре дня. В день, когда он проводил смотр войскам маршала Нея, дворы Кремля огласились криками, послышался отдаленный гул. Все заметили тревогу в лице императора, он окликнул своего верного паладина:

— Бертье, вы объясните мне, что это значит?

— Кажется, Милорадович налетел на Мюрата... Кутузов от Тарутинского лагеря нанес удар! Тридцать восемь пушек уже оставлены русским. Мюрат отходит. Его кавалерия едва таскает ноги, а казачьи лошади свежей. Наши французы забегали по лесам как зайцы.

— Теперь все ясно, — сказал Наполеон. — Нам следует уходить из Москвы сразу же, пока русские не загородили коммуникации до Смоленска... Однако не странно ли вам, Бертье: здесь все принимают меня за генерала, забывая о том, что я ведь еще и император!

Покидая Москву, он произнес зловещие слова:

— Я ухожу, и горе тем, кто станет на моем пути...

Иначе мыслил Коленкур, шепнувший Лористону:

— Вот и начинается с т р а ш н ы й с у д и с т о р и и...

Анне Никитичне Нарышкиной, владелице села Тарутино, фельдмаршал Кутузов, князь Смоленский, писал тогда, что со временем название этого русского села будет памятно в российской истории наряду с именем Полтавы, и потому он слезно просил помещицу не разрушать фортеций оборонительных — как память о грозном 1812 годе:

«Пускай уж время, а не рука человеческая их уничтожит!» — заклинал Кутузов...

Вторую картину — «Лористон в ставке Кутузова» — наш замечательный мастер живописи Н.П. Ульянов создал в тяжкие годы Великой Отечественной войны, когда враги вновь потревожили историческую тишину Бородинского поля. Его картина «Лористон в ставке Кутузова» служила грозным предупреждением захватчикам, которых в конечном счете ожидал такой же карающий позор и такое же беспощадное унижение, какие выпали на долю зарвавшегося Наполеона и его надменных приспешников...

Очень хотелось мне сказать больше того, что я сказал. Но я, кажется, сказал самое главное, и этого пока достаточно.

Воин, метеору подобный

Зимой 1792 года подполковник Иван Лазарев пробирался с адъютантом из Киева на Кавказ.

Где-то за Конотопом возок его закружило, завихрило в пропавшей степной метели. Кони, встав против ветра, вздрагивали острыми ушами, и ямщик опустил вожжи:

— Пути не стало... Кружат, ваше сясество.

Заржал коренник. Вокруг одинокой кошевки замелькали огни волчьих несытых глаз. Лазарев из-под сиденья достал футляр с пистолетами. Ругаясь, совал в них круглые промерзлые пули.

— Бей тоже! — кричал адъютанту.

Кони рванули — прямо в буран. А рядом мчались волчьи глаза, рык звериный ужасал душу. В овраге лошади встали, тяжело дыша. Ни следа дороги — безлюдье. Путники закутались в овчины, прижались друг к другу. Если смерть, то сладкая — во сне. И в этот сон вошел вдруг далекий отзвук благовеста церковного. Лазарев отряхнул с себя снег, скинул башлык:

— Иль чудится! Эй, ямщик, не окошел еще? Проснись...

На гул колоколов кони рвали сугробы грудью. Скоро из вихрей метели показались плетень и крайняя хата. Священник селения был разбужен грохотом — в сенях Лазарев опрокинул ведра, ввалился в убогую хату пастыря, весь в запуржанном меху.

— Ну, отец, Бог миловал... Ром у нас есть, а чаю дашь ли нам?

Всю ночь гремел над степью неустанный набат, суля путникам надежду на спасение. Под утро разом стихла метель, замолк и колокол, а в хату вошел отрок-бурсак. С порога чинно раскланялся.

— Се чадо мое, — сказал священник. — Ныне риторику с гомилетикой в бурсе познает. Не журишь, Петро, скажи стих гостям!

Лазарев обнял мальчика, целуя его в холодные с мороза щеки:

— Ты благовестил ночью на колокольне? Так ведай, что спас жизнь мою для дел нужных. И верь — я тебя не забуду...

Он записал имя бурсацкое — Петр Степанов, сын пастыря Котляревского из села Ольховатки, порожден в 1782 году, — после чего Лазарев отъехал благополучно, и о нем забыли. Но Лазарев не забыл мальчика... Совсем неожиданно в Ольховатку явился пожилой курьер с грозным пакетом от начальства:

— Петр Котляревский... произрастает ли здесь такой? Велено его на Капказ везти. Чего плачешь, батюшка? И полета лет не мнует, как вернется сынок уже хенералом с пенсией... Поехали!

Мальчика привезли в Моздок, и Лазарев подвел его к шкафу с книгами. Бурсацкую ученость заменили теперь деяния полко-

водцев прошлого. Котляревский был зачислен в пехоту рядовым солдатом, и отрок послушно вскинул на плечо тяжеленное ружье. Четырнадцать лет от роду, бредя Ганнибалом, он уже понюхал пороха в Персидском походе.

19 апреля 1803 года вдова грузинского царя Мария вызвала Лазарева к себе. Генерал явился во дворец с тифлисским комендантом — князем Саакадзе. Царица сидела на тахте, по бокам от нее стояли царевичи. Лазарев приблизился к женщине, и она, выхватив кинжал, пронзила его насмерть. Саакадзе кинулся к царице.

Убиваемый кинжалами царевичей, комендант Тифлиса кричал иступленно:

— Царица! Кто затемнил разум тебе? Не губи дружбы с Россией! Или снова желаешь Грузии нашей быть в крови и во прахе?..

Так Котляревский лишился своего покровителя. Одиноким солдат еще не знал, что его ждет громкая судьба, а в историю военной славы России он войдет как *генерал-метеор*.

В 1795 году пришел из Персии с войском зловредный евнух Баба-хан; воины его победили воинов Грузии, Баба-хан вторгся в Тифлис, сел на высокой горе Сололаке, и с вершины ее глядел зверь, как пламень лился по улицам, как в муках жесточайших пыток погибало население... Не было согласия в тысячелетней династии Багратидов, оттого и ужасали Грузию бедствия. Но когда однажды явились послы Персии в Тифлис, царь принял их, стоя под портретом русского императора Павла, и сказал царь персам слова вещие и зловещие:

— Отныне и во веки веков отсылайте послов своих в Петербург, ибо царство Грузинское кончилось, земля наша стала подвластна великой Руси, а грузины с русскими — отныне братья!

Кровь, пролитая Баба-ханом, была кровью последней: Тифлис вступил в эру благополучия и спокойствия. Но зато не было теперь передыха для солдат русских, реками проливали они кровь за народ

грузинский, война с персами тянулась много-много лет, и в этих-то войнах и прославил себя Котляревский...

Впервые был ранен в чине штабс-капитанском при штурме Ганжи; тогда ему было двадцать лет, но слава еще не пришла к нему. Она коснулась чела его в ранге уже майорском. Многотысячная армия персов, во главе с Аббас-мирзою, ринулась в пределы Карабаха. Котляревский вел батальон егерей, когда Аббас-мирза насел на него всей армией. Герои заняли горушку кладбища, укрываясь за плитами мусульманских могил. Вспыхнула битва — непохожая на все: батальон против целой армии! К утру не стало половины солдат, сам Котляревский был ранен, и Аббас замкнул их в жестокой осаде.

— Подождем, — сказал принц, — пока они сами не сдохнут...

150 человек стояли против 40 000 персов. Легендарно! Ночью Котляревский отдал приказ:

— Ребята! Землю над могилами павших сровняйте, чтобы не надругался враг над товарищами нашими. Колеса пушечные обмотайте шинелями. Поход будет страшен и... поцелуемся!

Все перецеловались. Легенда продолжалась: бесшумные, как барсы, егеря из кольца осады устремились в сторону Шах-Булахского замка. Котляревский решил взять эту крепость, чтобы засесть в ней, иначе в голом поле их перебьют. Они уже подходили к замку, когда Аббас-мирза поднял свою армию по тревоге — в погоню.

— Пушки вперед! — призвал Котляревский к штурму.

Шарахнули ядрами по воротам замка, и они сорвались с петель. Выбили оттуда гарнизон и сами там сели. Закрылись. Двух лошадей егеря съели в осаде, потом рвали на дворе сухую траву...

Аббас-мирза прислал к Котляревскому парламентаря:

— О львы, кормящиеся травой! Наш принц Аббас предлагает вам всем высокое положение и богатство на службе персидской. Сдайтесь, и обещание это да будет свято именем светлейшего шаха.

— Четыре дня, — отвечал Котляревский, — и дадим ответ...

Стихли выстрелы. А невдалеке, среди неприступных гор, стояла еще одна крепость — Мухрат. Вот если бы проскочить туда! Срок перемирия подходил к концу, Котляревский поднялся на башню.

— Мы согласны сдаться! — прокричал он. — Но завтра утром.

Всю ночь в лагере Аббас-мирзы шло ликование. Котляревский слово сдержал: утром персы вошли в крепость, но она была уже пуста — русские тихо ушли. Аббас-мирза настиг их в пяти верстах от Мухрата. На горных тропах началась жестокая битва. Персы скопом лезли на пушки, егеря пушек им не отдавали. Батальон шел к замку «на пробой»! И вдруг — ров, дальше не пройти. Тогда егеря стали ложиться в ров, заполняя его своими телами. «Идите!» — кричали они. И по живым телам прошел батальон и протасил даже пушки. Двое встали изо рва (остальных задавили). Затворясь в Мухрате, еще восемь суток держались они в осаде, пока из Тифлиса не подошла подмога. Знамена кавказских полков, овеянные славой, склонились до земли перед таким героизмом...

А потом Котляревский отличился при Мигри. Опять у него под командой батальон, а против него — целая армия. «Пройдем!» — решил Котляревский и штурмом взял неприступную крепость со стороны самой неприступной. Аббас-мирза в гневе велел изменить русло реки, чтобы отвести воду от русского гарнизона. «Надо разбить Аббаску!» И Котляревский дерзко вывел своих воинов из крепости в чистое поле. Батальон дал сражение армии. Не превосходством, а лишь искусством воинским совершенно разбил ее. Враги в ужасе толпами кидались в Аракс, так запрудив его телами, что река вышла из берегов... Опять легенда!

— В чем секрет ваших побед? — спрашивали Котляревского.

— Обдумываю холодно, а действую горячо...

1812 год застал его в ранге генерал-майорском, и уже тогда его все знали как «генерала-метеора»!

Вдали от грома Бородина оказалась под угрозой полного разгрома вся наша кавказская армия. Принц Аббас-мирза грозил России из-за Аракса несметными полчищами. Наполеон советовал ему требовать от русских обратно всю Грузию, а войскам русским

отойти прочь — аж за Терек! Командирами персидских полков были англичане... В эти дни Котляревского вызвал к себе главным-командующий на Кавказе — старик генерал Ртищев:

— Москву-то, батенька, мы отдали французам. Дела худы. Придется и Грузию оставлять Аббаске. Знаю, что ребята твои захватские: режь любого — кровь даже не капнет! Но сейчас вы хвосты подожмите. Иначе отколотят вас за милую душу...

Имеет ли воин право нарушать приказ главного командования?

Очевидно, да! Котляревский самовольно, *нарушив приказ*, открыл войну, переступив за Аракс, и вторгся в пределы персидские. Смерть или победа! Первую битву он начал при Асландузе — на пенистых бродах через Аракс. Была поздняя осень, быстро холодало, а силы Аббас-мирзы в десять раз превышали силы Котляревского: на одного русского воина — по десятку врагов...

Персидские историки пишут:

«Сам принц Аббас-мирза бросился к батарее, чтобы возбудить в воинах мужество. Подобрав за пояс полы своего халата, он собственноручно сделал выстрел из пушки и этим помрачил весь свет Божий. Но иранские воины почли за лучшее отступить для отдохновения на другую позицию, а ночью свирепо-грозный Котляревский обрушил на них вторичное нападение».

Перед второй атакой Котляревский обратился к солдатам:

— Воину умирать не начальник, а само отечество повелевает. Врагов очень много, а... когда их было у нас мало? Помните: за нами — Тифлис, за нами — Москва, за нами — Россия!

Персидские историки пишут:

«В эту мрачную ночь, когда принц Аббас-мирза хотел сделать сердца своих воинов пылками к отражению Котляревского, лошадь принца споткнулась, отчего его высочество принц Аббас-мирза изволил с очень большим достоинством перенести свое высокое благородство из седла в глубокую яму...»

Армия персов рассеялась в бегстве, сразу перестав существовать. Победа Котляревского была полной! Но с берегов Аракса он обратил свои взоры на побережье Каспия: крепость Ленкорань — вот главная опора персидского могущества в Азербайджане. Ленкорань — ключ от всех шахских владений. Зима была морозная, а перед Котляревским лежало бездорожье безводных степей Муганских; «генерал-метеор» резко запахнул на себе плащ.

— Пошли! — сказал, и за ним качнулись штыки ветеранов...

26 декабря они увидели Ленкорань: в каменной кладке высилась грозная цитадель, поверху которой торчали зубцы стен, с высоты взирали на пришельцев жерла орудий. Сначала Котляревский послал парламентаря, предлагая гарнизону сдаться без крови.

Садык-хан, комендант цитадели, отвечал в гордости:

— Несчастье принца Аббаса не послужит для нас примером. Великий аллах лучше всех знает, кому принадлежит Ленкорань...

Ну что ж, придется отнимать Ленкорань у самого аллаха! Котляревский провел ночь у костра. Он размышлял. И отдал приказ к штурму — наикратчайший: *«Отступления не будет»*. На рассвете войска его спустились в ров, полезли на стены. Персы сбросили их вниз, все офицеры были убиты сразу. Враги кидали на русских горящие свертки бурок, пропитанные нефтью. Котляревский обнажил золотую шпагу, на которой славянской вязью были начертаны слова:

За храбрость.

— А теперь идти мне! — сказал он. — Пусть я погибну, но потомство возвеселится рвением к славе своих предшественников.

Риторика и гомилетика — он их не забыл и выражался витиевато. Солдаты увидели Котляревского впереди штурмующих...

Персидские историки пишут:

«Бой в Ленкорани был так горяч, что мышцы рук от взмахов и опускания меча, а пальцы от непрерывного взвода курков в продолжение шести часов сряду были лишены всякой возможности насладить себя собиранием сладких зерен отдохновения...»

Из гарнизона Ленкорани в живых остался лишь один перс.

— Иди домой, — сказали ему победители. — Иди и расскажи всем, как мы, русские, города берем. Иди, иди! Мы тебя не тронем...

Нешадно коптя, догорали нефтяные факелы бурок. Роясь в завалах мертвецов, раны которых дымились на морозном воздухе, солдаты нашли и тело Котляревского. Нога его была раздроблена, в голове засели две пули, лицо перекосилось от удара саблей, правый глаз вытек, а из уха торчали разбитые черепные кости.

— Вот и сподобился, — закрестились над ним солдаты.

Котляревский приоткрыл уцелевший глаз:

— Я умер, но я все слышу и уже извещен о победе нашей...

Двумя ударами он выбил Персию из войны, и Персия поспешно заключила мир в Гюлистане, уступая России все Закавказье, и больше уже не зарилась на Дагестан и Грузию.

В Тифлисе к ложу Котляревского подсел старик Ртищев и сказал:

— Нарушил ты приказ мой, но... хорошо нарушил! За битву на Араксе — генерал-лейтенанта тебе. А за взятие Ленкорани жалую в кавалеры георгиевские... Попробуй выжить. Мужайся!

И никто не услышал от него ни единого стога.

— Воину жаловаться на боль не пристало, — говорил он...

Мирные звезды дрожали в украинском небе, будто крупной солью был посыпан каравай черного хлеба.

Старый священник из села Ольховатки был разбужен среди ночи скрипом колес и звоном оружия. Он открыл дверь хаты, и два гренадера ввели под руки седого, израненного генерала в орденах. Одним глазом он смотрел на священника, и этот глаз источал слезу радости:

— Вот и вернулся сын ваш — генералом с пенсионом. И не ждали вы его, батюшка, полета лет... Скорее я возвратился!

«Генерал-метеор» сел на скрипнувшую лавку, на которой играл когда-то в детстве. Оглядел родную печь. Мальчиком увезли его отсюда, и стал он солдатом. За тринадцать лет битв прошел путь до генерал-лейтенанта. Ни разу (ни разу!) не встретил Котляревский

противника, равного ему по силам: всегда врагов было больше. И ни разу (ни разу!) он не знал поражений...

Котляревского вызвали в Петербург. Во дворце Зимнем почти затерялся «генерал-метеор» в блистательной свите. Отворились белые двери, все в золоте. Александр I приставил лорнетку к безбровому глазу. Точно определил, кто здесь Котляревский, и увел его в свой кабинет. А там, наедине, император сказал:

— Здесь нас никто не слышит, и ты можешь быть со мною вполне откровенен. Тебе всего тридцать пять лет. Скажи, кто помог тебе сделать карьеру, столь быструю? Назови покровителя своего.

— Ваше величество, — в растерянности отвечал Котляревский, — мои покровители — едино те солдаты, коими имел честь я командовать. Их мужеству я обязан своей карьерой!

Император слегка откачнулся от него в недоверии:

— Прямой ты воин, а честно ответить мне не пожелал. Покровителя своего утаил. Не пожелал открыть его предо мною...

Из кабинета царя Котляревский вышел как оплеванный. Его подозревали, будто не кровью, а сильною рукой в «верхах» сделал он свою карьеру — скорую, как полет метеора. Боль этой обиды была столь невыносима, что Петр Степанович тут же подал в отставку... Полный инвалид, он думал, что скоро умрет, а потому заказал себе печать, на которой был изображен скелет при сабле и с орденами Котляревского среди голых ребер.

Он не умер, а прожил еще тридцать девять лет в отставке, угрюмо и молчаливо страдая. Это была не жизнь, а сплошная нечеловеческая пытка. О нем писали тогда в таких выражениях:

«Ура — Котляревский! Ты обратился в драгоценный мешок, в котором хранятся в щепы избитые, геройские твои кости...»

Тридцать девять лет человек жил только одним — болью! Денно и ночью он испытывал только боль, боль, боль... Она заполонила его всего, эта боль, и уже не отпускала. Он не знал иных

чувств, кроме этой боли. При этом еще много читал, вел обширную переписку и хозяйство. У Котляревского была одна черта: он не признавал мостов, дорог и тропинок, всегда напрямик следуя к цели. Реки переходил вброд, продирался через кусты, не искал обхода глубоких оврагов... Для него это очень характерно!

В 1826 году Николай I присвоил Котляревскому чин генерала от инфантерии и просил его взять на себя командование армией в войне с Турцией. «Уверен, — писал император, — что одного лишь Имени Вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска...»

Котляревский от командования отказался:

— Увы, я уже не в силах... Мешок с костями!

Последний подвиг жизни Котляревского приходился как раз на 1812 год, когда внимание всей России было сосредоточено на героях Бородина, Малоярославца, Березины... Героизм русских воинов при Асландузе и Ленкорани остался почти незамеченным.

Петр Степанович по этому случаю говорил так:

— Кровь русская, пролитая на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая на берегах Москвы или Сены, а пули галлов и персов причиняют воинам одинаковые страдания. Подвиги во славу Отечества должны оцениваться по их достоинствам, а не по географической карте...

Последние годы он провел близ Феодосии, где на голом солончаке пустынного берега купил себе неуютный дом. Пусто было в его комнатах. Получая очень большую пенсию, Котляревский жил бедняком, ибо не забывал о таких же инвалидах, как и он сам, — о своих героях-солдатах, которые получали пенсию от него лично.

Гостям Котляревский показывал шкатулку, тряся ее в руках, а внутри что-то сухо и громко стучало.

— Здесь стучат сорок костей вашего «генерала-метеора»!

Петр Степанович умер в 1852 году, и в кошельке его не нашлось даже рубля на погребение. Котляревского закопали в саду возле дома, и этот сад, возвращенный им на солончаке, в год его смерти уже давал тень... Еще при жизни его князь М.С. Воронцов, большой

почитатель Котляревского, поставил ему памятник в Ганже — на том самом месте, где «генерал-метеор» в юности пролил свою первую кровь. Знаменитый маринист И.К. Айвазовский, уроженец Феодосии, был также поклонником Котляревского. Он собрал по подписке 3000 рублей, к которым добавил своих 8000 рублей, и на эти деньги решил увековечить память героя мавзолеем-часовней. Мавзолей этот, по плану Айвазовского, был скорее музеем города. Из усыпальницы Котляревского посетитель попадал в зал музея, вход в который стерегли два древних грифона, поднятых водолазами со дна моря. Мавзолей Котляревского был построен художником на высокой горе, с которой открываются морские просторы и видна вся Феодосия. Вокруг мавзолея-музея стараниями горожан был разбит тенистый парк...

Музей Айвазовский создал, но смерть помешала художнику исполнить замысел до конца: прах Котляревского так и остался лежать в саду, который он сам посадил.

О Котляревский! Вечной славой
Ты озарил кавказский штык.
Помянем путь его кровавый —
Его полков победный клик...

Как мало я сказал о нем!

Восемнадцать штыковых ран

Смею заверить вас, что Александр Карлович Жерве был очень веселый человек. Поручик лейб-гвардии славного Финляндского полка (а сам он из уроженцев Выборга), Жерве слыл отчаянным шутником, талантливо прикидываясь глупеньким, пьяным или без памяти влюбленным. Жерве был склонен к шутовству даже в тех случаях, когда другим было не до смеха. Так, например, когда его невеста Лиза Писемская уже наряжалась, готовая ехать в церковь для венчания, Жерве был внесен с улицы мертвецки пьяным и

водружен у порога, как скорбный символ несчастного будущего. Лиза в слезах, родня в столах, а жених только мычит. Дворника одарили рублем, чтобы выносил жениха на улицу, ибо свадьбе с таким пьяницей не бывать, но тут Жерве вскочил, совершенно трезвый, заверяя публику:

— Бог с вами! Да я только пошутил.

Отец невесты, важный статский советник, сказал:

— Не женить бы тебя, а драть за такие шуточки...

С тех пор прошло много-много лет. Жерве превратился в старого брюзгливого генерала, и ему, обремененному долгами и болезнями, было уже не до шуток. Однако, читатель, было замечено, что, посещая храмы Божии в дни будние или табельные, генерал не забывал помянуть «раба Божия Леонтия», по этому же Леонтию он заказывал иногда панихиды. Это стало для него столь привычно, а сам Александр Карлович так сроднился с этим «Леонтием», что священник, хорошо знавший его семейство, однажды спросил вполне резонно:

— А разве в роду дворян Жерве были когда Леонтий?

— Нет, не было, — отвечал старик почти сердито. — Но и меня не было бы на свете, если б не этот Леонтий по прозвищу Коренной, который в лютейшей битве при Лейпциге воспринял от недругов сразу ВОСЕМНАДЦАТЬ штыковых ран, чтобы спасти всех нас, грешных, от гибели неминучей...

Наверное, он не раз слышал, как распевали солдаты в строю:

Сам Бонапарт его прославил,
приказ по армии послал,
в пример всем русского поставил,
чтоб Коренного всякой знал...

Но в том-то и дело, что у нас «всякой» его не знает.

Эту миниатюру я посвящаю военным людям, и думается, что читателю, далекому от дел батальных, она покажется скучноватой.

Сразу же предвещаю: было время наполеоновских войн, а в ту пору каждый выстрел по врагу давался нашему солдату не так-то легко. В одну минуту он мог выстрелить не более двух раз — при условии, что вояка он опытный, дело свое знающий.

Заряжение ружья проводилось строго по пунктам:
из сумки за спиной достань бумажный патрон,
зубами откуси верхушку гильзы,
возьми пулю в рот и держи ее в зубах,
пока из гильзы сыпешь порох в дуло ружья,
остаток пороха сыпь на «полку» сбоку ружья,
тут же «полку» закрой, чтобы не просыпался порох,
теперь клади в ствол ружья и пулю,
хватай в руки шомпол,
как можно туже забивай пулю шомполом в дуло,
туда же пихай и бумажный пыж (оболочку от гильзы),
убери шомпол, чтобы он тебе не мешал,
избери для себя врага, самого лютого,
начинай в него целиться,
а теперь *стреляй*, черт тебя побери!

Конечно, при таких сложностях стрелять в бою приходилось мало, и потому особенно ценился штыковой удар...

Служили тогда солдаты по 25 лет кряду, так что под конец службы забывалась родня. Зато казарма становилась для них родной горницей, однополчане заменяли отцов, сватьев, братьев и кумовей. Почему, вы думаете, в России так много было домов для инвалидов и богаделен? Да потому, что многие солдаты, отбарабанив срок, уже не возвращались в деревни, где о них давно позабыли, а пристраивались в банщики или дворники, но большинство оседали в солдатских приютах, даже в старости не разлучаясь с казарменным обществом.

Странно? А я не вижу в этом ничего странного...

Леонтий Коренной служил в гарнизоне Кронштадта.

И тоже не верил, что его станут дожидаться в деревне, поглядывая из-под руки на дорогу. Потому не стал охать да ахать, слезы горячие проливая, а женился на молодой Прасковье, что

по бабушке звалась Егоровной. Правда, свадьбу сыграл не сразу, а когда перевалило ему за сорок и пошло на пятый десяток. Другим же солдатам, которые помоложе, хоть они тут извоися, жен заводить не дозволялось — еще не заслужили.

Ладно. Дело прошлое. Стал наш Леонтий Коренной жить полюдски, и когда холостяки разбрелись по трактирам, Леонтий бодрым шагом, салютуя прохожим офицерам, шагал прямо к Парашке, никуда теперь не сворачивая. А уж она его не обижала: тут тебе и щи домашние, и кот на лежанке песни поет, мурлыча о кошках, и огурчик соленый приготовлен — на закуску.

— А как же иначе? — рассуждал Коренной. — На то самое человеки разные бабами и обзаводятся... Тебе же, Егоровна, прямо скажу, и цены нет в базарный день. Ублажила!

— Да и ты, Левонтий, не в дровах найденный, — говорила в ответ ему женушка. — Я как-никак тоже глядела, чтобы не обмишуриться. Мне штучих не надобно. Мне подавай солидного, чтобы с бакенбардами. Вот и сподобилась, слава те Господи...

Но вот грянул 1807 год, год беспримерной битвы у Прейсиш-Эйлау, который у нас забывают по той причине, что привыкли помянуть сразу 1812 год. Однако, читатель, еще Аустерлиц аукнулся в Питере нехваткой солдат, и тогда заслуженных ветеранов, что были поздоровее, стали переводить в гренадерские роты. А такому молодцу, каков Коренной, сам Бог велел служить в гренадерах. Ростом вышел горазд исправен, никаких хвороб не имел, вот и перевели его в лейб-гвардии Финляндский полк.

Этот полк, раньше и позже, был славен талантами офицеров: в музыке — композитор Титов, знаменитый «дедушка русского романса», в литературе — два писателя, Марин и Дружинин, а в живописи — ну кто же не знает Федотова? Строгостей в полку было много, но мордобоем офицеры не грешили, отношения у них с солдатами были согласные. А таких старослуживых, как Коренной, набралось в полку человек пять — все с женами, и жены солдатские не мотались по углам с узлами, а законно селились под-

ле казарм, и даже не без корысти — офицерам бельишко стирали, иные на огородах копались, коз разводили...

Коренного в полку называли уважительно «дядей».

— Дядя Леонтий, — просили его молодые солдаты, — ты нам расскажи сказку какую ни на есть, чтобы мы не скучали.

— Вам бы, дуракам, только сказки слушать да горло драть, а нет того, чтобы поразмыслить о чем-либо возвышенном...

А за «возвышенным» далеко ходить было не надо!

Уже в 1811 году пошли тихие шепоты: мол, зловредный Бонапартый вроде притих, а на самом-то деле он в Париже клыки свои вострит, мошну поднакопил да собирает войско несметное, чтобы Россию тревожить. Это не выдумка! Именно за год до нашествия Россия уже была встревожена подобными слухами. И большой войны русские люди ожидали — уже тогда. Наполеон, как известно, напал только летом, а весной русская армия выдвигалась на пограничные рубежи, дабы отразить нападение.

— Ну, Параня, — сообщил Коренной супруге, — кажись, дело к тому идет, что ты у меня, как барыня, паспорт получишь...

А тогда был такой порядок: солдатские жены жили при мужьях и никто у них паспорта не спрашивал. Но, коли объявлялся поход, женам на все время мужней отлучки выдавались паспорта от полковой канцелярии. Получила его и Парасковья Егоровна, а люди грамотные прочитали ей вслух, чтобы впредь баба знала — кто она такая и каково она выглядит:

«Объявительница сего, Лейб-Гвардии Финляндского полка Гренадера Леонтия Кореннова жена, Параскева Егорова, уволенная с согласия мужа ея для прокормления себя работою в С.-Петербурге, при метами она: росту средняго, лицом бела, волоса и брови темнорусые, глаза серые, от роду ей 24 года, в уверение чего и дан сей (паспорт) с приложением полковой печати. С.-Петербург, 1 Марта 1812 г.»

— Теперь не убежишь, — смеялся муж, — сразу пымают. Я бы ишо писарю подсказал, чтобы родинку на брюхе твоём отметил.

— И не стыдно тебе, охальник? Уже и родинку разглядел, да где? Стыдно сказать... тьфу!

И пошел полк в поход, а с полком пошел и Коренной.

От Бородина всего лишь 108 верст до Москвы, и в канун решающей битвы русская армия прониклась торжественно-молитвенным настроением. Французы, избалованные победами, ждали сражения, словно праздника, шумно веселясь на своих бивуаках, а русские в суровом молчании готовились к битве — как к искупительной жертве во славу Отечества, столь им любезного.

Известно, что сказал Наполеон, объезжая войска, своей гвардии: «Русские рассчитывают на Бога, а я надеюсь на вас...»

Вечером в канун битвы русские воины, как водится, получали водку, но большинство пить отказалось:

— Не такой завтрава день, чтобы его похмельем поганить... На святое дело идем, так на што нам водка?

На восходе солнца войска уже стояли в боевых порядках, Финляндский полк занял позицию у деревни Семеновской, и в шесть утра началась канонада. Русские обнимались, целуясь:

— С Богом, братцы... кажись, началось!

Тактическая схема Бородинской битвы чрезвычайно сложна, и не мне описывать ее в подробностях. Скажу лишь, что огонь французской артиллерии был настолько убийственным, что даже атаки тяжелых кирасир Наполеона финляндцам казались отдыхом; в такие моменты рев пушек умолкал, а гренадеры, стоя в нерушимом каре, расстреливали летящих на них кирасир, закованных в сверкающие панцири. Семеновский лес, из которого выбивали они французов штыками, стал главным ристалищем, на котором прославили себя финляндские гренадеры. В этой битве все были равны: офицеры сражались как рядовые, а когда офицеров не оставалось, солдаты сами увлекали войска в атаки, действуя как офицеры. Но что более всего поразило в тот день Наполеона, так это именно то, что, потеряв треть своих войск, русские, словно они находились на учебном плацу, тут же смыкали поредевшие ряды, и — как пишут историки — именно в день Бородина «французская армия разбилась об русскую».

«Дядя» Леонтий Коренной в этот день натруился, работая штыком и прикладом, и, кажется, оправдал высокое звание гренадера — «храбрейшего в пехоте».

Под конец дня он даже ног под собою не чуял:

— Устал... Кажись, братцы, отмахались как надо. Отродясь не знал, что такая деревня Семеновская на Руси имеется, да и лес Семеновский еще долго мне будет сниться... Устал!

Наградою ему в этот день был Георгий 4-й степени под номером 16970, — даром тогда «Георгиев» не давали!

Александр Карловичу Жерве, его батальонному командиру, в ту пору исполнилось 28 лет, он, как и солдаты, тоже называл Коренного «дядей». Зазорного в этом ничего не было, но невольно вспоминается мне лермонтовское: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана...»

Однажды на бивуаке, когда Наполеон уже спасался из Москвы, Леонтий Коренной слышал у костра разговор офицеров:

— Бонапартию обмануть нашего брата не удастся — какой дорогой пришел, той же дорогой пусть и убирается ко всем псам...

По этой же дороге его настигали наши войска. В лесу, на покинутом французами бивуаке, Леонтий Коренной впервые в жизни попробовал кофе — из кофейника, что остался кипеть на затухающем костре. Но однажды, когда французов уже донимал голод, он видел и котел, в котором французы варили лошадиную кровь. Наполеона уже никто не боялся, а вскоре прослышали, что он бежал в Париж, постыдно бросив свою армию. Теперь молились французы, а русские веселились. Впереди — перед армией — лежала загадочно-притихшая под гнетом оккупации Европа.

— Ну что, братцы? — говорил своим солдатам Жерве. — Говорят, что Европу спасти надобно. Пошли. Выручим голодранцев...

Коренной видел «голодранцев» только в Польше, а как вступили в немецкие земли, тут немало пришлось удивляться, и на форштадтах городов высились приветственные арки с надписями: «РУССКИМ — ОТ НЕМЦЕВ». Вовсю гремели колокола старинных церквей, местные поэты слагали в честь русской армии возвышенные оды, между

солдатских костров похаживали с подносами чистенькие, даже расфранченные немки, торгуя булками, пивом и сосисками.

Леонтий Коренной впервые в жизни спал на двухспальной кровати и очень долго не мог уснуть — все удивлялся:

— Германия-то — во такая махонькая, а кровати-то у немцев — во какие. Когда возвращусь домой, стану Парашке рассказывать, так ни за што не поверит...

Это верно, что немцы принимали русских как своих освободителей, а в землях Саксонии даже с особенным радушием.

В городах и деревнях немцы уступали русским свои квартиры с мягкой мебелью и зеркалами, столы к обеду накрывались скатертями, перед каждым солдатом, привыкшим хлебать из общей миски, ставились отдельные куверты из серебра. Коренной не жаловал водку («Одна трава!» — говорил он), зато возлюбил баранину с черносливом. Немцы поражались аппетиту русских, ибо после сытного обеда гренадеры сразу приканчивали и свой дневной паек, состоящий из молока, сыра и масла. Зато вот картофельная водка у саксонцев была сладкая, и, чтобы не возиться с рюмками, русские разливали ее сразу по стаканам.

— Шли мы на неприятеля, — толковали они, — а угодили в плен к благоприятелям... Спасибо! Мы немцев уж не забудем, но и они, ядрена вошь, нас тоже запомнят...

Наполеон между тем не сидел в Париже без дела, и скоро он собрал новую гигантскую армию: неумолимо и грозно она уже надвигалась на союзные армии русских, пруссаков и австрийцев. Ко времени битвы при Лейпциге русские войска отдохнули, а «дядя» Коренной, попав на Теплицкие лечебные воды, даже простирнул свое исподнее, заодно и сам помылся, но пить лечебные шипучие воды не стал и другим не советовал:

— Не шибает! Да и вкус не тот... Пиво у немцев лучше.

Сражение под Лейпцигом открылось 4 октября 1813 года. Оно вошло в историю как небывалая «битва народов». Сражались две

стороны общим числом в полмиллиона человек, и только здесь, под Лейпцигом, был положен решительный предел военному могуществу зарвавшегося корсиканца. Кстати уж, скажу сразу, что в этой «битве народов» — пожалуй, последний раз! — наша башкирская конница осыпала неприятеля тучами стрел, выпущенных с луков, как во времена Тамерлана или Мамайя, отчего Наполеон понес страшные потери в живой силе, ибо французские врачи не умели излечивать жестокие ранения от этого «азиатского» оружия. А в ночь перед битвой что-то зловещее стряслось в небесах, из низко пролетающих облаков вонзались в землю трескучие молнии, сильные вихри валили столетние дубы, сокрушали заборы, с домов рвало крыши, и русские солдаты невольно крестились, припоминая свои молитвы в канун Бородина:

— Не к добру! Видать, завтрава наша компания поредет...

Трем союзным цезарям выпало в тот день стоять на горе Вахберг, откуда они и озирали грандиозное поле сражения. В полуверсте от них находилась деревня Госса — дома в ней из камня, почти городские, иные в два этажа, а сама деревня была окружена каменной оградой в рост человека.

Генерал Ермолов раньше всех распознал, о чем сейчас думает Наполеон, и, прискакав на Вахберг, сказал Александру I:

— Ваше величество, если судьба Европы зависит ныне от этой битвы, то судьба всей битвы зависит от этой деревни...

Наполеон это понимал. Сто орудий, сведенных в единую батарею, расчистили перед ним поле битвы, а сто его эскадронов, сведенных в единую лаву, — все это было брошено им на Госсу.

Финляндцы в это время стояли в резерве и варили кашу.

С высоты Вахберга видели, что даже свирепая картечь не в силах удержать напор кавалерии Мюрата, который уже смял нашу гвардейскую конницу, и тогда царь сказал брату Константину.

— А что там твой резерв?

— Варят кашу.

— Сейчас не до каши! Поднимай егерей и гренадеров, а я пошлю казаков, чтобы они треснули Мюрата по флангам...

Мюрат отступил, и началась такая артиллерийская дуэль, что граф Милорадович, затыкая уши, прокричал Ермолову:

— А что? Пожалуй, сей день громче, чем в день Бородина...

Пожалуй! Батальонный командир Жерве на одну лишь минутку присел на барабан, чтобы передохнуть, когда к нему из дыма сражения вышел полковой адъютант со словами:

— С ног падаю! Саша, дай присесть...

Жерве уступил ему свое место на барабане, отойдя в сторону, и тут же за ним что-то рвануло, оглянулся — ни барабана, ни адъютанта: вмиг разнесло французской бомбой.

Даже в битве при Бородине Наполеон не тронул свою старую гвардию, а сегодня — под Лейпцигом — он безжалостно бросил ее на Госсу — вместе с молодой гвардией. На улицах деревни началась дикая рукопашная свалка, о которой (много лет спустя) очевидцы в своих мемуарах вспоминали почти с ужасом.

Французы, сражаясь отчаянно, выбили из Госсы и наших егерей, и полки — Таврический с Санкт-Петербургским... Именно тогда генерал Крыжановский, командир финляндцев, и скомандовал:

— Ружья наперевес, песенников вперед... с Богом!

Барабаны пробили дробь, а песенники завели:

Нам, солдатушкам, во крови стоять,
По крови ходить нам, солдатушкам...

Снова — вперед! Крыжановский крикнул Жерве:

— Третий батальон, обходи Госсу слева! Как хочешь, а чтобы твои гренадеры были за стенкой... марш!

Финляндский полк уже вломился в деревню через стенные ворота, оставив при штурме больше половины офицеров — павшими. Сам генерал Крыжановский получил четыре раны подряд, потом контузию в грудь и даже выстрел — в упор, который раздробил эполет, загнал всю золотую мишуру внутрь тела. Существует банальное выражение «кровь лилась ручьем», так вот теперь не я, ваш автор, а сами участники боя писали потом в мемуарах, что «кровь хлестала ручьями» (и французская и русская)...

Жерве вел свой батальон в обход — вот истина!

— Дядя Леонтий, подсоби... — просил он.

И первым перемахнул стену, а за ним солдаты подсадили и своего «дядю». Батальон оказался отрезан от полка, а французы заметили его в своем тылу не сразу. А заметив, набросились на смельчаков с небывалой яростью, Жерве пал первым, падая, он со стоном припомнил свою молодую жену:

— Ах, Лиза, Лизанька... не дождалась!

Началась схватка, в которой разом полегли все офицеры — кто мертвым, кто раненым, и Леонтий Коренной, увидев, что офицеров не стало, вдруг ощутил свое законное старшинство.

— Робыты, — надрывно зывал он, — не сдавайтесь! Хошь умри, но имени русского не позорь. Ежели кто ослабнет, так я тому завтра же в морду кулаком бить стану...

Вокруг него собрались уцелевшие и самые отчаянные. Сначала перебросили через стенку Жерве и других раненых, которые еще являли признаки жизни. Коренной решил, что с места не сойдет, а солдаты, прижавшись спинами к стене, отмахивались штыками и прикладами... Пусть об этом скажет участник битвы Аполлон Марин: «Все пали, одни убитые, другие раненые, и тут Коренной остался один. Французы, дивясь храбрецу, уважали его и кричали, чтобы спешил сдаваться, но Коренной в ответ им поворотил ружье, взялся за дуло и отбивался прикладом...»

Один, — что может быть страшнее для солдата?

Один — посреди трупов своих товарищей...

— Не подходи! — орал он. — Я вам, в такую всех мать, кому сказал по-божески? Лучше не подходи... не сдамся!

«Пардона» от него не дождались.

Французы раз за разом искололи его штыками, и Коренной рухнул наземь посреди мертвецов — своих и вражеских...

«Битва народов» завершилась поражением Наполеона, и он оставил Лейпциг; императора угнетала болезненная сонливость, в этом грандиозном сражении был даже странный момент, когда Наполеон уснул в грохоте канонады.

Наполеона взбодрили рассказом о мужестве его «старой гвардии», а заодно императора известили, что пленен русский богатырь, который невольно восхитил всех своим героизмом:

— На нем насчитали восемнадцать штыковых ран.

— Он мне понадобится, — сказал император. — Передайте моим лейб-медикам, чтобы срочно поставили молодца на ноги.

— Ваше величество, но восемнадцать...

— Все равно! Этот русский сейчас пригодится!

Стратегический простор для него сужался. Париж роптал. Солдаты ворчали. Покоренные восставали. Нужен был пример героизма, которому бы его армии подражать. Наполеон сам навестил Коренного в госпитале, врачи сказали, что он будет жив.

— Спросите его — знает ли он, кто я?

Коренной сказал, что не знает, но догадывается:

— Вроде бы ты и есть тот самый... Бонапартий!

— Узнайте, чего бы он желал лично от меня?

— Лучше не замай, — был ответ гренадера...

Это русское выражение никак не могли перевести точнее для Наполеона, и он лишь кивнул, выслушав от врачей, что русский желает одного — покоя.

— Ладно, — сказал Наполеон. — Давайте ему сырую печенку, это очень полезно, чтобы даже мертвецу подняться на ноги...

Затем он издал приказ по армии, в котором восхвалил подвиг русского гренадера, указав своим войскам, чтобы брали пример с русского чудо-богатыря. Коренной об этом ничего не знал, а военные хирурги дивились его быстрой поправке.

«Дядю» Леонтия вскоре навестил адъютант императора:

— Вы себя обессмертили в словах приказа нашего великого императора! Но более вы не нужны нам — можете уходить.

— Куда?

— Куда глаза глядят... Кажется, именно так принято выражаться в вашем народе. А ваш маршрут для нас безразличен.

Встал солдат и пошел по Европе, взбаламученной битвами, пожарами, насилиями и грабежами, — пошел в родной полк, в ко-

тором уже никто не чаял видеть его живым. Посетил он и Жерве в походном госпитале, Александр Карлович плакал и целовал его:

— Век не забуду, дядя Леонтий, что спас ты меня.

А русские врачи щупали солдата и спрашивали:

— Братец, ну-ка, не стыдись, люди свои, снимай портки и рубаху... что-то не верится! Ежели восемнадцать штыковых ран заработал, так каким же макарон в живых остался?

Ответ Коренного был по совести — честным:

— Удивляться не след! Французы, уважая меня, не до нутра кололи, нанося раны полегше, чтобы не до смерти...

Сие, отмечали потом историки, делает честь солдатам «старой гвардии» Наполеона, которые, сами будучи не робкого десятка, умели уважать и храбрость противника.

Александр I наградил Коренного деньгами, сказал:

— Ступай-ка домой! Ты свое дело уже сделал...

Вот и пошел «дядя» домой — пешком, пешком, все пешком.

От Лейпцига до Петербурга — ать-два, ать-два... В полку лейб-гвардии Финляндском, уже на пороге своего дома, солдат поначалу обскреб ноги от грязи дорожной, стукотнул в двери. Прасковья Егоровна как увидела его, так и всплеснула руками, не ожидая видеть его, а Коренной, входя в дом, первым делом сказал, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше:

— Нет ли, Параня, щец у тебя горячих? Наголодался в дороге, словно собака худая, да и продрог до костей, потому и от чарочки не откажусь... Накрывай стол! Хоть посидим рядышком да в глаза друг другу посмотрим...

А.К. Жерве, вернувшись на родину после Венского конгресса, выхлопотал ему приличную пенсию, как ветерану, и вскоре Леонтий Коренной растворился для нас в общенародной безвестности, не оставив историкам ни единой бумажки в архивах, ни разу не подал он голоса из безжалостного мира забвения. А по улицам русской столицы уже маршировали молодые солдаты, распевая:

Мы помним дядю Коренного,
Он в нашей памяти живет...

Грешно забывать! В торжественных залах Русского музея представлена картина художника Полидора Бабаева «Подвиг гренадера Леонтия Коренного», созданная в 1846 году. А во время Крымской кампании Тульский оружейный завод снабжал офицеров, героев обороны Севастополя, особыми револьверами: их стволы и барабаны были украшены травлением и позолотой рисунков, которые отражали давний подвиг солдата Леонтия Коренного.

Наверное, к тому времени его уже не было в живых!

А в 1903 году, когда лейб-гвардии Финляндский полк праздновал столетний юбилей, офицеры полка отметили его установкой бронзового памятника Коренному, который и был представлен при входе в парадное здание офицерского собрания. И все офицеры, вплоть до самой революции, входя в собрание, снимали перед ним фуражки и отдавали солдату честь... Давно кончились те золотые времена, когда офицеры выходили из богатых дворянских семей, и потому ко времени юбилея полка офицеры жили на свое скромное жалованье, лишнего рубля не имея. Но все-таки отмечу особо, когда они вспомнили о подвиге Коренного, то сразу собрали для сооружения памятника 23 012 рублей и 66 копеек.

А ведь по тем временам — это деньги, и немалые!

Большевики, придя к власти, этот памятник уничтожили.

Он был им не нужен, ибо подвиг Коренного никак не отражал «вопросы классовой борьбы пролетариата». Нам, читатель, остались только фотографии с этого памятника...

Вечная «карманная» слава

Мы хохочем над анекдотами, даже не спрашивая, кто их выдумал. Мы включаем магнитофоны, чтобы прослушать нового барда, но стихов его не видим в печати. Так бывало и в старину, когда поэты утешались подпольною славой, которую называли тогда

«карманной». В подобных случаях тиражи зависели не от каприза издателей, а лишь от популярности в публике, не жалевшей чернил и бумаги ради поощрения анонимной музыки. «Карманная слава, — писал Денис Давыдов, — как и карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгости казенных досмотрщиков. Запрещенный товар подобен запрещенному плоду: цена его удваивается по мере строгости запрещения...»

А что тут удивляться? Мы ведь каждый день поедаем хлеб, но я ни разу не слышал, чтобы голодный сказал:

— Не стану есть, пока не узнаю, кто этот хлеб посеял.

Ты, мой милый, так и загнешься с голоду, никогда не узнав автора урожая. После такого вступления, весьма далекого от героики, лучше сразу отбить дату — 1790 год...

— Охти мне, бедному! Даже поспать не дают человеку...

Да, тогда не ленились. Служить начинали в самую рань, да и пробуждались с первыми петухами. Нищие торопились к заутрене, чтобы занять место на паперти, взывая о милости, а государственные мужи облачались в мундиры, дабы не опоздать к исполнению служебного долга. В пять часов утра, когда Петербург досматривал последние сны, Екатерина II сама выводила на двор собачек, сама заваривала кофе покрепче, а в приемной ее царственных покоев уже позевывали невыспавшиеся сановники, готовые к докладам по делам государства. Но первым входил к императрице румяный с мороза мальчик в ладной форме преображенца и вручал коронованной женщине деловую «рапортничку» о состоянии в войсках гарнизона за минувшую ночь.

— Матушка, — говорил он, — драк и пожаров не было, а сугубо пьянства в казармах не примечено...

Сама несчастная в материнстве, чуждавшаяся своих детей, Екатерина была заботлива к чужим — особенно к сиротам.

— Замерз, Сережа? — говорила она. — Ну, садись к камину, погрейся. Только не мешай мне с людьми разговаривать.

Разморясь в тепле, под говор докладчиков, которых выслушивала Екатерина, мальчик иногда засыпал в её креслах, дремотно

познавая базарные цены на дрова, треску или сено, что замышляет Австрия или о чем думают в Англии. Если кто из сановников спрашивал о ребенке, императрица поясняла:

— Пусть спит. Будет офицером полка лейб-гвардии Преображенской... В полку-то ему лучше, нежели при мачехе. Он у меня в библиотеке Буало и Вольтера смакует.

— Сам-то из каких будет?

— Воронежский. Из дворян Мариных...

Марины завелись на Руси от итальянского архитектора Марини, приехавшего в Москву со знаменитым зодчим Альберти Фиораванти, прозванного русским «Аристотелем». В глубокой давности Марины служили России мечом, отливали колокола и пушки, при Иване Грозном были «розмыслами» — инженерами. Сергей Никифорович Марин (наш герой) родился в Воронеже, где окончил народное училище. Отец, женившись вторично, сдал сына в военную службу, уповая на то, что под знаменами гвардии не пропадет. Это правда: отнеся «рапортчику» императрице, отрок весь день оставался свободен, отдавая любимой словесности и чтением французских классиков. Отправляя сына в столицу, отец дал ему крепостного парикмахера Игнашку, который не только завивал букли своему барчуку, но и почасту пропадал в трактирах столицы. Сережа Марин не раз вызволял своего холопа из пьянственного угара, стыдил его:

— И не совестно тебе мои же деньги пропивать?

Игнашка плелся следом за ним, оправдываясь:

— А я, сударь, не все пропил! На самую остатнюю копейку пирожок купил твоей милости... Не побрезгай, иначе, гляди, я сам его съем за милую душу!

Но однажды из пирожка отрок зубами вытянул крысиный хвост и стал бранить Игнашку, на что тот резонно отвечивал:

— Эва, сердитый какой! Так за копейку не с брильянтами же пироги продают, а ты хвоста мышиного испугался... Ешь! Я для свово барина жизни не пожалею...

Марину исполнилось двадцать лет, когда на престол вступил Павел I, и гатчинские порядки, взлелеянные палкою Аракчеева, стали прививать к русской гвардии. Сергей Марин, сам гвардеец, живо отозвался на эти перемены колючими стихами:

Ахти-ахти-ахти — попался я впросак!
Из хвата-егера я сделался пруссак.
И каску променяв на шляпу треугольну,
Веду теперь я жизнь и скучну и невольну...

В конце 1797 года Марин стал портупей-прапорщиком, а сие значило, что он еще не офицер, хотя при оружии и носил темляк офицерский. К тому времени он уже обрел крамольную славу «карманного» стихотворца, никак не подвластного ни цензуре, ни даже критике.

— Мои стихи, слава богу, не станут пачкать типографскою краскою, — похвалялся он тем, что его не печатают. — Их купят в лавочке для разных там потреб, в них завернут селедку, сыр иль хлеб... Опять же с пользою для читателей!

Не помышляя видеть свои стихи в журналах, Марин пользовался известностью в обществе. Всегда неунывающий, красивый, брызжущий острословием, он был душою военного и светского Петербурга; молодежь ходила за ним по пятам, чтобы услышать едкое словцо, в салонах повторяли его каламбуры. Что с того, если человек еще жив? Марин слагал эпитафии и на живых:

Прохожий, не тужи, что Сукин наш скончался.
Не ядом опился — уставом зачитался.

В сем месте положен наш бравый капитан.
Не мраморы над ним, а пуншевый стакан.

Прохожий, вздохни: Евгенья тут зарыли.
Он умер оттого, что фрак не так скроили.

Под камнем сим лежит известный скоморох:
Над ним висит пузырь, а в пузыре — горох.

Прохожий, подивись, как все превратно в мире:
Рожденный во дворце, скончался он в трактире.

Последняя «эпитафия» — на принца Густава Бирона, который, потеряв надежду на престол в Курляндии, спился по кабакам. Не забыт Мариным и его куафер Игнашка:

Игнашку, чтоб зарыть, немного хлопотали:
Накрыли фартуком да пудрой заметали.
А чтобы знали все, кого сразил здесь рок,
То в кучу пудрену воткнули гребешок...

Все было бы хорошо, но однажды, маршируя на вахтпараде со знаменем в руках, Марин нечаянно сбился с ноги, чем и вызвал бешеный гнев в императоре Павле I:

— Кто бы ни был — в рядовые его! — последовал приказ...

Марин стал солдатом и жестокой сатирой досыта наиздевался над императором. Мало того, он сознательно будоражил недовольство в столице, высмеивал увлечение солдафонством, как бы предвосхищая грибоедовского Скалозуба, который даже Буало считал в чине майора и любил —

На балах женщинам о службе говорить,
И чтоб понравиться им хваткою начальной,
Читает наизусть им список формулярный.

Солдату же Марину послужной список уже испортили:

— Мой формуляр царь затянул в солдатские лямки...

Но однажды Марин нес караул в Зимнем дворце и столь лихо проделал ружьем артикул, что Павел I в восторге сказал своему сыну — наследнику Александру:

— Гляди, какой молодец! Кто таков?

— Разжалованный портупей-прапорщик.

— Так жалую его в прапорщики, — отвечал император...

А еще через год Марин стал подпоручиком. Тогда начиналась война с Францией, и поэту, как и всем молодым офицерам, хотелось состоять в армии Суворова, но пришлось остаться в столице, воспевая бранные подвиги полководца:

Искусства ратного Суворов госп — 1
В Италию вступил ногою лишь е — 2
Разбил французов вне и замешал вну — 3.
В Париже будем мы, как дважды два — 4.

В заговоре против Павла I немало помогли и «карманные» стихи Марина, ходившие по рукам, как листовки, выражавшие гневный протест гатчинскому режиму. Павел I чувствовал, что ему готовят конец, в своем Михайловском замке он окружил себя верными гатчинцами, которым обещал:

— За охрану моей священной особы каждый из вас, голытьба несчастная, получит пятнадцать десятин земли в губернии Саратовской, дам вам душ — заживете барами!

Особым доверием Павла I пользовался и батальон преображенцев, которых он осыпал любезностями и наградами. В ночь с 11 на 12 апреля 1801 года Сергей Марин возглавил внутренний караул в Михайловском замке, составленный как раз из ветеранов этого батальона... Он честно предупредил солдат:

— Ребята! Если эта гатчинская сволочь решится супротив нас идти, берем их в штыки — и дело с концом...

Заговорщики уже проломились в спальню императора. Со второго этажа в караульню скатился раненый, взывая:

— Помогите! Там нашего государя кончают...

Только один из гвардейцев решил кинуться на выручку императора, но Марин удержал его острием шпаги:

— Не твое дело! Любого из вас, кто хоть рыпнется, сразу уложу на месте... Слушай меня: заряжать ружья...

Граф Николай Зубов (зять фельдмаршала Суворова) сразил императора ударом табакерки в висок, а душили его, согласно преданию, тем самым шарфом, который услужливо подал убийцам преображенский поэт Сергей Марин...

Открывалось новое царствование!

Александр I, заняв престол, обрызганный отцовской кровью, ради приличия удалил от себя главных убийц Павла I, но Марин не пострадал, а был даже повышен в чин поручика гвардии. Впрочем, поэт оставался равнодушен к чинам, а своему близкому другу, графу Михаилу Воронцову, признавался:

— Вот и открылось новое столетие для Руси, а на душе всех россиян смутно. Зарю нового века встречаю в шеренге бойцов, держа эспантон наготове, готовый отразить нападение.

— Сережа, а в отставку тебе не хочется?

— С детства, почитай, кости мои службой изломаны. Почему бы не отдохнуть на лежанке в объятиях милой и славной женушки? Эх, Мишель, влюбиться бы мне напрапалую...

— Так влюбись, несчастный!

— В кого? — вопрошал Марин...

Каждое время имеет свои изъяны, умело утаивая свои пороки; эпоху же царствования Александра I умные люди почитали эпохой фальшивой: мужчины гордились тем, что обманывали женщин, а за игрою в карты обманывали друзей, женщины не стыдились изменять мужьям. Причин для горького смеха было предостаточно, и Сергей Марин не щадил пороков, в его «карманных» сатирах доставалось лицемерам столичного света:

«Служи Отечеству!» — твердят мне с малых лет;

«Люби Отечество!» — твердит весь белый свет.

Да только на словах те речи исполняют.

Но со вредом его счастливо проживают.

— Друзья похваляют мои стихи, — говорил Марин, — а музую мою нещадно секут враги и завистники, яко девку зловредную. Расплачиваюсь за талант кучей неудовольствий...

«Всякие бранные стихи клали на мой счет, — писал он. — Добро бы умные, так куда бы ни шло, а стихи глупые, мерзкие, и все говорят: “Ну, это опять от Марина!”» Зато друзья у него были хорошие. Алексей Оленин, сгорбленный умник, знаток искусств и археологии,

свел его с баснописцем Крыловым и трагиком Озеровым; приятелем стал и Аркадий Суворов, сын фельдмаршала, утонувший в реке Рымнике; Марин крепко дружил с гвардейским поэтом, Сашкой Аргамаковым, племянником знаменитого Дениса Фонвизина; молодой Денис Давыдов настраивал свою бивуачную лиру, откровенно подражая маринским стихотворениям. Зато вот пиита Гавриила Геракова, слагавшего скучные вирши, Марин сделал для себя «оселком», на котором, казалось, и оттачивал свое остроумие:

Будешь, будешь, сочинитель,
Век писать ты будешь вздор,
Будешь в Корпусе учитель,
А потом будешь майор...

Странно, что в грохоте Бородинской битвы стареющий Кутузов подозвал к себе адъютанта Кайсарова, говоря ему:

— Марина-то помнишь ли? Ах, как он высмеивал корпусного учителя Геракова... Ну-кась, подскажи его строчки. Потешь меня, дружочек. В громе пушек хочу смеяться...

Впрочем, до Бородино было еще далеко, когда Сергея Никифоровича настигла большая любовь — единственная, которой он не изменил до конца своих дней. Тогда в столице большим барином доживал своей век престарелый фаворит Екатерины II — граф Петр Завадовский, погруженный в мрачную меланхолию и живущий лишь памятью о былом величии, когда он возлежал на ложе царицы. Этот угрюмый брюзга обладал женою-красавицей, которая была на тридцать лет моложе своего мужа. Звали ее Верой, она была из семьи Апраксиных, и вот однажды, расплакавшись, сама упала на грудь поэта с признанием:

— Мне ведь не было и пятнадцати, когда родня силком выдала меня за старика. Теперь он даже в храме Божиим до синяков щиплет меня, чтобы я глядела в пол, не смея глянуть на других мужчин. Но вот, наконец, пришел ты, и все воссияло особым блеском... ты — мое единое счастье! Любишь, да?

— Люблю, — отвечал поэт, вставая перед ней на колени....

Вера Завадовская стала его музой, но, чтобы избежать сплетен и не вызвать гнев мужа, Марин называл ее «Лилой», а иногда просто «верой» — верою в божество:

Увидев веры совершенство,
Я презрел света суету.
Где веры нет, там нет блаженства,
Без ней смерть жизни предпочту...

Между тем время для любви было тревожное, опасливое; военные люди жили в предчувствии близкой разлуки с избранницами своих сердец; русское воинство уже готовилось лечь костями на поле чужестранной брани. Наполеон и его маршалы, пресыщенные легкими триумфами, покоряли страну за страной, закабалили один народ за другим, и этот победоносный вал медленно, но неотвратимо накатывался на Восток... Правда, тогда никто из русских еще не думал, что маршалы Наполеона способны нарушить границы России, но всюду, куда ни придешь, люди говорили, что пришло время спасти Европу от «корсиканца»:

— Ежели не сейчас, так он совсем зарвется и, чего доброго, посмеет коснуться рубежей польских, земель славянских...

Марин отозвался на успехи французов с юмором:

Возьми большой котел с полудою без крана,
Брось Нея и Даву да храброго Бертрана.
Прибавь полиции министра Савари
И долго на огне состав ты сей вари.
Охолодя его, сим средством ты дойдешь,
Что «уксус четырех разбойников» найдешь.

Год 1805 стал годом Аустерлица! Наполеон доказал совершенство своей армии, а русские доказали Наполеону, что они умеют стоять насмерть. Сергей Марин, командуя батальоном, заплатился за свою отвагу при Аустерлице слишком жестоко. Первая пуля навывлет прошла через его левую руку, вторая застряла в груди, а французской картечью ему разбило голову.

Падая, поэт успел крикнуть своим солдатам:

— Прощайте, братцы! Спасибо за службу...

А этот подлый пьяница Игнашка, сопровождавший Марина в походе, бросил его, трусливо бежав, да еще обворовал поэта. Марина вынесли из боя — замертво, но он выжил. Однако полевые хирурги напрасно ковырялись щипцами в его груди — пуля так и осталась возле самого сердца, как память о дне Аустерлица.

За мужество в этой битве поэт получил «золотое оружие».

— Ну, попадись мне этот Игнашка! — говорил Марин. — Я ему отомщу самым жестоким образом... новою эпиграммой!

Еще в канун Аустерлица он сочинил «Преображенский марш», и слова этого марша уже распевались в армии — вроде гимна. Поэт возвращался на родину через земли Венгрии и Галиции, а в Петербурге был встречен слезами Веры Завадовской.

— Не плачь, — сказал он женщине. — Я ведь жив...

Наконец притащился Игнашка, вымаливая прощение.

— Драть бы тебя, как Сидорову козу... наглец!

— Воля ваша. Виноват. Дерите.

— Я тебя так выдеру, что история тебя не забудет...

Человек добрый, всегда далекий от мести, Марин своего лакея, предавшего его на чужбине, отпустил на волю вольную, раскрепостив его навсегда, но проводил Игнашку стихами:

Надгробную тебе я рано начертал.
В походе ты меня, как липку, ободрал.
Украл часы, червонцы, пистолеты...
И проживешь, к несчастью, многи лета!

Довольствуясь славою «карманного» стихотворца, Марин еще ни единой строчки не видел в печати. А вскоре Наполеон, ослепленный успехами, начал двигать свои полчища к рубежам России, его мародеры хозяйничали в Пруссии, русская армия снова готовилась в поход. В преддверии новых жестоких битв Марин, еще не залечив ран, обратил свои стихи «К русским»:

Уж он идет — летим сражаться,
Чтоб каждый, честию водим,
Готов был с жизнью расстаться...
Друзья, умрем иль победим!

Вера Завадовская, сияя лицом, раскрыла журнал «Лицей»:

— Стихи... к русским! Как они сюда попали? И под стихами писано: «Получено от неизвестного», но твоего имени нет.

— И не надо! — отвечал Марин. — Стезя у меня иная. Только не плачь, если меня не станет. Я был счастлив с тобою, и в последний миг жизни увижу твое лицо — самое прекрасное лицо самой прекрасной женщины на свете! Простимся...

Марин создавал отряды Олонецкого ополчения — из добровольцев; жители северных лесов, карелы, финны и поморы, все они были отличными охотниками и стрелками, поэт охотно стал командиром Олонецкого батальона. В сражении при Фридланде его батальон геройски бился с французами, а сам Марин вышел из боя, опять контуженный в голову шрапнелью. На жалких обозных дорогах, временами теряя сознание, через ухабы прусских дорог поэт возвращался на родину, чтобы снова увидеть лицо любимейшей женщины, и в горячечном бреду сами собой возникали и вновь меркли его же строки:

Пожалуйте, сударыня, сядьте со мной рядом.
Пожалуйте, сударыня, наградите взглядом...

За мужество в боях Марин получил аксельбант флигель-адъютанта, но уже подумывал об отставке с «лежанкою». Жизнь распорядилась иначе — мирно почивать не пришлось. Тильзитский мир стал лишь передышкой в кровопролитии. Осенью 1807 года царь послал Марина в Париж, чтобы он вручил императору французов его личное послание. Не знаю, какое впечатление произвел Париж на поэта, но во Франции он не задержался и, выполнив поручение, спешно вернулся в Петербург, уже засыпанный мягким снегом. Однако личная переписка монархов после их свидания в

Тильзите никак не усмирила гордыни Наполеона, мечтавшего о свежих лаврах в своем венце победителя. Уже тогда Наполеон начал тайную войну с Россией, стараясь диверсиями и контрабандой подорвать ее экономическую мощь.

Еще усталый после скачки из Парижа до Петербурга, Марин был ознакомлен с секретным докладом: «Известно, что виленские и гродненские евреи в большом количестве отправляют наши рублевки в Саксонию посредством корреспондента, живущего в Дрездене, еврея Каскеля; рублевки наши обращаются в тамошний монетный двор, где их еженедельно до 120 000 перечекаивается в талеры. Операция сия продолжается». Марину указали:

— Езжайте в Вильно и Гродно под видом инспекции тамошних гарнизонов и стороною вызнайте секреты сего злодейства, главным в коем является банкир по фамилии Симеон...

Вскоре из Гродно последовал рапорт Марина о том, что главный агент Симеона, «едуший с серебряными государственными рублями за границу, пойман мною и содержится под караулом; вместе с ним пойманы евреи Розенфельд и Зоселович», занимавшиеся преступной контрабандой. Сам же банкир Симеон арестован, но разведка Наполеона сработала столь хорошо, что этот Симеон, вовремя предупрежденный, успел уничтожить все документы о своих финансовых аферах с Дрезденом.

В 1809 году Марина произвели в чин полковника.

— Не знаю, как быть с вами, — сказал ему император. — Вы же больны, вам нужно место потише... Езжайте в Тверь, дабы состоять при тамошнем губернаторе принце Ольденбургском, женатом на моей любимой сестре. Заодно поправите и здоровье.

Марин не счел это назначение честью, друзьям говорил:

— Ох, тошен мне двор, а паче того не люблю принцев...

Свое положение в Твери сам же и высмеял в сатире:

Во брани поседев, воспитан под шатрами,
Попал я на паркет и шаркаю ногами.
Смотрю, и новых тьму встречаю я картин:
Тот ролю взял слуги, сам бывши господин,
Иной, слугою быв, играет роль вельможи...

Пребывание в Твери скрашивалось дружбою с молодым живописцем Орестом Кипренским, который создал романтический портрет Сергея Марина, и поэт говорил художнику:

— Брат Орест, ей-ей, не кривя душою, скажу тебе, что легче стоять в шеренге под пулями, нежели ублажать придворных дураков каламбурами... У меня все уже переболело внутри!

— А что болит-то? — спрашивал Кипренский.

— Аустерлиц и Фридланд, — отвечал Марин. — Мечта о теплой лежанке отодвигается приступами Наполеона. Вот уж не знаю, выживу ли в будущей войне? Но готовлю к смерти себя...

Поэт жил скромнейше, и только золотой жгут аксельбанта выделял его среди военного люда. В карты играл умеренно, шампанского не пил, но почему-то невзлюбил придворной музыки.

— Черт побери! Расцелую могильный прах того, кто первый в мире выдумал рифму, но кто догадался придумать ноты?..

Близился 1812 год. «Европа с Францией алкала России изменить судьбу, — предрекал Марин в стихах, — вселенна с ужасом взирала на страшную сию борьбу». Боль была, а покоя не было.

— Да, не люблю нот, — говорил Марин, — но в полках уже играют мой «Преображенский марш», с которым следовать до Парижа. Сам его сочинил — под эту же музыку и погибну!

1812 год жестоко и безжалостно пограл все личные интересы людей, заставил позабыть прежние обиды, нападение Наполеона не оставило равнодушных: в этом году все стали патриотами, а великое единство народа помогло России выстоять перед натиском многочисленных орд зарвавшегося корсиканца.

Звук труб гласит врагов стремленье.
Спешу итти в кровавый бой.
Прости, о Лиля! но в сраженье
Несу в душе я образ твой.
Когда же смерть там повстречаю,
Друг милый, не круши себя.
Щастлив мой жребий: жизнь скончаю
Я за отчизну — за тебя...

Сергей Никифорович предстал перед князем Багратионом:

— Прошу, как милости, состоять при вашей особе.

— Милости просишь, а чего морщишься?

— Болит... вот тут... под сердцем, — сознался Марин.

Он стал дежурным генералом армии. Состоять при Багратионе не всякий храбрец отваживался. Известно, что сам Багратион смерть презирал, а его адъютанты, подражая начальнику в храбрости, не заживались на этом свете, падая в боях один за другим, как подкошенные снопы. Багратион сам оберегал поэта.

— Ты в свалку не лезь, — говорил он Марину, — на это дело помоложе и здоровее тебя найдутся. Твое дело иное...

«Иное» дело было утомительным: Марин ведал снабжением армии, доставал для солдат полушубки, солонину и лыжи. Кричал:

— Онучей и лаптей на сто тысяч персон! Срочно...

Война была общенародной, безжалостной, партизанской.

Денису Давыдову он писал: «Поздравляю тебя с твоими деяниями, они тебя — буйная голова! — достойны... на досуге напишу тебе о д у. Я болен, как худая собака, никуда не выезжаю, лихорадка мучит меня...» Марин составил для истории отчет о том, как была оставлена Москва, и особо выделил, что через его канцелярию прошли тысячи пленных французов. «У нас жил (при штабе) один пленный полковник из авангарда, так он уверял нас честью, что все сие время они (французы) не взяли в полон ни ста человек наших, а дезертиров русских даже не выдывал...»

Вот так! От самых берегов литовского Немана отступали до Бородино, и никто не поднял лап кверху с мольбою: «Мусью, дай пардона...» Сами «пардона» не просили, но и врагам «пардона» не обещали: в этом была суть жестокой народной войны!

Дежурный генерал при штабе Багратиона, он бы, наверное, еще мог дожить до своей «лежанки» с милой женой, но поэта надломила гибель Багратиона в Бородинском сражении.

В неизвестной нищей деревушке, засыпанной снегами, Марин отогревался на печке, накрытый мужицким тулупом. Здоровье становилось все хуже, болела грудь. Слабеющей рукой, из которой

вывертывался карандаш, Сергей Никифорович писал свои последние стихи — уже не сатирические, а героические.

— Наполеон — не Цезарь, — рассуждал Марин. — Наполеон пришел, увидел и... пропал! Так ему, ракалье, и надобно...

Багратион, еще до гибели своей, докладывал в Петербург о тяжелой болезни Марина: в конце октября Кутузов тоже сообщал императору, что присутствие Марина при армии необязательно.

— Не вижу иного выхода, — говорил Кутузов, — кроме единого: пусть Марин едет в столицу ради излечения...

В столице Марин не мог побороть болезнь, и 9 февраля 1813 года он скончался за Нарвской заставой — на даче своей верной «Лиль». И там, только там, нашлось место для его последней «лежанки». При вскрытии его тела врачи обнаружили французскую пулю, засевшую возле самого сердца еще со времен Аустерлица. Все хлопоты по захоронению поэта Вера Николаевна Завадовская взяла на себя. Но — как замужняя дама — она делала это втайне, дабы не вызвать лишних кривотолков в обществе.

Скульптора она даже предупредила:

— Изобразите женщину, припавшую к праху усопшего, но только, ради бога, не обнажайте черты моего лица...

На постаменте надгробия были высечены слова:

О, мой надежный друг!
Расстались мы с тобой,
И скрылись от меня и счастье и покой...

Это были стихи самой Веры Николаевны, но она никогда не признавала их своими. Скульптор представил ее плакальщицей над могилой, а лицо Завадовской он деликатно упрятал драпировкой траурного крепа. Однако ваятель укрыл не все ее лицо, а потому современники отлично догадывались — кто застыл над могилой поэта в неутешной скорби.

Марина не было в живых, когда под звуки «Преображенского марша» русская гвардия входила в Париж, громяхая боевыми ли-

таврами. Вере Николаевне предстояло прожить еще очень долгую жизнь, но смерть не соединила влюбленных: много позже графиня Завадовская нашла вечное упокоение в безвестной глуши Порховского уезда Псковской губернии.

В числе ее потомков была и Софья Андреевна Берс, ставшая женою Льва Толстого, и писатель в своем романе «Война и мир» не забыл упомянуть, что даже в гусе Бородинского сражения Кутузов просит читать ему стихи Сергея Марина...

СЫН «ПИКОВОЙ ДАМЫ»

В один из дней осени 1844 года у московской заставы с утра пораньше толпились люди разного звания — дворяне и купцы, нищие и дворовые: ж д а л и. Ближе к вечеру вдаль показались траурные дроги, обитые черным крепом, усталые коняги тяжело влекли катафалк по грязи. Тут весь народ набежал, лошадей сразу выпрягли, и люди сами впряглись в траурную колесницу:

— Ну, православные, подгонять не надо — поехали!

В город въехали затемно, появились и факелы, освещавшие траурную процессию. «Улицы запрудились народом, — писал очевидец, — но полиции не было, тишина была поразительная; многие плакали». Люди попроще, газет не читавшие, спрашивали:

— Чей покойничек-то?

— Да наш — московский.

— А везут-то откеле?

— Да прямо из Парижа, чтобы в Москве остался...

Три дня гроб стоял в церкви Дмитрия Солунского, три дня площадь перед храмом была заполнена москвичами. Наконец состоялось погребение, а всех, кто провожал гроб до кладбища, тут же одаривали золотыми кольцами — на память об этом дне, для нищих же был накрыт стол для обильного угощения...

Светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын скончался в Париже 27 марта 1844 года, исключенный из списков российского генералитета 14 апреля того же года.

Бурная и бравурная жизнь человека закончилась.

Интересно, а как она, эта жизнь, начиналась?

У нас хорошо знают княгиню Наталью Петровну Голицыну, урожденную графиню Чернышеву, которая послужила А.С. Пушкину прообразом для его «Пиковой дамы». О дочери ее Софье, ставшей графиней Строгановой, которая не умерла до тех пор, пока не завершила перевод дантевского «Ада», я уже писал, но у нас плохо извещены о сыне «пиковой дамы», который почтительно вскакивал перед матерью и садился лишь с ее сиятельного дозволения...

Конечно, княжеское детство — это не мое детство и не ваше, читатель. Разница есть, и, смею думать, немалая. Получив домашнее (и отличное!) воспитание под надзором гувернеров и строгой матери, Дмитрий с братом Борисом завершали образование в Страсбурге, который славился не только древним университетом, но и военной академией, а сидели они на одной скамье с Максимилианом, королем баварским, что никого не удивляло. Потом братья путешествовали по Европе, надолго задержавшись в Париже, еще застав Версаль во всем его былом великолепии, а на родину они вернулись накануне Французской революции.

В 1794 году Дмитрий Голицын уже штурмовал Прагу (предместье Варшавы), и его храбрость была отмечена Суворовым, а в возрасте 29 лет князь уже славился как отличный генерал кавалерии, имея чин генерал-лейтенанта. А вот братцу Борису, столь же лихому, не повезло: вздумалось ему бить в барабан напротив дома прусского консула — и стучал столь усердно, пока консул со страху не умер, после чего последовала неизбежная отставка (сейчас бы сказали — «за хулиганство»). Впрочем, князя Бориса отставка не устрасила: давний поклонник Расина и Вольтера, он содеялся российским писателем под псевдонимом «Дм. Пименов», князь Борис писал стихи и нравственные поучения.

— Кем желаешь быть в отставной юдоли? — спрашивал его брат.

— Только русским, — отвечал князь Борис, — чтобы с русскими и говорить только по-русски...

Он сошелся с крестьянкой, имел от нее деток, а на вечерах честно платил штраф, если его ловили на том, что вместо русского слова употреблял иностранное. Очень хороший человек был князь Борис, и боялся он только своей матери:

— Не дай-то бог, ежели проведает, что я, убежденный холостяк, уже детишками обзавелся...

Но уже начиналась громкая полоса наполеоновских войн.

Поверьте, если бы я перечислил только сражения, в которых участвовал князь Дмитрий Голицын, если бы назвал все ордена, которыми он был награжден, то мне вряд ли хватило бы этой страны. Голицын был женат на Татьяне Васильевне Васильчиковой, давно влюбленной в него, женщине скромной и умной; на портретах она предстает красавицей, но я склонен доверять мемуаристам, которые о красоте княгини деликатно помалкивают.

Вскоре отставка коснулась и князя Дмитрия, но причина его отставки была гораздо сложнее барабанного боя. Швеция — последний раз! — воевала с Россией; держались очень сильные морозы; Голицын, командуя русской армией в Финляндии, слал кавалерию через замерзший Кваркен (Ботнический залив), дабы разведать подходы к шведской столице. Когда же этот план был у него готов, само исполнение плана поручили Барклаю-де-Толли.

— Я не виноват, — извинился Барклай перед князем, — что судьба угощает меня лавровым супом, хотя эти лавры вы столь искусно сплели для украшения своего благородного чела...

Голицын вернулся в Петербург и сразу подал в отставку.

На балу в Зимнем дворце император Александр I, улучив минуту, просил князя Голицына не покидать армию.

— Я бы и не покинул ее, если бы не был унижен вами.

— Куда же вы теперь? — спросил император.

— Я еще не завершил свое образование, а посему желаю проехаться по университетам Германии ради слушания лекций...

Он так и поступил, отец семейства и генерал-лейтенант, не погнушавшийся сидеть на скамье студента, слушая лекции немецких

профессоров: князя занимали философия, история, право и ботаника. 1812 год буквально сорвал его со скамьи студента и снова вскинул в боевое седло — опять он стал генералом кавалерии!

Кутузов поручил ему конницу 2-й армии, эту грозную «лаву» Голицын и водил прямо в пламя Бородина. В этой же битве участвовал и брат Борис, тоже вернувшийся из отставки, и был жестоко изранен. После оставления Москвы — куда ехать?

— Вези в нашу вотчину — Большие Вязёмы, — просил брат...

Как сказать ему, что в Вязёмах уже ночует сам Наполеон (наверное, именно по этой причине древнее имение Голицыных и не было разграблено, как другие подмосковные). Брат Борис, умирая, завещал Дмитрию, чтобы не оставил его дочерей, рожденных от крестьянки. Татьяна Васильевна приютила девочек у себя, опять-таки скрывая их происхождение от «пиковой дамы», ставшей ее грозной свекровью (одна из этих девочек-сирот стала потом женою профессора Шевырева, а вторая осчастливила тверского губернатора Бакунина, что был лицейским товарищем Пушкина)...

Дмитрий Владимирович закончил войну в Париже!

Он уже тогда был отцом двух дочерей, Кати и Наташи, а после войны Татьяна Васильевна одарила его двумя сыновьями. Пять мирных лет князь Голицын командовал кавалерийским корпусом, уже не в силах разместить все ордена на своем мундире. Но в конце 1819 года его боевая карьера неожиданно завершилась.

Александр I пожелал его видеть:

— Вы слышали, какое несчастье в Москве? Скончался тамошний командующий граф Торماسов, оплаканный жителями. Я очень прошу, князь, заступить на его место. После войны и пожара, который в Европе уже стали величать «историческими», Тормасов начал было отстраивать Москву заново, но... не успел, и не вам ли, милейший князь, завершить возрождение Первопрестольной?

Голицын молча склонил голову, согласный. Начиналась новая жизнь, а впереди были 24 года жизни, и каждый день этих долгих 24 лет будет целиком отдан любимой князем Москве.

Многое погибло в огне — научная библиотека университета, знаменитые книгохранилища графа Бутурлина и Мусина-Пушкина, но голицынская библиотека в Вязёмах уцелела, ибо в ней соизволил выпасться сам Наполеон, и теперь Голицын уже подумывал:

— Не пора ли Москве иметь свою публичную библиотеку? А я согласен ради ее основания пожертвовать своей вязёмской, в коей еще от предков собраны редкостные раритеты...

Первопрестольная при нем возрождалась, но князь Голицын создавал в Москве и то, чем «допожарная» Москва не могла похвалиться, — больницы для простонародья, а строилось при Голицыне очень много, строилось быстро, и Москва постепенно обретала тот приятный, почти домашний уют, что делал ее милой и дорогой сердцу каждого россиянина. Если вдумчиво перебрать старые листы акварелей и цветных литографий, изображающих Москву «послепожарных» лет, то, ей-ей, перед нами предстанет чарующий город, наполненный волшебными садами, прелестью тихих переулков, сценами народных гуляний, и нигде, пожалуй, не было так много концертов, домашних оркестров, танцев и плясок...

В отличие от покойного брата, князь Дмитрий русский язык знал неважно. Говорил-то он правильно, а вот писал плохо. По этой причине деловые бумаги составлялись им на французском языке, а чиновники тут же переводили их на русский. Князю, когда он стал управлять Москвою, было уже почти 50 лет, но к службе он привлекал совсем юную молодежь, а стариков безжалостно гнал в отставку. У него в канцелярии порою набиралось до полутора юношей (сверх штата!), все с университетским образованием, а если какой старый хрыч, умудренный богатым опытом чиновничества и взяточничества, просился в штат, Дмитрий Владимирович говорил ему:

— А зачем вам это? Я беру молодежь, дабы училась, а созрев, занимала посты поважнее, но вы-то, любезный, уже не одну бочку чернил извели, человек опытный, — вам сам Бог велел искать место в провинции. Вот и езжайте... на Камчатку хотя бы!

— Да у меня в Москве домик, ваше сиятельство.

- Тут у всех по домику.
- У меня и семья, ваше сияте...
- Эка удивили! У всех семья.
- И две дщерицы на выданье.
- И у меня две дуры подрастают...

Зато вот ссыльного поэта Адама Мицкевича генерал-губернатор сделал (повторяю — ссыльного!) своим «чиновником особых поручений», допустив его до секретов губернского правления. И это после 1825 года, после восстания декабристов, когда немало губернаторов на святой Руси наклали полные штаны от страха. Зато вот грибоедовской пьесой «Горе от ума» князь Голицын остался очень и очень недоволен, говоря в обществе:

— Всю Москву представил в уродливом свете, а москвичей превратил в карикатуры... Между тем Петербург-то нами и кормится: понадобилась ему певица — даем Парашу Бартеневу, нужен искусный врач — вот вам Маркус, захотели богатого вельможу — переманили Лазарева, а институт восточных языков, Лазаревым же основанный, все-таки не погнался за ним в Питер, у нас остался...

Совместно с женою он основал в Москве Общество садоводства, где и пригодились его научные знания ботаники. Голицын, между прочим, считал, что незавидная жизнь даже тощего придорожного кустика драгоценна, как и роскошная жизнь оранжерейного ананаса.

— Кстати, — рассуждал он, — при матушке Катерине мы занимали первое место в мире по тепличному выращиванию ананасов, а теперь... Куда подевались наши великороссийские ананасы?

Где фрукты — там и корзины. Татьяна Васильевна, супруга князя, была озабочена массовым производством корзин из ивняка, по ее почину в Больших Вязёмах и окрестностях возник корзиночный промысел; потом крестьяне наладили плетение художественной мебели из белых или черненых прутьев, «вязёмская плетенка» славилась на всю Россию; этот артельный промысел существовал до 1917 года, когда крестьянам стало не до корзин. Человек не без

слабостей, и москвичи скоро учуяли, что их генерал-губернатор падох до женщин. При всем уважении к супруге, уже переступившей четвертый десяток, князь Голицын никогда не забывал, что мир переполнен другими женщинами, и чем они моложе — тем лучше. Делами раскольников в Московской губернии ведал некий Федор Тургенев, жулик и прохвост, каких свет не видывал. Он сразу почуял, на чем можно поживиться, и однажды, громко рыдая, сообщил (по секрету, конечно), что его целомудренная дочь Меропа ночей не спит, сгорая от страсти к душечке-князю. А за князем Голицыным дело не стало, он эту целомудренную страсть мигом утешил, зато Ф.И. Тургенев впредь взятки брал безбоязненно, очень быстро заимев три тысячи крепостных душ...

Кстати, создание Третьего Отделения во главе с Бенкендорфом князь Голицын откровенно порицал, чувствуя себя как бы лично оскорбленным, ибо тайный надзор жандармов угрожал и ему, генерал-губернатору. Был у него в канцелярии молодой чиновник Семен Стромилов, человек острого ума, почему и строчил на всех эпиграммы; не забывал он при случае и генерал-губернатора высмеять; именно у Стромилова князь Голицын и спрашивал:

— Проведай, кто за мной надзирать станет?

— Ваше сиятельство предаст именно тот, кто более всех других от вашего правления жизненных благ для себя имеет.

— Намекаешь? А на кого?

— Конечно же на Федора Иваныча Тургенева.

— Нет, — не мог поверить Голицын, — этот прохиндей многим мне обязан, я его, сукина сына, даже в статские советники вывел, звезду на шею ему навесил... уж больно хороша была его дочка! От страсти неземной даже кусаться стала...

Для истории уцелело описание тех приемов, какие применял Голицын для расправы со взяточниками в Московской губернии. Знаменитый историк М.П. Погодин однажды застал в приемной Голицына шеренгу чиновников с самыми кислыми выражениями на лицах, будто их всех целый месяц только одной клюквой кормили. Это

были члены Сиротского суда, разоблаченные при ревизии, яко сущие мерзавцы и крохоборы, обкрадывавшие сирот и нищих инвалидов. Вот открылись парадные двери, и вышел князь Голицын, разглядывая через лорнет морды этих хапуг, у которых от страха не только тряслись чиновные шпаги, но даже чиновные треуголки недолго держались в вибрирующих руках, выпадая из пальцев на пол.

— Ну-с, высокочтимые мошенники, — начал князь со всей любезностью, на какую был он способен, — каково соизволите? Или мне живьем поджарить вас на конопляном масле, или добровольно согласитесь толченое стекло жевать? Нашли кого грабить — сироток да убогих, да я вас... вы у меня... и ваши души...

Историк Погодин почти с восхищением выслушал от его сиятельства те самые убедительные словеса, кои произносят московские извозчики, когда увидят, что шлея опять попала под хвост лошади, а слезать с козел им не хочется. Один из чиновников, непомерно пузатый, вдруг стал возвещать, что подобными словами его нельзя ругать при всем честном народе:

— Потому как я состою в чине уже титулярном...

Через лорнет князя он был удостоен особо тщательного обозрения. За сим князь Голицын отступил от него на шаг и, задрав ногу повыше, предупредил обиженного:

— Ну... держись! Сейчас как тресну в пузо, так из него сразу вывалится все сожранное тобой за счет сироток, а из чина титулярного вмиг вернешься в чин регистраторский...

1831 год дался Голицыну нелегко: сначала Москву навестила холера, потом аукнулось и восстание поляков.

Петербург предписал соблюдение карантинных. Москву оцепили, дабы пресечь ее сообщение со столицей и другими губерниями. Князь распорядился выслать из города до сорока тысяч фабричных, ибо в их казарменной скученности усматривал источник заразы. Не знаю, каковы тому причины, но московские уезды беда миновала, зато в самой Москве пришлось срочно строить новые больницы, город в блокаде карантинных терпел лишения и дороговизну, почему

Голицын и повелел раздавать бедным людям хлеб бесплатно. Не очень-то он верил в «прилипчивость» холеры и, словно желая доказать это другим, безо всякой боязни навещал больницы, утешая холерных, а его бесстрашие передалось и другим жителям. Очевидец тех дней, студент Костенецкий, вспоминал в своих мемуарах: «Страшное было время! Все заперлись в домах и никуда не выходили... Скоро, однако ж, москвичи соскучились, привыкли к холере и мало-помалу убеждались, что от нее еще скорее можно помереть, сидючи в комнатах, об ней только и думая, нежели развлекаясь, и Москва опять высыпала на улицы и зашумела...» Голицын, кстати сказать, платил бедным студентам по 15 рублей в месяц, если они не сидели дома, а помогали ему в сборе сведений о заболевших, если студенты не боялись заходить в дома, спрашивая:

— Эй, живые кто есть? А больных нету ли?

Только управились с холерой, как через Москву погнали в Сибирь участников польского восстания. До этого их долго томили в казематах Варшавы, потом везли со всеми жандармскими строгостями, одежда на них истлела, они голодали, а среди ссыльных были и женщины с детьми. Напрасно Бенкендорф подгонял князя, чтобы этап в Москве не задерживался, — князь Дмитрий Владимирович, напротив, приказал задержать этап в Москве:

— Закон и совесть — вещи разные! Пока я поляков не накормлю и пока не одену их, этап никуда из Москвы не тронется...

В этом много помогла мужу Татьяна Васильевна: женщина сострадательная, она не только свое отдала, но и устроила сбор теплых вещей и мехов среди жителей, а поляки потом долго хранили память о Москве, как о добром городе с добрыми жителями. Между прочим, наблюдение за тюрьмами и бытом арестантов свело Голицына с известным Федором Гаазом, врачом-филантропом, один помогал другому, и, кажется, оба они преуспели в помощи несчастным. Но доктор Гааз никогда не достиг бы своих целей, если бы не его титулованный покровитель. «Независимый и не нуждавшийся в средствах, прямодушно преданный без искательства, властный без

ненужного проявления власти, неизменно вежливый, приветливый и снисходительный, екатерининский вельможа по приемам, передовой человек своего времени по идеям», — князь Дмитрий Владимирович Голицын, в таких словах описанный гуманистом Анатолием Кони, сделал для участи арестантов то, что не мог бы исполнить доктор Гааз... Мешают тюремщики — князь пишет министрам, министры противятся — пишет императору, Николай I не согласен с ним — князь пишет прямо в Берлин прусскому королю, чтобы воздействовал на свою сестрицу, жену Николая I, а уж она-то «вдудит» в ухо императору то, что нужно ему, князю Голицыну, и что крайне необходимо для русских каторжников, дабы облегчить их страдания в тюрьмах и на этапах... Спрашивается: кто бы стал слушать одного только доктора Гааза? Да никто!

Дочери уже стали замужними дамами, сыновья начинали офицерскую карьеру, а князь Голицын, доверив жене дела Общества садоводства, по-прежнему не избегал женских чар, отличаясь от других мужчин его возраста почти юношескою ветреностью. Балерина Лопухина, ощутив инстинктом женского сердца, что разлука с князем все равно неизбежна, просила «отступного», но Дмитрий Владимирович сказал, что лишних денег у него не водится, а какие есть — забирает жена на разведение папоротников и кактусов.

Это никак не устраивало женщину, она заплакала:

— Я отдала вам, князь, все самое трепетное, что имела, и... что же? Так и оставаться теперь в кордебалете?

— Зачем? На прощание я сделаю из тебя богатую княгиню...

Обещал — и сделал! Впрочем, читатель, не надо думать, что Голицын сильно утомился, делая из балерины княгиню. Совсем нет. Был в Москве большой дурак князь Хилков, чуть ли не с детства возмечтавший получить ключ камергера двора его императорского величества, носимый, как известно, на том самом месте, по которому всем людям, начиная от колыбели, дают хорошего шпандыря.

— Будет ключ на самом видном месте, — сказал дураку Голицын, — *если* уведешь под венец балерину Лопухину... Сам-то ты плох, князь, а она порхает, как бабочка. Вот и подумай!

Хилков, даже не думая, сразу согласился. Балерина стала княгиней, а муж ее камергером. Вестимо, что Семен Стромиллов, зюил Московской губернии, составил по этому поводу очень едкую эпиграмму на двух князей сразу — на дурака Хилкова, а заодно и на умника Голицына, своего начальника. Дмитрий Владимирович, выслушав стихи, развеселился, потом загрустил.

— Семен Иваныч, — сказал он поэту, вскормленному от пера его канцелярии, — *мне (!)* ты можешь читать все, что напишешь, но... Будь осторожнее, ибо око жандармское в нашей великой империи остается недреманно, а граф Бенкендорф с Дубельтом, словно сычи в ночном лесу, даже спят с открытыми глазами.

Предупреждение было кстати! Как раз тогда, в конце 1837 года, дотла сгорел Зимний дворец в Петербурге, царь с большой семьей скитался по «чужим углам», как погорелец, и Стромиллов не удержался, чтобы не сочинить сатиру на бездомного царя и министра императорского двора князя П.М. Волконского, весьма оскорбительную для обоих. Прошло не так уж много времени, и Голицын однажды поманил автора в свой кабинет, велел ему затворить за собой двери плотнее. Затем дал поэту казенную бумагу:

— Прочти, Семен Иваныч, а поплачем вместе...

Это было письмо Бенкендорфа к Голицыну, которого шеф жандармов извещал о том, что в Петербурге стала ходить по рукам зловредная сатира, известно, что происхождения она московского, а посему автора надобно сыскать, ибо его величество уже распорядился готовить для него камеру в Петропавловской крепости.

— Прочел? — спросил Дмитрий Владимирович.

— Да, — пролепетал сатирик.

— Что ж ты меня подводишь? — сказал ему генерал-губернатор. — Если уж обзавелся талантом, так строчи эпиграммы на меня, на мою жену, но зачем тебе столичное дерьмо ворошить? Я, конечно, на заклятие тебя не выдам, ибо таланты надо беречь, это я знаю. Но сейчас же беги домой так, чтобы у тебя пятки засверкали. И сразу уничтожь все крамольное, иначе, не дай бог, докопаются до тебя и придут с обыском... Понял?

Чем дальше в лес, тем больше дров! Следующая информация от Бенкендорфа была та самая, что подтверждала подозрения поэта Стромилова, высказанные им ранее. Дело в следующем. Федор Тургенев, который ради ускорения карьеры не пощадил даже своей дочери, лишь бы угодить его сиятельству, решил, что, на всякий случай, не грех заручиться поддержкой самого Бенкендорфа. Исходя из этих благих намерений, он письмом предложил шефу жандармов свои коварные услуги, обещая следить за князем Голицыным — что он говорит, о чем думает, чем недоволен и прочее. Бенкендорф не ахти как благоволил московскому генерал-губернатору, но все-таки переслал это вонючее письмецо обратно в Москву — прямо в руки князя Голицына...

В доме генерал-губернатора был обычный приемный день.

Все московские власти, большие и малые, собрались в обширной зале, дебатировав меж собой о делах губернии, рассуждая, иронизируя, злясь или равнодушно посмеиваясь. Но вот появился и Федор Тургенев, от самых дверей почтительно кланяясь Голицыну, а тот, внешне невозмутимый, вручил Тургеневу его же письмо, собственноручно начертанное для графа Бенкендорфа.

— Душеспасительное чтение! — сказал ему князь. — Вы появились кстати. Вот и читайте... вслух, дабы все знали, а мне-то уж, извините, недосуг было вникнуть... прошу, не стыдитесь!

Тургенев начал читать, едва шевеля языком, в окружении чиновников, смотрящих на него с явной гадливостью, но при этом, читая, Тургенев пятился, пятился, пятился назад «и провалился в двери, чтобы более никогда здесь не являться, — писал очевидец. — Презренный всеми, он еще долго шатался по Мясницкому бульвару, думая только о разврате, и умер, всеми забытый...».

Всем и всегда доступный, гостеприимный, благожелательный, никому зла не делавший — таким предстает сын «пиковой дамы» со множества страниц различных мемуаров, и я не встретил ни одного автора, который бы отозвался о нем дурственно. Это сущая правда, ибо князь Голицын был любим москвичами, а цитировать похвалы Дмитрию Владимировичу, я думаю, нет смысла...

Настал 1840 год — князю исполнилось 70 лет.

Татьяна Васильевна, хотя и моложе супруга, но ходить уже не могла, лакеи возили ее в креслах по комнатам. В дни храмовых праздников к дому Голицыных на Тверской возами доставлялись пряники, конфеты, орехи, тянучки и прочие незатейливые лакомства. Заранее собирался бедный люд, прибегало множество детворы с окраин, и княгиня, сидя в креслах, горстями разбрасывала лакомства с балкона. Она была старуха добрая...

Именно в этом году, будь он неладен, начался голод!

Россию постиг неурожай, а что всем русским — то и москвичам полной мерой. Куль хлеба стоил уже 45 рублей (ассигнациями). Сытно было лишь в приволжских губерниях, но подвоза оттуда не ожидалось. Рассуждения Голицына в эти дни переданы современником в таких словах: «Что делать? Выслать рабочих и фабричных? Но они станут голодать в деревнях, а нам надобно и мужикам деревенским помочь. Что делать?» Обращаться же к высшим властям бесполезно, ибо в Питере сами не свой хлеб едят.

Голицын велел Стромиллову:

— Собрать купцов первых гильдий, всех толстосумов, коих в Европе принято именовать капиталистами, пригласить и хлебных торговцев... Я их всех за шулята трясти стану!

Собрались. Бороды у всех — во такие, словно лопаты. Солидно покашливали, косясь на позолоту пилонов, на голых алебастровых бабенок, что безо всякого стыда подпирали колонны княжеских хором.

— Итак, — начал Голицын, отчаянно лорнируя «капиталистов», — запасов хлеба в городе едва хватит до февраля. Москве не повезло! Долг каждого русского гражданина не сидеть на мешках с золотом, а помочь своим соотечественникам. Пошлем поверенных лиц на Волгу, купим там хлеб, а продавать его в Москве станете так, чтобы о барышах не думать... Я хотя и князь, но беднее всех вас. Сейчас у меня в наличии всего семьдесят тысяч рублей и не золотом, конечно, а лишь ассигнациями. Из этой суммы я оставлю себе только десять тысяч, остальные же...

Остальные он выложил на стол, после чего московские миллионеры, не прекословя и даже не жадничая, завалили его горами своих подношений. Не прошло и минуты, как подписной лист жертвователей насчитывал уже сумму в 1 300 000 рублей. С Волги подвезли обозы с хлебом, и цена одного куля опустилась до 22 рублей. «Губерния и столица были сыты, крестьяне в деревнях не ели мякины, коры и навозу, как это было в других губерниях, а смертность (в Москве) не возвысилась над обычной...»

Вскоре скончалась Татьяна Васильевна, а князь, овдовевший, получил титул «светлейшего». Опять по рукам был пущен подписной лист, на этот раз собирали уже не от голода, а от сытости: было решено украсить Москву бюстом генерал-губернатора. Бюст был исполнен скульптором Витали, но вмешался император Николай I, запретивший выставлять его перед публикой.

— С каких это пор, — заявил царь, — вздумали украшать города памятниками живым людям? На это способны лишь сущие идиоты. Вот пусть князь Голицын сначала помрет, а тогда и решим ставить его бюст потомству в пример или не ставить...

Помереть было недолго, тем более что Голицына стали мучить боли в мочевом пузыре. Врачи говорили, что началась каменная болезнь. Все чаще ему вспоминался брат Борис, мечтавший сбересть свое имя в Пантеоне русской словесности. Дмитрий Владимирович на своем веку перевидал многих писателей, но литература его мало тревожила. Теперь, страдая от болей, князь однажды раскрыл гоголевского «Тараса Бульбу»...

Тогда был уже февраль 1842 года.

Его навестил профессор Шевырев (ставший родственником князя по жене), и Голицын сказал ему, что Гоголь нравится, он даже согласен дать ему чиновное место в своей канцелярии:

— Степан Петрович, пригласи его на мою службу.

— Не пойдет он. Ленив. Отсыпается.

— И пусть дрыхнет. А я ему за его сны жалованье платить стану. Еще лучше — разбуди его, пусть почитает мне новое...

Чтобы завлечь к себе Гоголя, князь начал устраивать у себя «литературные четверги». Теперь-то мы знаем, отчего на исходе жизни он вдруг заинтересовался литературой. Из Петербурга ему наказали следить за писателями, чтобы лишнего не болтали, но князь, человек благородный, придумал эти «чтения» по четвергам в своем салоне, дабы успокоить высшие власти своим присутствием. М.А. Дмитриев, племянник поэта (и сам поэт), писал: «Эти четверги князя были самыми приятными... На них мы говорили гораздо свободнее, нежели у нас (в кругу литераторов), потому, что с нами был сам генерал-губернатор... мы никого уже не боялись!» Каждый четверг князь Голицын спрашивал:

— А где же Гоголь? Или он в жалованье не нуждается?

Два профессора, Шевырев с Погодиным, наконец-то взяли Гоголя под руки и «представили его князю словно медвежонка». Гоголь, не сказав ни слова, спрятал ладони между стиснутых колен, опустил голову столь низко, что гости видели только его затылок, — так и просидел весь вечер, словно подсудимый перед вынесением ему приговора... «Четверги» в доме князя закончились, ибо он хворал, а боли становились уже невыносимыми.

Светлейшего отвезли в Париж, где из пяти врачей только один, испанец Матео Орфила, точно определил болезнь князя — р а к! — и Орфила протестовал против операции, но Голицына все-таки разложили на операционном столе, на котором он закрыл глаза и более уже не открывал их — никогда...

Таков печальный конец жизни сына «пиковой дамы».

Но боюсь, что окончание моего рассказа будет еще печальнее.

Голицынская библиотека в Больших Вязёмах была уникальной, и нет слов, чтобы пересказать о тех старопечатных сокровищах, что хранились в ней с незапамятных времен. Мечта князя Дмитрия Владимировича — основать в Москве публичную библиотеку, которой он хотел подарить свои книги, эта мечта не осуществилась, а в 1919 году из его имени вывезли 25 000 томов редкостной литературы, которая и была разрознена по всяким библиотекам

страны. Заодно уж тогда из Вязём вывезли (а частично попросту разграбили) ценности — портреты, бронзу, мрамор, миниатюры, а в самом дворце Голицыных расположились какие-то конторы бюрократических учреждений.

Наконец в 1949 году в соседнем сельце Захарове, где протекало детство поэта Пушкина, установили памятный обелиск, торжественно объявив, что он имеет «государственное значение». А рядом погибал и разрушался прекрасный дворец Голицыных — свидетель старой русской истории, но до него никому не было дела, и в захламленном вязёмском парке, когда-то прекрасном, паслись тощие колхозные коровы...

Впрочем, не ради этого я писал. Думается о другом.

Сколько лет я читаю только о разрушениях, но я, пессимист по натуре, уже не верю в то, что чудесные памятники нашего былого можно возродить из руин и праха. Нам, русским, теперь осталось последнее — только вспоминать.

Вот этому я и посвятил всю свою жизнь.

Чтобы вспоминать!

Этот беспокойный Кривцов

Помнится, еще в молодости мне встретился любопытный портрет благоприятного человека в очках, под изображением которого пудель тащил в зубах инвалидные костыли. Это был портрет Николая Ивановича Кривцова. Писать о нем легко, ибо его не забывали современники в своих мемуарах, но зато и трудно, ибо перед этим человеком невольно встаешь в тупик: где в нем хорошее, а где плохое? Одно беспокойство.

Впрочем, если читатели останутся недовольны моим рассказом, я отсылаю их к замечательной книге М. Гершензона «Декабрист Кривцов и его братья», но я поведу речь о человеке, далеком от движения декабристов. Я приобрел Гершензона еще в молодые годы, примерно в ту пору, когда меня удивил этот пудель, несущий

в зубах костыли. На моем экземпляре титул украшен надписью: «Акиму Львовичу Волинскому дружески от автора».

Но это так — попутно. А с чего же начать?

Николай Кривцов, еще подпоручик, стал известен императору Александру I необычайным пристрастием к холоду. При морозе в 20 градусов он ходил налегке, зимою спал при открытых окнах, в его комнатах не было печек. Помимо этого Кривцов обладал еще одной способностью — смело проникать в дома, где его не считали дорогим гостем. Так, однажды он — в мундире нараспашку — был замечен государем перед домом французского посла Коленкура, и царь, гулявший по набережной Невы, в удивлении навел на него лорнет. Полагая, что наказание за нарушение формы неизбежно, Кривцов явился в свой полк, доложив командиру, что государь лорнировал его слишком пристально, а за расстегнутый мундир командир посадил его на гауптвахту. Через день его вызвал цесаревич Константин, спрашивая — где он был вчера?

— В посольстве у герцога Коленкура.

— Молодец! Мой брат император указал похвалить тебя за то, что не шаромыжничает, а бываешь в хорошем обществе...

В битве при Бородине Кривцов был жестоко ранен в руку и при отступлении из Москвы оставлен в госпитале. Однажды проснувшись, он увидел себя лежащим среди французских офицеров, раненных, как и он, в Бородинском сражении. Маркиз Коленкур при посещении своих соотечественников заметил и Кривцова:

— О, как это кстати! — воскликнул бывший посол. — Уверен, что вас непременно пожелает видеть мой великий император.

— Вы, — отвечал Кривцов, — даже не спросили меня, желаю ли я видеть вашего императора...

Москва горела. Коленкур дал понять, что Кривцову лучше не возражать, иначе его потащат силой. В этом крылась некая подоплека. Наполеон, уже понимая, что войны с Россией ему не выиграть, желал начать переговоры о мире, а посему он искал среди русских посредника для связи с Александром. Но диалог поручика с императором развивался не в пользу Наполеона:

— Как не стыдно вам, русским, поджигать свой город!

— Мы, — отвечал Кривцов, — благоразумно жертвуем частью своего наследства ради сохранения всего целого.

— Целое и так могло быть спасено — миром!

— Но мы, русские, слишком гордые люди.

— Я устал от фраз... уведите его обратно! — распорядился Наполеон, догадываясь, что этот человек для его секретной дипломатии никак не пригоден...

Вскоре он оставил Москву и оставил в Москве своих раненых, которые решили отстреливаться из окон от казаков. Было ясно, что казаки, обозленные выстрелами, сейчас перебьют всех. Кривцов накинул мундир и обратился к французам:

— Коллеги, а вам разве не кажется, что вы эту партию проиграли, и потому я объявляю всех вас своими военнопленными.

После чего вышел на улицу перед казаками, убеждая их не предаваться мести, что вызвало гнев казаков.

— А ты кто таков? — кричали они из седел.

— Я? Я... московский генерал-губернатор, — самозванно объявил Кривцов, но от кровопролития он французов избавил, за что Людовик XVIII наградил его позже орденом Почетного легиона.

Долечиваться Кривцова отвезли в Петербург, где Александр I подарил ему пять тысяч рублей. По этому поводу Гершензон верно заметил: «Это было первое из многочисленных денежных пособий, которые он сперва удачно получал, а после научился искусно выпрашивать». Выздоровев от раны, Кривцов нагнал армию уже в Европе, и после битвы при Бауцене честно заслужил чин штабс-капитана. Наконец, настал и великий день великой битвы под Кульмом.

— Ядро! — вдруг закричали солдаты...

В последнюю минуту сражения французы выпустили из пушки самое последнее ядро. Но именно это ядро (последнее!) оторвало Кривцову ногу выше колена. При операции, дабы избежать гангрены, хирурги так его искромсали, что обнажилась кость. Кривцов

лежал подле знаменитого Моро*, которого навестил император, заметивший и Кривцова:

— Бедный! Опять не повезло тебе... Чего желал бы?

— Единой милости: быть погребенным в Париже.

— До Парижа еще далеко, но я тебя не оставляю...

Он увидел Париж, а Париж увидел Кривцова, который завел знакомство с Лагарпом, Талейраном, мадам де Сталь, Шатобрианом и прочими, о которых еще никто не сказал, что им ума не хватало. Близкий царю Лагарп отрекомендовал Кривцова как человека замечательного во всех отношениях, после чего Кривцов получил еще 5000 рублей, а заодно был произведен в капитаны. Намечался Венский конгресс, но какой же, спрашивается, это конгресс без Кривцова, и в салонах венской аристократии он прыгал на костылях от одной красавицы к другой гораздо резвее, нежели те, что оставались двуногими. Впрочем, навестив Лондон, Кривцов заказал там пробковые протезы, сделанные столь мастерски, что они выглядели естественно. Когда Александр I снова увидел Кривцова в Париже, легко и безмятежно вальсирующим, ему показалось, что это не Кривцов, а лишь двойник Кривцова.

— Верить ли глазам? — спросил он, лорнируя.

— Верьте, ваше величество, таких ног ни у кого нету, и один экземпляр я дарю инвалидному дому Парижа, как образец...

За границей он оставался еще два года, исколесив всю Европу, «всюду заводя знакомства с выдающимися людьми, слушая лекции, изучая устройство школ, судов, тюрем, богаделен и все занося в дневник с мыслями о России», — последнее очень важно, ибо Николай Иванович оставался большим патриотом. Путешествуя же, он кланчил деньги у матери, у царя и вообще у всех, кто встречался ему на пути, сохраняя при этом такой пренебрежительный вид, будто оказывает снисхождение своим заимодавцам.

В феврале 1817 года Кривцов вернулся на родину и, отставленный от военной службы, был сделан камергером, причисленным к

* Похоронен на Невском пр., в С.-Пб. с почестями рус. фельдмаршала. Об этом человеке я написал роман под названием «Каждому свое».

Министерству иностранных дел. Это был год, когда юный Пушкин выпорхнул из Лицея, и Кривцов, конечно, свысока приметил гения, сдружившись со всеми членами литературного «Арзамаса». Сам он стихов не писал, зато имел о стихах свое мнение. Вольтерьянец по убеждениям, он бравировал мыслями о республике, но при этом не забывал, что рог избытия находится в царских палатах. Апломб его был таков, что придворные диву давались: какое нахальство! Кривцов мог, например, явиться во дворец незванный и просил доложить императрице о своем появлении, дабы иметь аудиенцию для разговора о будущем. Кривцову многое прощалось, ибо такой великолепной ноги, как у него, в России больше не было, а на будущее он не скрывал своих планов:

— Мне желательно получить пост посла в Америке...

Царь морщился, говоря, что для Кривцова достаточно, если он будет лишь состоять при посольстве в Лондоне. Посверкивая очками, поскрипывая протезом, Николай Иванович задумывался о выгодном браке, чтобы невеста была и знатна, и богата. Принятый в доме сенатора Вадковского, он заметил у него дочь Екатерину Федоровну, которая имела большую для него ценность — как внучка графа Чернышева (герб!) и как владелица большого приданого (деньги!).

Однако девица оставалась холодна как лед, а Кривцов при всем желании не мог изобразить пламя. Его ухаживания были назойливы, а равнодушие девицы бросалось в глаза. Но зато как же он был доволен, когда однажды, прогуливаясь с ним в саду дачи Строгановых, Катя Вадковская перешла все границы приличия, позволив Кривцову — стыдно сказать! — нести свою шляпу. Такое ошеломляющее доверие было тогда равносильно самому жгучему поцелую...

Да, читатель! Кривцов так много сделал, чтобы осчастливить себя браком с Катей Вадковской, что теперь мы будем уверены в том, что он сделает еще больше для того, чтобы она стала несчастной...

Наконец, было принято решение, оскорбительное для Кривцова: состоять при посольстве в Лондоне, но... сверх штата, а жалованье угрожало ему всего лишь в 2000 рублей. Не стерпев такого унижения, Кривцов заявил, что весь в долгах, почему он не может покинуть столицу, и царь, снисходя к его слабости, расплатился с долгами Кривцова (заодно уж он выпросил для себя и все годовое жалованье вперед).

К этому времени Кривцов был с Пушкиным уже на «ты», и, провожая его в Лондон, поэт подарил Кривцову исполненный соблазнов «Пукель» Вольтера, приложив к нему свои напутствия:

Прости, эпикуриец мой!
Останься век, каков ты ныне...

Кривцов остался самим собой, и, униженный сверхштатным положением, он, кажется, был уверен, что сумеет в Лондоне свергнуть официального посла — князя Ливена. Конечно, это ему все-таки не удалось, но скандалов в русском посольстве он устроил достаточно... Пребывание в Англии стало для Кривцова решающим: здесь ему полюбилось все без исключения, и он, как большинство русских бар того времени, сделался отъявленным англоманом. Яков Иванович Сабуров, хорошо знавший Кривцова, писал, что ему в Англии все нравилось, особенно аристократия, до того, что он в кругу нашем слыл англоманом, отчего и сам не отпирался. Выше Англии он ничего не знал и признавался охотно в этом своем пристрастии.

— Все, что мы можем придумать лучшего, — говорил Кривцов, — так это лишь перенять все то, что сделано в Англии...

Обремененный солидным багажом английских привычек и вкусов, Кривцов покинул Англию, жаждая перенести на святую Русь английский пейзаж, английские нравы (заодно с пудингами и кровавыми ростбифами), чтобы впредь жить непременно в замке, который он выстроит на родимых черноземах. По дороге домой он задержался в Варшаве, где тогда пребывал Александр I,

и предъявил его величеству солидный счет к оплате своих талантов. Это ему удалось, как не удавалось еще никому, Кривцову дали все, что он просил, вплоть до 100 000 рублей ссуды. Но, кроме денег, Николай Иванович выпросил у царя чин статского советника и дом в Царском Селе. Увидев, как он беззастенчиво залезает в царскую шкатулку, историк Карамзин тогда же ядовито заметил в кругу друзей:

— Вот вам и либерал с замашками русского вольтерьянства! Кажется, наш Кривцов из полка республиканцев уже выбыл...

Он вышел из дипломатии, прося о переводе по Министерству внутренних дел, чтобы получить место губернатора. Тогдашний министр Кочубей соглашался сделать его лишь вице-губернатором то ли в Крыму, то ли в Петрозаводске, и царь соглашался с мнением своего министра:

— Для губернатора в центральных губерниях России вы, согласитесь, еще слишком неопытны и... молоды.

— Вот именно! — задиристо отвечал Кривцов. — Пока я еще молод, я способен принести пользу государству, а что толку с меня старого, когда я начну посыпать песком ваши парковые дорожки...

Вскоре он повел к венцу Катю Вадковскую, очень выгодную для него, ибо земли Вадковских в Орловской губернии примыкали к наследственным землям дворян Кривцовых, обретенным ими еще при царе Горохе. В августе 1821 года жена одарила его дочерью Софьей (которая стала позже женою Помпея Батюшкова, племянника известного поэта), но с получением губернии князь Кочубей явно тянул. Выручили Кривцова его светские и литературные связи, и тот же историк Карамзин сказал императору:

— Он ведь, пока ему рогов не обломают, все равно не успокоится... Дайте ему губернию, а мы поглядим, как он там — на радость мужикам! — пудинги с изюмом выпекать станет.

Царь рассмеялся и выразил согласие:

— Это верно, Николай Михайлыч! До чего же неспокойный этот Кривцов... как раз вакантно место губернатора в Туле.

Это назначение состоялось в апреле 1823 года. Известие о том, что едет губернатор с ногою, сделанной из легчайшей пробки, не оставило туляков равнодушными скотами, и они дружно высыпали на улицы, встречая губернаторский «поезд» карет и подвод, на которые вкатывалась добротная английская мебель, никак не похожая на отечественные табуретки и лавки.

Далее началась комедия с трагедийным колоритом. Либерал на словах, Николай Иванович на деле являлся сатрапом, прибывшим в Тулу со своими идеями, — и попробуйте не уместиться в жесткие шаблоны его воззрений, он вам покажет кузькину мать во всей ее первозданной красоте! Гершензон прав, говоря, что «в натуре Кривцова было что-то нестерпимо-обидное для людей». Считая, что только ему открыта истина, он не желал знать, что люди могут судить совсем иначе, нежели он, и силою втискивал их в условные рамки своих умозаключений, добытых не из опыта путаной русской жизни, а скорее высосанных из пальца.

Говорили, что Кривцов преследует взятки, — не спорю, он сам не брал и другим брать не давал. Но, простите, что делать человеку, который не в силах добиться правды до тех пор, пока не сунет в лапу чиновнику? Оставим его оскорбительный тон в разговорах с людьми, ниже стоящими, — на минутку присядем за губернаторский стол, за которым Кривцов иногда собирал тульских дворян и чиновников с их женами. Конечно, не все они прониклись духом Бенжамена Констана, не все дамы уповали на интимные откровения Жанлис, — так что Кривцову приходилось не беседовать с гостями, а лишь возвещать им нечто, хотя помещиков волновали совсем иные проблемы. Странно было тулякам, что губернатор зовет их к обеду в шесть часов вечера, когда принято ужинать. Разве не противно дворянам глазеть на пустой стол, украшенный блюдцами с изюмом и орехами, когда перед гостями ставились тоненькие рюмочки с портвейном, и следовало растягивать эту рюмочку до наступления ночи. Нет, читатель, туляки в англоманы не годились и уходили, рассуждая:

— Глаза бы мои не видели! По-моему, Карп Харитоныч, лучше уж сразу налить доверху пенную чашу, хватил ее до дна — и спать. А то грызи тут орешки, словно белка, соси изюминки...

— Нет, — рассуждали дворяне, — долго он не удержится...

Не удержалась при нем и жена, которую после рождения дочери Кривцов отстранил от себя, заведя пассию Елизавету Горсткину, которую и таскал за собой повсюду. Екатерина Федоровна, чтобы вернуть прежнее расположение мужа, пыталась вызвать в нем спасительную в таких случаях ревность, «однако же, — писал современник, — Кривцов никогда не ревновал, что приводило его жену в отчаяние...». Освоившись на новом месте своего «княжения», Кривцов начал драться. Во время объезда губернии побил палками станционных смотрителей, которые по Табели о рангах приравнялись к XIV классу, и потому они, как дворяне, стали писать жалобы. Сенат сделал Кривцову выговор, а потом и строжайший выговор. Кривцов отвечал сенаторам, что он «прощает» всех, кого излупил палками, после чего князь Кочубей соизволил заметить:

— Это уже верх неприличия. До чего же беспокойный этот Кривцов! Нет ли для него иной вакансии?

Тула не стала удерживать Кривцова в своих пылких объятиях, провожая «поезд» губернатора насмешками и презрением. Теперь Кривцов ехал губернатором в Воронеж, в указе же было сказано, что он переводится «для поправления губернии», из чего можно сделать вывод, что Тульскую губернию он уже «поправил». Теперь дело за Воронежем, который ждет не дождется нового владыку. «Сделай милость — усмирись!» — заклинал его письменно князь Петр Вяземский, поэт и приятель Пушкина...

Невольно вспоминаются строки Дениса Давыдова:

А глядишь — наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус и в рыло.

Настал 1825 год, слишком памятный для Кривцова.

Его родной брат Сергей — декабрист и сослан в Сибирь, брат жены Федор Вадковский — тоже декабрист и тоже был сослан, наконец, его фаворитка Лиза Горсткина, родственница декабриста Горсткина, тоже сосланного. Но сам Николай Иванович был весьма далек от событий в Петербурге, делая карьеру в Воронеже, и никак не думал, что год восстания декабристов в столице станет для него годом «революции» воронежских чиновников...

Приехал он в Воронеж, имея самые благие намерения, занял губернаторский дом, который и обставил с комфортом. Он был в расцвете сил, высокий и представительный: имел большой лоб, коротко стриг волосы, носил очки в золотой оправе, отличался красноречием и обладал ловкостью в движениях так, что немногие знали о его протезе. Спору нет, Кривцов был намного умнее и образованнее своих чиновников, явно презирая их, а они, в свою очередь, не выносили его барского тона, глумились над его бескорытием, исподтишка гадили ему, сочиняя доносы...

Между тем жители Воронежа благословляли губернатора: воронежский старожил Дмитрий Рябинин в 1874 году вспоминал: «Кривцов, не беспокоя их лишними налогами, вымостил улицы и разбил бульвары, выкопал колодцы, чтобы жители не таскали воду из реки ведрами, обставил город добротными зданиями». «Дело», погубившее его, возникло из пустяка. Тяжба некоего Захарова много лет тянулась в Сенате, наконец решилась в пользу истца, и Николай Иванович, довольный таким исходом дела, подписал бумагу в пользу Захарова. Но чиновники, оказывается, изменили в бумаге текст, написав противоположное, а Кривцов подмахнул бумагу, даже не вникнув в нее. Когда же подлог обнаружился, он в гневе вскочил в канцелярию губернаторского правления — с угрозами:

— Все у меня в Сибирь по этапу потащитесь... Воры! Кто подложил мне решение Сената не в пользу Захарова? Ты?

Перед ним стоял заслуженный советник Кандауров.

— Мошенник! — и отвесил ему звучную оплеуху.

Вы думаете — Кандауров обиделся или заплакал? Ничуть не бывало! Опытная канцелярская крыса знала, что надо делать в таких случаях. Кандауров обернулся к секретарю правления:

— Будьте свидетелем! И занесите в журнал, что наш губернатор, пребывая в состоянии умоисступления, оскорбил меня рукотворным действием... Поставьте дату и время.

Теперь поехало в Сенат дело о «помешательстве» губернатора. Александр I уже отошел в мир иной, залпы пушек на Сенатской площади возвестили новое время царствования, а Николай I оставался для Кривцова загадкой. Он срочно списался с Карамзиным, спрашивая его совета — как быть? Историк отвечал, что сейчас — после восстания — императору не до Кривцова, и советовал впредь быть в общении с людьми хладнокровнее...

Кривцов печалился не перед женой, а изливал свои обиды на пышной груди Горсткиной, которая не покидала его:

— До чего же завистливы и злы эти мелкие людишки, приспособленные едино лишь каверзничать тем, кто благороднее их всех...

Николаю I и впрямь было тогда не до Кривцова, а потому дело о нем он решил осенью 1826 года.

— Не будь я царем, я бы тоже дрался! Но Кривцов превысил все нормы приличия. Уберите его из Воронежа...

Кривцова перевели в Нижний Новгород, где он никого не успел образумить, ничего не построил, зато именно здесь, на берегах матушки-Волги, завершилась его карьера. По делам жениного имени отъехал в тамбовские края, и, как пишет Гершензон, «проезд его туда и назад оказался для попутных станций настоящим погромом». На всем пути, меняя лошадей усталых на свежих, он безжалостно избивал и калечил палками ямщиков, станционных смотрителей, деревенских старост, и, наконец, нещадно избил арзамасского исправника. Столичные сенаторы еще не разобрались с воронежским делом, как им подсунили новое — нижегородское. Комитет Министров вынес решение, что Кривцова «по обнаруженному им строптивому и запальчивому характеру... неприлично и

вредно для пользы службы оставлять в звании начальника губернии». Об этом было доложено императору Николаю I.

— Я не понимаю, — сказал он, — отчего так долго возятся с этим беспокойным Кривцовым... Лучше всего его убрать из губерний совсем и причислить к департаменту Герольдии. Наконец, — досказал царь, — мне совсем непонятна та щедрость, с какой мой покойный брат одаривал Кривцова деньгами. Пора без проволочки взыскать с него те самые сто тысяч рублей, что он получил и не думает возвращать...

Узнав об этом, Кривцов кинулся в Петербург, но в столице никто не желал с ним разговаривать: новые времена — новые люди, никакое красноречие не помогло. Тогда он напялил придворный мундир, прицепил сзади золотой ключ камергера и подъехал к Зимнему дворцу, где должен быть бал и «выход» императорской четы. Но обер-камергер, заметив Кривцова, тактично не позволил ему присутствовать на вечернем балу.

— Но я же камергер двора его величества.

— Это я знаю. Но ваше имя из списка придворных чинов кем-то вычеркнуто, и я подозреваю самое худшее...

14 июня 1827 года Кривцов навестил Карамзина, где повидал и Пушкина; Кривцов сказал поэту, что теперь к его званиям надо прибавлять слово «экс» — экс-баловень судьбы, экс-губернатор и экс-богач, который не знает, у кого занять денег.

— Только не у меня, дружище! — отвечал Пушкин...

Итак, все кончено, и предстояло еще где-то занимать сто тысяч рублей, чтобы вернуть их в оскудевший «рог изобилия», столь щедрый совсем недавно. Потрясенный крахом судьбы, Николай Иванович с семьей, домочадцами и конечно же с Лизаветой Горсткой отъехал в село Любичи Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Отсюда, кстати, было недалече и до пушкинского имения Болдино Лукьяновского уезда... Жена спросила:

— Друг мой, что ты здесь собираешься делать?

Любичи принадлежали не ему, а его жене, но он решил, что остаток жизни проведет именно здесь — в глуши... Кривцов удалился в подвал усадьбы и просил не мешать ему. Весь день он пилил и строгал, сколотив для своих похорон отличный и крепкий гроб. Когда же поздно вечером, закончив работу, он вышел к семье, его не узнали...

Делая себе гроб, он разом поседел.

Началась новая жизнь Кривцова — и в ней, в этой иной жизни, мое мнение об этом беспокойном человеке резко меняется...

Кривцовское имение было продано в счет уплаты казенного долга, о котором Николай I не забывал. Любичи же, в которых он поселился, было имением жены, примыкающим к рубежам Саратовской губернии; имение было сильно запущенным, почти голое, иссушенное зноем место с неплодородными почвами, любические крестьяне перебивались из кулька в рогожку.

Через несколько лет Любичи было не узнать. Посреди выжженных солнцем пустошей вырос зеленый душистый оазис, в котором сказочно белел стройный замок (мечта англомана все-таки исполнилась). Кривцов закупил в Европе сельскую технику, отстроил мужикам хорошие дома, но и себя не забывал. Любичи стали парком, сады и огороды крестьян поражали, плодоносили на славу, а в оранжереях Кривцова вызревали даже русские ананасы (забытые на Руси после смерти Екатерины Великой).

Все сделал он сам, планируя земли, как отличный геодезист, давая дельные советы, как опытный агроном, а постройки он возводил по собственным планам, как талантливый архитектор. Мало того, Кривцов завел в Любичах школу для детей крестьян, а молодые парни у него тоже не сидели по вечерам на завалинках: Кривцов готовил из них животноводов и мелиораторов, в Любичах появились свои садовники, кузнецы и даже сапожники...

Вставая с первыми петухами, Николай Иванович крутился до позднего вечера, поражая всех выносливостью и жестоким педантизмом, обо всем помня, ничего не забывая.

Молва о чудесах кривцовского хозяйствования переплелась края Тамбовщины, не только местные губернаторы и агрономы, но даже из соседних губерний ехали в Любичи помещики и управляющие имениями, чтобы (как говорится в наше время) «перенять передовой опыт коллективного хозяйствования». Ничего не утаивая от гостей, все им показывая, вплоть до гроба, который он себе приготовил, Кривцов почему-то оставался страшен для большинства гостей, и даже губернаторы садились при нем на краешек стула, становясь косноязычными попугаями: «Точно так-с... совершенно справедливо указываете... возражать не осмелюсь!».

Конечно, Кривцов оставался прежде всего баринном, и даже с любическим старостой вел себя деспотично.

— Опять! — не раз кричал он ему. — Ну куда ты прешься в своих валенках... Разве не видишь, что здесь персидские ковры разложены не для твоей знатной личности...

Дабы раз и навсегда пресечь попытки старосты ступать по коврам, Кривцов прорубил окошко в стене своего кабинета, и теперь ровно в полдень в это окошко просовывалась густопсовая бородаща верного Степана, который докладывал:

— Значица, так... Марья Антипова родила, а я ишо вчераш приметил, что Лукерья Горохова с пузом, хоша она явно и не выпячивает. За лесом мужиков послал, как велел; надоть бы нам, барин, Никиту посечь. Ён с похмелюги-то, видать, случал Ксантипку с твоим Фармазоном, жеребцом аглицким, до штой-то у них не заладилось, Ксантипка в стойло ушла печальная...

Пушкин иногда вспоминал друга младости и в феврале 1831 года переслал ему своего «Бориса Годунова»: «Ты некогда баловал первые мои опыты, будь благосклонен и к произведениям более зрелым... Нынешней осенью был я недалеко от тебя (то есть в Болдино). Мне брюхом захотелось с тобою увидеться и поболтать о старине... Ты без ноги, или почти... Прерываю письмо мое, чтобы тебе не передать моей тоски. Тебе и своей довольно...» Вскоре по-

сле пушкинского письма Екатерина Федоровна заметила в муже какое-то нервное оживление и догадалась, в чем причина его:

— Очевидно, тебя угнетает известие, что граф Дмитрий Блудов стал во главе внутренних дел... твой приятель?

— Да, мы друзья по «Арзамасу» и по Лондону.

— Думаешь с его помощью вернуться на службу?

Да, граф Блудов одним махом мог исправить его карьеру, но Кривцов, залетая, как всегда, выше меры, просил у приятеля Саратовскую губернию, а Блудов соглашался на Вятскую, и, конечно, Кривцов счел это унижением для себя, тем более что император обещал принять Кривцова на службу лишь «для испытания его качеств». Унижение не помешало Николаю Ивановичу выпросить — через Блудова — пенсию на старость...

— Я человек бедный, — скромно сказал он жене.

Круг его друзей сузился, его навещали соседние помещики — Варвара Тургенева, мать писателя, поэт Евгений Баратынский со своими шумными братьями и величавый профессор Борис Чичерин, дядя будущего ленинского наркома; иногда в Любичи навещался поэт князь Петр Вяземский (которому было суждено оставить интересные воспоминания о Кривцове).

— Я старею, — жаловался Кривцов гостям. — Начались какие-то странные боли в той ноге, которую мне столь великодушно оторвал Наполеон при Кульме... Впрочем, гроб уже приготовлен, эпитафия с гербом сочинены мною, так что моей вдове не придется хлопотать о создании надгробного памятника.

Серьезно о своей жене Кривцов никогда не высказывался, и его отношения с нею, однажды разладившись, никогда не были реставрированы. С непонятной жестокостью он словно казнил ее своим упорным молчанием, он угнетал и мучил ее своим невыносимым характером. Кажется, Кривцову даже доставляло удовольствие наблюдать, как из бывлой самостоятельной женщины она в его руках становится выжатой тряпкой. Время от времени он навещал Пензу, где проживала его старая пассия Горсткина, и при этом требовал,

чтобы жена сопровождала его. Так безжалостно растаптывал он ее женскую честь... Зато вот свою дочь Софью он обожал, с нею он всегда беседовал как бы на равных, перед девочкой Кривцов распахивал книжные шкафы, и дочь, воспитанная им, еще в детские годы отпугивала гостей своей беспощадной эрудицией, а высокой образованностью она невольно напоминала отца в его молодые годы (Софья умерла в 1901 году, будучи женою писателя и педагога Помпея Батюшкова, младшего брата нашего известного поэта)...

Годы шли, а боли в отсутствующей ноге усиливались, причиняя Кривцову невыносимые страдания, которые он, обладавший большой силой воли, тщательно скрывал от домашних. Но вскоре пришлось расстаться с протезом, а дрессированный пудель стал подносить хозяину костыли. В добрую минуту жизни Кривцов подарил жене рисунок, украшенный «адамовой головой», под оскалом которого была начертана надпись: «Ни на что не надеюсь, ничего более не страшусь».

— Что это? — невольно ужаснулась жена.

— Эпитафия для моего надгробия...

Почувяв нечто, открытое лишь ему одному, Николай Иванович вдруг обернулся для жены нежным и заботливым мужем, эта неожиданная любовь под знаком «адамовой головы» уже ничего не могла исправить в их отношениях, заскорузлых под его гнетом, и бедная женщина могла теперь ответить на любовь мужа только одним — рыданиями. На каждое ласковое слово, услышанное от мужа, Екатерина Федоровна отвечала ему только слезами...

Лето 1843 года выдалось невыносимо жарким, но Кривцов — именно в такую теплынь — сильно простудился. Два дня он провел в кабинете, сидя в вольтеровском кресле, и в полдень ждал, когда в стене растворится окошко, из которого высунется бородача старосты... 31 августа староста с толком доложил барину, что в Любичах все в порядке; мериновое стадо погнали на новые пастбища, пьяных нет, народ занят полевыми работами, никто не умер и никто не родился, а сечь некого.

— Слышь ли, барин? Я говорю, что сечь некого...

Кривцов, сидящий в кресле, ничего не ответил.

Его похоронили в чистом поле за Любичами, и так странно было видеть потом в этом безлюдье часовню, которая укрывала его могилу.

Екатерина Федоровна на 18 лет пережила своего мужа, все годы своего вдовства посвятив одному лишь великому чувству — любви к нему, даже мертвому. Все худое было прощено и забыто, а жалкие крупицы добра его вдруг засверкали, словно алмазы, освещая прошлое благородным светом.

До чего страшно было ей, старухе, теперь слышать из кабинета, в котором скончался Кривцов, молодой баритон зятя и отчетливо всплески поцелуев, которыми ее дочь, ставшая Батюшковой, одела своего мужа. Дочери она сказала:

— Несчастливая! Как ты можешь целоваться среди тех стен, которые окружали твоего отца в день его кончины?

Все, связанное с Кривцовым, теперь для нее было свято. И наконец, наступил торжественный и великий для нее день, когда она, уже старуха, с трепетом развернула дневник покойного мужа, который он вел еще в дни своей молодости. Нет, не знала она, как он был влюбчив, какой страстью пылал он к какой-то женевской Амалии, как отвергла его в Швейцарии бедная перевозчица через озеро. Наконец она прочитала и о том, как был счастлив Кривцов, когда она, юная Катя Вадковская, однажды великодушно позволила ему нести свою шляпу...

Но... что это? Вот этого-то она и не ожидала!

Дневник Кривцова был насыщен признаниями в любви к Отечеству, к своему народу, который он боготворил, предвидя его великое будущее, и Кривцов, беспокойный и нетерпеливый, все-таки находил время, среди множества удовольствий молодости, целые страницы исписывать признаниями в своем патриотизме. «Служить для блага Родины — вот единственная цель всех моих помыслов, всех трудов и всей самой жизни». И уж совсем не ожи-

данно для Екатерины Федоровны было узнать, что ее муж смолоду был убежденным противником крепостного права. Это ее ошеломило, она еще раз перечитала слова Кривцова, начертанные им еще в 1814 году: «Рожденный и воспитанный в стране рабства, я слишком хорошо знаю, каково оно, и могу только страдать от сознания, что никогда не увижу расторгнутыми эти позорные цепи».

— Бедный ты мой Кривцов! — расплакалась вдова...

Она скончалась в 1861 году, повторяя перед кончиной только одно, самое для нее светлое, самое радостное:

— Скоро мы будем опять вместе...

Герой своего времени

Этот человек легендарен — и в жизни, и в смерти.

Декабрист — Бестужев, писатель — Марлинский.

Сосланный в морозы Якутска, он был переведен в пекло Кавказа: в ту пору можно было слышать такие наивные суждения:

— Бестужева-то декабриста оставили в Сибири на каторге, а писателя Марлинского послали ловить чеченскую пулю...

Кавказ — обетованная земля для ссыльных и неудачников, для всех, кто не выносил однообразия и пустоты столичной жизни. Унтер-офицерский чин и солдатский «Георгий» поверх шинели — это уже завтрашний прапорщик. Декабристы искали на Кавказе спасение от солдатской лямки. А лямка была тяжела! Недаром же, когда декабрист Сергей Кривцов получил наконец чин прапорщика, он, седой человек, пустился в пляс. Правда, к нему тут же подошел осторожный князь Валериан Голицын (тоже декабрист) и шепнул на ухо:

— *Mon cher Krivtsov, vous derogez a votre dignite de pendu.* (Милый Кривцов, вы роняете ваш сан висельника.)

Кавказ пленял Бестужева не только выслугой — здесь он мог писать, и это главное. И.С. Тургенев вспоминал, что Бестужев-Марлинский «гремел как никто — и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним». Герои

Марлинского предвосхитили появление лермонтовского Печорина; им подражали в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно — с бурей в душе и пламенем в крови... Женские сердца пожирались ими. Про них сложилось тогда прозвище: *фатальный*. Секрет успеха яркой и взрывчатой прозы Марлинского в том, что он, как никто, разгадал дух своей эпохи — это был дух романтиков мятежа и благородных рыцарей, тонких акварельных красавиц и мечтательных моряков-скитальцев.

И среди пустынь нагих, презревши бури стон,
Любви и истины святой закон...

По мнению современников, ни один из портретов не передавал подлинной внешности Бестужева-Марлинского. «Это был мужчина довольно высокого роста и плотного телосложения, брюнет с небольшими сверкающими карими глазами и самым приятным, добродушным выражением лица». На большом пальце правой руки Бестужев носил массивное серебряное кольцо, какое носили и черкесы, — с его помощью взводились тугие курки пистолетов. Писатель Полевой прислал ссылному поэту белую пуховую шляпу, которая по тем временам являлась верным признаком карбонария... Таков был облик!

В гарнизоне крепости Дербента с Бестужевым случилась беда.

Через двадцать пять лет Дербент посетил французский романист А. Дюма, сочинивший надгробную эпитафию той, которую ссыльный декабрист так сильно любил:

Она достигла двадцати лет.
Она любила и была прекрасна.
Вечером погибла она,
Как роза от дуновения бури.
О могильная земля, не тяготи ее!
Она так мало взяла у тебя в жизни.

Но прежде, читатель, нам следует представиться по всей форме коменданту Дербента — таковы уж крепостные порядки!

Комендантом был майор Апшеронского полка Федор Александрович Шнитников; он и жена его Таисия Максимовна славились на весь Кавказ хлебосольством и образованностью. Понятно, как тянуло Бестужева по вечерам в уютный дом коменданта, где царствовала молодая красивая женщина, где танцевали под музыку маленького органа, где до утра тянулись умные разговоры... А куда еще деть себя? Историк кавказских войн генерал Потто писал: «Тяжелая однообразная служба в гарнизоне с ружьем в руках и с ранцем за спиной, он целые часы проводит в утомительных строевых занятиях, назначается в караулы или держит секреты. Среди такой обстановки Бестужев, человек с высоким образованием, страдал физически и нравственно». Шнитников, на правах коменданта, иногда вызывал к себе полковника Васильева, грубого солдафона, мучившего Бестужева придирками по службе, и говорил ему:

— Прошу вас помнить: солдат в батальоне у вас много, а писатель Марлинский — един на всю Россию.

— Марлинского у меня по спискам не значится! А солдат Бестужев есть солдат, и только.

— Верно, что солдат. Но ежели не цените в нем писателя, так имейте хотя бы уважение к бывшему офицеру лейб-гвардии...

При штурме Бейбурта декабрист дрался столь храбреньки, что «приговор» однополчан был единодушен: дать Бестужеву крест Георгиевский! Однако в далеком Петербурге император начертал: «Рано» — а тут и война закончилась, линейный батальон снова занял дербентские квартиры. Солдаты искренне жалели Бестужева.

— Не повезло тебе, Ляксандра! — говорили они, дымя трубками. — Вот ране, при генерале Ермолове, ины порядки были. Выйдет он из шатра своего. А в руке у него, быдто связка ключей от погреба, гремит целый пучок «Егориев». Да как гаркнет на весь Кавказ: «Вперед, орлы!» Ну, мы и поперем на штык. А после свары Ермолов

тут же, без промедления, всем молодцам да ранетым на грудь по «Егорию» вешает... Да-а, брат, не повезло тебе, Ляксандра!

Бестужев не жил в казарме, а снимал две комнатенки в нижнем этаже небольшого домика; здесь он сбрасывал шинель солдата, надевал персидский халат и шелковую мурмолку на голову, садился к столу — писать! Русский читатель ждал от него новых повестей — о турнирах и любви, о чести и славе. А по ночам он слышал дикие крики и выстрелы в городе... Шнитников его предупреждал:

— Александр Александрович, будьте осторожны, голубчик! Вокруг бродят шайки Кази-Муллы, и в Дербенте сейчас неспокойно.

— Я свою жизнь, если что случится, — отвечал Бестужев, — отдам очень дорого. Сплю с пистолетом под подушкой!

Кази-Мулла (учитель и пестун Шамяля, тогда еще молодого разбойника) неожиданно спустился с гор и замкнул Дербент в осаде. Начались сражения, Бестужев ринулся в схватки с таким же пылом, с каким писал свои повести.

— Один «Георгий» меня миновал, — признавался он друзьям, — но теперь пусть лучше погибну, а крест добуду...

Шайки Кази-Муллы отбросили, и в гарнизон прислали два Георгиевских креста для самых отличившихся рядовых.

— Ляксандру Бестужеву... ему и дать! — галдели солдаты. — Он и пулей чеченца брал, он и на штык не робок.

«Приговор рядовых» отправили в Тифлис, и Бестужев не сомневался, что Паскевич утвердит его награждение.

В это время он любил и был горячо любим.

Ты пьешь любви коварный мед,
От чаши уст не отнимая

Готовишь гибельный озноб —
И поздний плач, и ранний гроб

Оленька Нестерцова, дочь солдата, навещала его по вечерам — красивая хохотунья, резвая, как котенок, она (именно она!) умела разгонять его мрачные мысли.

— Вот, Оленька! Добуду эполеты, уйду в отставку и вернусь в Питер, чтобы писать и писать.

— А меня с собой не возьмешь разве?

— Глупая! Мы уже не расстанемся...

Женитьба на солдатской дочери Бестужева не страшила, ибо отец его, дворянин старого рода, был женат на крестьянке. Майор Шнитников и Таисия Максимовна обнадеживали декабриста:

— Быть не может, чтобы в Тифлисе не утвердили «приговор» о награждении вашем. Вот уж поспразднуем!..

Однако в восемь часов вечера 23 февраля 1833 года какой-то злобный рок произнес свое мрачное слово: нет. Оленька Нестерцова, как обычно, пришла навестить Бестужева, но в комнатах его не оказалось, а денщик Сысоев раздувал на крыльце самовар.

— Аксен, — спросила его девушка, — не знаешь ли, где сейчас Александр Александрович?

— Да наверху... у штабс-капитана Жукова с разговорами. Вишь, самовар им готовлю, да не разгорается, язва окаянная!

— Скажи, что я пришла.

— Ага. Скажу...

Выписка из архивов Дербентской полиции: «Бестужев явился на зов... между им и Нестерцовой завязался разговор, принявший скоро оживленный характер. Собеседники много хохотали, Нестерцова в порыве веселости соскакивала с кровати, прыгала по комнате и потом бросалась опять на кровать. Она “весело резвилась”, — по ее собственному выражению, но *вдруг...*»

Раздался выстрел, комнату заволокло пороховым дымом.

— Ну, вот и все... прощай, дружок! — сказала она.

Свеча, выпав из руки Бестужева, погасла. Он выбежал в сени, чтобы разжечь вторую, а когда вернулся, пороховой угар в комнате уже разволокло на тонкие нити. Ольга лежала поперек кровати, платье ее намокало от крови, она безжизненно и медленно сползала вниз головою на пол, при этом продолжая еще шептать:

— Это я... одна лишь я виновата. Бедный ты...

— Нет! — закричал Бестужев, разрыдавшись над нею.

Он совсем забыл, что сегодня ночью, проснувшись от криков, взвел курок и сунул пистолет под подушку. Оружие лежало между стенкою и подушкой; Ольга нечаянно тронула его — и пуля вошла в нее! Со второго этажа спустился штабс-капитан Жуков:

— Самовар готов. А чего здесь стреляли?

— Сашка не виноват, — сказала Ольга, зажимая ладонью рану, и пальцы ее казались покрытыми ярко-вишневым лаком.

Жуков остолбенел от увиденного.

— Беги к Шнитникову, — попросил его Бестужев. — Расскажи ему все, что видел...

Врачи не могли спасти девушку. Ольга умирала в жестоких страданиях, но до самого последнего мгновения (уже в бреду) благородная подруга декабриста повторяла только одно:

— Бестужев не виноват... резвилась я, глупая. И не знала, что пистолет... Сашка любил меня, а я любила моего Сашку...

Казалось бы, все ясно: роковая случайность. Шнитников, выслушав следователей, посчитал дело законченным. Но не так думал командир батальона Васильев.

— Он и на помазанников божиих руку поднимал, — говорил Васильев, намекая на участие Бестужева в восстании декабристов. — Так что ему стоит шлепнуть из пистолета какую-то безродную девку?

Началось второе — придирчивое — расследование:

— Зачем вы держали заряженный пистолет наготове?

— А как же иначе! — отвечал Бестужев. — На днях в соседнем доме изрубили целое семейство, в доме напротив зарезали женщин, под моими окнами не раз находили убитых... Я не страшусь погибнуть в бою, но мне противна сама мысль, что я могу быть зарезан презренным вором. Потому и держал пистолет под подушкой!

Ольга перед кончиной столь часто повторяла о невинности Бестужева, что это дошло и до Тифлиса, откуда Паскевич устроил нагоняй Васильеву, а дело велел «предать воле божией». Но Георгиевского креста декабрист, конечно, не получил.

— Теперь и не надо! — сказал он Шнитникову, а перед Таисией Максимовной не раз плакал: — Себя мне уже давно не жаль, но я век буду мучиться, что погибла юная жизнь...

Отныне уже никто не видел его смеющимся. Он часто говорил о смерти, которая уберет его с земли как солдата и оставит жить на земле как писателя. Александр Александрович начал сооружать над морем памятник. Сохранилась фотография могилы Оленьки, сделанная в начале нашего столетия. Надгробие представляло собой массивную колонну из дикого камня. Со стороны запада на обелиске была изображена роза без шипов, пронзаемая зигзагом молнии (намек на выстрел!), а под розою одно лишь слово: «Судьба». Трехгранную призму, на которой высечены слова эпитафии Дюма, свергла наземь чья-то злобная рука...

Через год он был произведен в чин прапорщика и пришел проститься с могилою Оленьки; из крепости уже трубил рожок...

О дева, дева,
Звучит труба!
Румянцем гнева
Горит судьба!
Уж сердце к бою
Замкнула сталь,
Передо мною —
Разлуки даль.
Но всюду-всюду,
Вблизи, вдали,
Не позабуду
Родной земли;
И вечно-вечно —
Клянусь, сулю! —
Моей сердечной
Не разлюблю...

Современник пишет, что почти все дербентцы провожали его «верст за 20 от города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы; музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали, и вообще вся

толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимцу своему Искандер-беку (как называли горцы Бестужева)».

1837 год застал его в Тифлисе — в этом году погиб на дуэли Александр Пушкин: полковник Мирза-Фатали Ахундов прочел декабристу свои стихи на смерть великого русского поэта. Бестужев перевел стихи Ахундова с азербайджанского на русский язык — они разошлись по всему Кавказу в списках.

Это был его венок на могилу убитого друга.

А весной на рейде Сухуми уже качались корабли Черноморской эскадры, шла погрузка десанта на палубы. Оставались считанные дни до отплытия.

Ветер наполнил паруса, унося эскадру к мысу Адлер.

На палубе сорокачетырехпушечного фрегата «Анна» солдаты распевали сочиненную Бестужевым песню:

Ей вы, гой-еси, кавказцы-молодцы,
Удальцы да государевы стрельцы!
Посмотрите, Адлер-мыс недалеко,
Нам его забрать и славно, и легко...
Ай, жги-жги, говори, будет славно и легко!

Вот и мыс Адлер... День был теплым.

Легкая волна напомнила Бестужеву его повести...

Сердце кольнуло больно о былом — невозвратном:

Я за морем синим, за синей далью
Сердце свое схоронил.
Я с тоской о былом ледовитой печалью
Грудь от людей заградил...

Прямо из бурунов прибой десант шел в атаку, и белое прибойное *кружево* великолепно рифмовалось с именем самого *Бестужева*.

Здесь, на мысе Адлер, все и закончилось навеки!

Никто не видел ран Бестужева, не видел его убитым.

В трескотне выстрелов, размахивая шашкой, он ускакал в чащу чеченского леса, словно в легенду, и увел за собой свою легендарную жизнь писателя, декабриста, воина...

Кавказская литература наполнена версиями о его гибели.

Один сослуживец Бестужева в старости вспоминал, что «тело его не нашли меж убитыми, а на одном из черкесов найдены были его пистолеты и кольцо, и поэтому сначала долго думали, что он взят в плен». За точные сведения о судьбе Бестужева штаб Кавказского корпуса объявил награду! Явился за наградой чеченец с гор, который (в знак примирения с русскими) повесил шашку себе на грудь.

— Искандер-бека не ищите, — сказал он. — Конь занес его прямо в толпу черкесов, они взяли его, долго разговаривали о чем-то, а потом изрубили его своими шашками...

Говорили, будто главнокомандующий на Кавказе получил от Бестужева записку: «Я в плену. Меня зорко стерегут, я опутан какой-то сетью... Вере отцов не изменил и продолжаю любить родину. Я написал большое произведение, которое меня прославит. Привет братьям и всем, кто не забыл изгнанника Александра Бестужева».

Народная молва приукрасила эту легенду одной деталью.

— Передайте Бестужеву, — наказал якобы Паскевич, — чтобы сидел в горах, пока мы весь Кавказ не завоюем. Если же с гор спустится, то будет до смерти заключен в крепости...

Сухумские старожилы свято верили, что где-то высоко в аулах живет, словно горный орел, какой-то русский офицер, которого зовут Искандером; он высок, строен, умен и образован, пользуется средь горцев почетом, но они стерегут его денно и ночью, чтобы он не бежал в долину...

Писатель П.В. Быков со слов своего отца, лично знавшего Бестужева, писал: «Какой-то казак будто бы клялся и божился ему, что видел Александра Бестужева в богатой сакле, что у него жена-красавица, за которой он взял хорошее приданое, и что он

по секрету (от горцев) выкупает наших пленных, а они этого даже не подозревают...»

Иногда пленных выкупали за поваренную соль, в которой горцы всегда остро нуждались. Старый кавказский воин Г.И. Филипсон писал в своих мемуарах: «В 1838 году я узнал, что у убыхов есть в плену какой-то офицер, но когда его выкупили за 200 пудов соли, оказалось, что это был прапорщик Вышеславцев, взятый горцами в пьяном виде и надоевший своим хозяевам до того, что они хотели его убить... Бестужев пропал без вести. Мир душе его! Он не дожил до серьезной критики своих сочинений, которые читались всегда с упоением».

Бестужев-Марлинский, как и его соратник Рылеев, умел сочетать романтику литературы с романтикой революции. В мемуарах декабристов он представлен «запальщиком» активности, «горячей головой» — в буре восстания он вывел Московский полк на Сенатскую площадь. После поражения восставших Бестужев решил не скрываться от суда — сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдал шпагу. Благородный рыцарь, он не страшился расправы и в письме к Николаю I открыто признал, что хотел привлечь Измайловский полк, чтобы во главе его атаковать дворец...

Пропал без вести! За этими словами всегда есть надежда, и всегда в таких словах кроется непостижимая тайна. Когда я был на Кавказе в тех местах, мне все казалось, что сейчас с гор спустится стройный офицер в белом бешмете с газырями и, подав мне руку, печально спросит:

— Неужели моих повестей больше не читают? Жаль...

Сын Аракчеева — враг Аракчеева

Кого угодно, но Аракчеева лентяем не назову. Он мог пять дней подряд пересчитывать богатый ассортимент военных поселений, пока в числе 24 523 лопат и 81 747 метел не обнаруживал убытка:

— Разорители! Куда делась одна метелка? Шкуру спущу...

Выпоров человека, граф становился ласков к нему:

— Теперь, братец, поблагодари меня.

— За што, ваше сящество?

— Так я ж тебя уму-разуму поучил.

О нем масса литературы! В числе редких книг и «Рассказы о былом» некоего Словского (издана в Новгороде в 1865 году); книга не упомянута в аракчеевской библиографии. А начинается она так: «В Н-ской губернии, на правом берегу реки Волхова, находится село Г-но. Чудное это село!» Понятно, что губерния Новгородская, а село — Грузино, которое было не только именем Аракчеева, но и административным центром Новгородских военных поселений.

Все знали тогда о небывалой страсти Аракчеева к Настасье Минкиной, которая появилась в Грузине невесть откуда. Об этой женщине написано, пожалуй, даже больше, нежели о самом Аракчееве. «Настасья была среднего роста, довольно полная; лицо ее смугло, черты приятны, глаза большие и черные, полные огня... Характера живого и пылкого, а в гневе безгранична. Она старалась держаться как можно приличнее и всегда одевалась в черное». Привожу эту характеристику Словского потому, что она конкретна и не расходится с другими источниками. Правда, Николай Греч писал о Минкиной иначе: «Беглая матросская жена... грубая, подлая, злая, к тому безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и грузным телом». Народ не понимал, отчего всемогущий граф так привязан к Настасье, и ходили слухи, будто Минкина околдовала Аракчеева, закормив его каким-то «волшебным супом», рецепт которого она вынесла из цыганского табора.

До наших дней уцелела великолепная икона Богоматери с младенцем, висевшая до революции в соборе села Грузина; под видом Богоматери на иконе изображена сама Настасья, а пухлый младенец на ее руках — это и есть Шумский, сын Аракчеева, враг Аракчеева.

Откуда он взялся?.. Настасья, желая крепче привязать к себе графа, решила завести ребенка. Но сама к деторождению была не-

способна. Случилось так, что граф долго отсутствовал, а в деревне Пролеты у крестьянки Авдотьи Филипповны Шеиной умер муж, оставив жену беременной. Однажды вечером к жилищу вдовы подкатила графская коляска, из нее вышла Минкина и — в избу.

— Ну что, голубушка? — заговорила приветливо. — Видит Бог, я с добром прибыла... Когда ребеночка родишь, отдашь мне его, а сама объяви соседям, что Бог его прибрал.

— Нет, нет! — зарыдала Авдотья. — Как же я дите свое родное отдам? Смилуйся, госпожа наша... Или нет у тебя сердца?

— Сердце мое, — отвечала Минкина, — спокойно, и потому, если не отдашь младенца, я тебя замучаю и как собаку забью! А теперь рассуди сама, сколь завидна выпадет судьба младенцу: станет он сыном графа, дадим ему воспитанье дворянское, будет жить барином. От тебя требуется лишь едино: молчать да еще издали радоваться счастьем своего дитяти...

Возражать Минкиной нельзя — уничтожит! Фаворитка графа обрадовала Аракчеева, что тот вскоре станет отцом. Авдотья Шеина поступила, как ей велели: новорожденного мальчика отдала Минкиной и сама же стала его кормилицей. Приехал граф Аракчеев, любовно нянчился с младенцем, а его доверие к Настасье стало теперь неограниченным. Поначалу мальчика называли «Федоровым», потом Аракчеев решил сделать из него дворянина. Эту операцию он поручил своему генералу Бухмейеру, пройдохе отчаянному; тот поехал в город Слуцк, где адвокат Талишевский, большой знаток польской коронной дипломатики (науки о подлинности документов), ловко подделал документы на имя шляхтича Михаила Андреевича Шумского... Воспитанием мальчика сначала занималась сама Настасья, которую огорчал яркий румянец на его щеках. «Словно мужицкий ты сын!» — говорила она и, чтобы придать сыну бледность, не давала есть досыта, опаивала его уксусом... Много позже Шумский вспоминал:

— Бедная моя кормилица! Я не обращал на нее внимания: простая баба не стоила того... Мне с младенчества прививали презре-

ние к низшим. Если замечала мать (то есть Минкина), что я говорил с мужиком или играл с крестьянским мальчиком, она секла меня непременно. Но если я бил по лицу ногой девушку, обувавшую меня по утрам, она хохотала от чистого сердца. Можете судить, какого зверя готовили из меня на смену графа Аракчеева!

Аракчеев приставил к мальчику четырех гувернеров: француза, англичанина, итальянца и немца, которые образовали его в знании языков и светских приличиях; из рук гувернеров смысленный и красивый мальчик был отдан в пансион Колленса, где стал первым учеником... Аракчеев скрипучим голосом внушал ему:

— Вам предстоит, сын мой, великие предначертания. Помните, что отец ваш учился на медные грошики, а вы — на золотой рубль!

Выйдя из-под опеки суровых менторов пансиона, Шумский попал в аристократический Пажеский корпус, где быстро схватывал знания. («А на лекциях закона Божия, — вспоминал он, — я читал Вольтера и Руссо!») В записках камер-пажа П.М. Дарагана сказано: «Аракчеев часто приезжал в Корпус по вечерам; молчаливый и угрюмый, он проходил прямо к кровати Шумского, садился и несколько минут разговаривал с ним. Не очень-то любил Шумский эти посещения...» Да, не любил! Ибо ненависть к царскому временщику была всеобщей, и Мишель уже тогда начал стыдиться своего отца. Весною 1821 года его выпустили из Корпуса в офицеры гвардии, Аракчеев просил царя, чтобы тот оставил сына при нем «для употребления по усмотрению»; на экипировку сына граф истратил 2038 рублей и 79 копеек — деньги бешеные! Осмотрев юного офицера, граф сказал ему:

— Теперь, сударь, вы напишите мне письмо с изъявлением благодарности моей особе, и письмо ваше подошьем в архив, дабы потомство российское ведало, что я был человеком добрым...

В столице, конечно, все знали, чей он выкормыш, знал и царь, который, в угоду Аракчееву, сделал Шумского своим флигель-адъютантом. Современник писал: «Баловень слепой и подчас глупой фортуны, красивый собой, с блестящим внешним образованием — Шумский, казалось бы, должен был далеко пойти: путь

перед ним был широк и гладок, заботливой рукой графа устранены все преграды, но... не тут-то было!»

Человек умный и наблюдательный, Шумский не мог остаться равнодушным к аракчеевщине... В самом деле, жили мужики в своих, пусть даже убогих, избах, но по своей воле, а теперь их жилища повержены, выстроены новые каменные дома («связи») — по линейке, по шаблону, так что дом соседа не отличить от своего; старики названы «инвалидами», взрослые — «пахотными солдатами», дети — «кантонистами», и вся жизнь регламентирована таким образом, что мужики строем под дробь барабанов ходят косить сено, бабы доят коров по сигналу рожка, и кому какая польза от того, что «на окошках № 4 иметь занавеси, кои подлежит задергивать по звуку колокола, зовущего к вечерне»? И за каждую оплошку полагались наказания: гауптвахта, фухтеля, шпицрутены. «Мы ведь только печкой еще не биты!» — говорили Шумскому военные поселенцы... Леса не нравились Аракчееву: разве это порядок, если сосна растет до небес, а рядом с нею трясется маленькая осинка? Вырубил граф все леса под корень, опутал землю сеткой превосходных шоссе, обсадил дороги аллеями, как на немецкой картинке, и каждое дерево, пронумеровав его, впредь велел стричь, будто солдата, чтобы одно дерево было точной копией другого. Порядок! Чистота при Аракчееве была умопомрачительной — курицам и свиньям лучше не жить (все уничтожены повсеместно). Собаку, коя осмеливалась залаять, тут же давили, о чем — соответственно — писалась графу докладная записка, подшиваемая в архив: мол, такого-то дня пес по кличке Дерзай вздумал тишину нарушить, за что его... и т. д. Кладбища сельские граф выровнял так, что и следа от могил не осталось. Аракчеевщина — поле чистое!

И Шумский *не хотел быть сыном Аракчеева...*

Подсознательно он уже пришел к выводу, что Минкина ему не мать, а граф — не отец его. Однажды во время прогулки по оранжереям Грузина он напрямик спросил Аракчеева:

— Скажите, чей я сын?

— Отцов да материн. Не пойму, чем вы недовольны?..

Шумский поздно вечером навестил и Настасью:

— А чей я сын, матушка?

Минкина, почуяв недоброе, даже слезу пустила:

— Мой ты сыночек... Иль не видишь, как люблю тебя?

— Врешь ты мне! — грубо сказал ей Шумский.

Настасья тяжело рухнула перед киотом.

— Вот тебе Бог свидетель! — крестилась она. — Пусть меня ноженьки по земле не носят, ежели соврала...

Шумский велел запрягать лошадей. Было уже поздно, в «связях» Грузина погасли огни, только светилась лампа в кабинете графа, когда к крыльцу подали тройку с подвязанными (дабы не звенели) бубенцами. Шумский расслышал шорох возле колонны аракчеевского дворца и увидел свою кормилицу, провожавшую его в столицу.

— Кровинушка ты моя... жа-аланый! — сказала она.

Именно в этот момент он понял, кто его мать. А мать поняла, что отныне таиться нечего. Впопыхах рассказала всю правду:

— Только не проговорись, родимый... Сам ведаешь, что бывает с бабами, которые Настасье досадят: со свету она сживет меня!

Создалось странное положение: крестьянский сын, подкидыш к порогу Аракчеева, он был камер-пажом императрицы, он стал флигель-адъютантом императора. Шумский признавался: «Отвратителен показался мне Петербург; многолюдство улиц усиливало мое одиночество и всю пустоту моей жизни. Я ни в чем не находил себе утешения». Однажды на плац-параде Александр I был недоволен бригадой Васильчикова и велел Шумскому передать генералу свой выговор. В ответ Шумский услышал от Васильчикова французское слово «бастард», что по-русски означает *выродок*...

— Нет! — заорал Мишель в ярости, и конь взвился под ним на дыбы. — Ты, генерал, ошибся: я тебе не бастард... Знай же, что у меня тоже есть родители — и не хуже твоих, чай!

Боясь аракчеевского гнева, скандал поспешно замяли, но Шумский не простил обиды. Пришел как-то в театр, а прямо перед ним сидел в кресле Васильчиков, лицо к государю близкое. Мишель первый акт оперы просидел как на иголках. В антракте пошел в буфет, где велел подать половину арбуза. Всю мякоть из него выскоблил — получилось нечто вроде котелка. И во время оперного действия он эту половинку арбуза смело водрузил на лысину своего обидчика:

— По Сеньке и шапка! Носи, генерал, на здоровье...

После этого Александр I велел Шумскому ехать обратно в Грузино; Аракчеев назначил сына командиром фузилерной роты и усадил его за изучение шведского языка (Шумский знал все европейские языки, кроме шведского). Он в глаза дерзил графу:

— Наверное, вы из меня хотите дипломата сделать? Отправьте послом в Париж, но не разлучайте с фузилерной ротой...

Герцен когда-то писал, что русский человек, когда все средства борьбы исчерпаны, может выражать свой протест и пьянством. Шумский и сам не заметил, как свернул на этот гибельный путь. Вскоре Минкина, что-то заподозрив, услала Авдотью Шеину из Грузина в деревню Пролеты; Шумский по ночам навещал мать в избе, из долбленной миски хлебал овсяный кисель деревянной ложкой и почасту плакал.

— Не пей, родимый. Опоили тебя люди недобрые.

— Не могу не пить! Все постыло, и все ненавистно...

В июле 1824 года Александр I с принцем Оранским объезжал Новгородские поселения, и Аракчеев приложил немало стараний, чтобы «пустить пыль в глаза». На широком плацу, где царь принимал рапорта от полковников, пыль была самая настоящая — от прохода масс кавалерии. Шумский, будучи подшофе, обнажив саблю, галопом поспешил на середину плаца. Дерзость неслыханная! Но... конь споткнулся под ним, Шумский выпал из седла, переломив под собой саблю.

— Шумский! — закричал царь. — Я тебя совсем не желал видеть. Тем более в таком несносном виде...

Аракчеев сгорбился. Александр I повернулся к нему:

— Это ваша рекомендация, граф! Благодарю...

Шумского потащили на графскую конюшню, где жестоко выпороли плетью. Аракчеев присутствовал при этой грубой сцене:

— Секу вас не как слугу престола, а как сына своего...

Утром он провожал императора из поселений:

— Государь! А я с жалобой к тебе: твой флигель-адъютант Шумский шалить стал... Что делать с ним прикажешь?

— Что хочешь, но в моей свите ему не бывать...

В 1825 году настал конец и Минкиной. Дворовая девушка Паша, завивая ей волосы, нечаянно коснулась щипцами лица фаворитки.

— Ты жечь меня вздумала? — прошипела Настасья и с калеными щипцами в руках набросилась на бедную девушку.

Вырвавшись от мучительницы, Паша кинулась бежать на кухню, где служил поваренком ее брат Василий Антонов.

— Кто тебя так истерзал? — спросил он сестру.

Услышав имя Настасьи, поваренок из массы кухонных ножей выбрал самый длинный и острый.

Минкина напрасно кричала, что озолотит его на всю жизнь. Антонов вернулся на кухню и вонзил нож в стенку:

— Вяжите меня. Я за всех вас расквитался...

Описать, что происходило с Аракчеевым, невозможно. Врачи даже подозревали, что он сошел с ума.

Подле могилы Настасьи он вырыл могилу и для себя. А потом в Грузии начались казни. В разгар казней скоропостижно скончался Александр I, но Аракчееву было сейчас не до этого. Все его помыслы были о Минкиной: сгорбленный и состарившийся, граф блуждал по комнатам, повязав себе шею окровавленным платком убитой... Отныне с жизнью его связывала тонкая ниточка — это... сын! И граф не понимал, отчего сын не рыдает по матери!

Они встретились в церкви, и Аракчеев сказал:

— Помолись со мной за упокой ее душеньки...

И тут Шумский нанес ему сокрушительный удар.

— *Моя мать жива*, — ответил он...

Над могилой Минкиной он изложил Аракчееву всю печальную историю своего появления в графских покоех.

— Чего же мне теперь плакать и молиться?

— Уйдите, сударь, — сказал Аракчеев, пошатнувшись.

Шумский отправился на Кавказ, где вступил в ряды боевого Ширванского полка. Здесь из него выковался смелый и опытный офицер, любимый солдатами за отвагу и щедрость души. Пять лет страшных боев, множество ран и лицо, рассеченное чеченской саблей... Он стал инвалидом и кавалером двух боевых орденов Святой Анны. В 1830 году Михаил Андреевич попрощался с Кавказом, а куда деться — не знал. Вернуться в деревню к матери — на это сил не хватило.

— Отрезанный ломоть к хлебу не прильнет, — говорил он.

Полковник А.К. Гриббе, служивший в военных поселениях, пишет в мемуарах, что однажды в Новгороде, когда он шел через мост на Софийскую сторону, его окликнул странный человек — не то чиновник, не то помещик, в коричневом засаленном сюртуке. «Вглядываюсь пристальнее — лицо как будто знакомое, с красивыми когда-то чертами, но теперь опухшее и загорелое, вдобавок — через всю левую щеку проходит широкий рубец от сабли».

— Не узнаешь? — спросил он, придвигаясь к Гриббе.

Это был Шумский, который рассказал о себе:

— Отдал меня Аракчеев под опеку к такому же аспиду, каков и сам, к вице-губернатору Зотову, но я до него скоро доберусь. Меня, брат, с детства тошнит от аракчеевских ранжиров...

Будучи в казенной палате на службе, Шумский запустил медную чернильницу в губернского сатрапа Зотова, который «уклонился от этого ядра, и чернильница, ударившись в подножие царского портрета, украсила чернильными брызгами членов губернского присутствия, кои, стараясь вытереться, еще больше растушевали свои прекрасные физиономии». Аракчеев вызвал Шумского в Грузино:

— Хотя, сударь, вы и подкидыш, но ваше имя столь тесно сопряжено с моим, что, позоря себя, вы и меня оскорбляете. Предлагаю одуматься — помолитесь-ка за меня в Юрьевском монастыре!

Архимандритом там был знаменитый мракобес Фотий, человек нрава крутейшего, носивший вериги под рясой, а монастырь Юрьевский славился тюремными порядками. В такое-то чистилище и угодил Шумский, где «как опытный мастер скандального дела он постарался расположить в свою пользу многих иноков». Затем, когда большая часть монахов была на его стороне, Шумский затеял бунт... До Фотия дошел замысел Шумского: разбежаться что есть сил и повиснуть на бороде архимандрита, не отпуская ее до тех пор, пока Фотий не облегчит режима в обители. Страх был велик! Фотий пожаловался Аракчееву, а тот переправил «сынка» в монастырь Савво-Вишерский, где настоятелем был Малиновский, человек начитанный и умный, но пьяница первой руки. Вскоре настало в монастыре такое согласие — наливает отец настоятель рюмочку, но не пьет:

— А где послушник Мишель? Без него скушно...

Наливает в келье рюмочку Шумский и тоже не пьет:

— Где этот зверь-настоятель? Чего не тащится в гости?..

Кончилась эта монастырская идиллия тем, что однажды Малиновский с Шумским клубком выкатились в церковь из кельи — к вящему соблазну черноризников и черносхимников, взыскующих жизни праведной в затворении от мира грешного. К чести Малиновского надо сказать, что он виновных не искал, а графу Аракчееву доложил честно:

— Лукавый попутал — *оба* мы хороши были!..

В апреле 1834 года, воскликнув: «О проклятая смерть!», граф Аракчеев умер, а Шумский бежал из монастыря. Долго его потом не видели. Наконец объявился: заросший бородой, в армяке мужичьем, с плетью в руке, он служил ямщиком на дальних трактах. Если полиция вмешивалась в его действия и желала «маленько поучить», Михаил Андреевич распахивал на себе армяк, а под ним сверкали боевые офицерские ордена:

— Дворянин, как видите! Сечь меня, увы, нельзя...

Вскоре он снова пропал и обнаружился в Соловецком монастыре, куда был водворен по высочайшему повелению «без права выезда оттуда». Бежать с острова невозможно, но Шумский все же бежал и вдругорядь появился на пороге полковника А.К. Гриббе:

— Здравствуй, друг! Помнишь ты меня в мундире флигель-адъютанта, а теперь полюбуйся, каков я в мужицкой рубахе. Эх, жаль, что потерял ямскую шляпу с павлиньим пером... Уж такое красивое было перышко! Кто я? Теперь я беглец, бродяга. Ушел тайным образом, от самого Белого моря питался Христовым именем... Где копейку дадут, где хлеба отломят... Вот и возвратился я на родимое пепелище, в свои пенаты... Один! Совсем один...

Гриббе из своего гардероба мог дать ему только дворянскую фуражку с красным околышем, но Шумский отверг ее:

— Не смей ты меня, полковник! Каков же я стану — при бороде и армяке с дворянской фуражкой на голове... Прощай, брат! Вряд ли мы когда свидимся. Пойду по Руси странничать...

«С тех пор я ничего уже не слышал о Шумском, — писал в 1875 году полковник в отставке А.К. Гриббе, — и не знаю, жив ли он теперь или давно погиб где-нибудь на большой дороге». Между тем Шумский снова попался властям, которые вернули его в стены Соловецкой обители. Сохранилось его письмо от 1838 года к императору Николаю I, в котором он просил избавить его от монашества, но царь распорядился держать его в келье, а за прошлые заслуги на Кавказе велел выплачивать пенсию как отставному офицеру... Шумский в 1851 году серьезно заболел, и монахи переправили его для лечения в Архангельск, где в городской больнице он и скончался.

Правда, есть глухие сведения, будто он умер не в Архангельске, а на Соловках в 1857 году; когда англо-французская эскадра вошла в Белое море, чтобы бомбардировать стены Соловецкой цитадели, Михаил Андреевич Шумский — уже старик! — вспомнил былое, когда считался неплохим артиллеристом, и под его руководством

древние монастырские пушки отвечали на залпы иноземной эскадры...

Но этот факт я оставляю без проверки!

Тот же полковник А.К. Гриббе писал о Шумском:

«Из него мог бы выйти человек очень дельный и полезный для общества; при отличных умственных способностях, в нем было много хороших сторон — он был доброй и чувствительной души, трусость ему была чужда, а смелость его граничила с дерзостью, доходя иногда до безумия. Шумский погиб в том всероссийском горниле, в котором гибнет столько человеческих личностей, нередко очень даровитых».

Печальный рассказ предложил я тебе, читатель!

Хива, отвори ворота!

Хлопок, шелк, виноград, чай... Хлопок завозили с плантаций Америки, шелк покупали у персов, виноград оципывали в Массандре тонкие пальцы аристократок, а великая мать Россия, придя в субботу из бани, гоняла с блюдца (пальцы вращаю) чаи исключительно кяхтинские. Ну а теперь, когда вступление сделано, приглашаю читателя в Оренбург. Веселого я там ничего не обещаю, но кое-что вспомним...

Кстати уж! Русское казачество расселялось по «кантонам» (как в Швейцарии), и потому о «кантонах» казаки рассуждали свободно:

— Жили мы, потомки стрелецкие, не тужили в кантоне самарском. А когда-сь «линию» нашу закрыли, велено переселяться в кантон оренбургский. Мы, вестимо, отлынивали. Тут тебе дома дедовски, скотинка пасется, трава — хоть ешь ее! Опять же и Волга течет, рыбкою кормит. На што нам сдался кантон оренбургский? Тянули, тянули, да не дотянули... Грозою налетел на нас, царствие

ему небесное, граф Перовский! Дал сроку три дни — бац, как из пушки! И на третий дѣн, чуть свет, бабы даже калачей из печек не вынули, всех нас, грешных, из Самары выставили... Теперь-с по-привык. Не спорю. Раздолье имеется. Тока не волжское, а степное. Поначалу-то гадко было. Сушь! Верблюды плюются, нехристи. Да-а... Дети вот — они Волги не видали, им и в Урале-реке хорошо летом брызгаться. Здесь и уродились. Оренбуржцы! Эй, Степанида, поставь самовар ради приятной беседы о житии оренбургском...

Из Оренбурга до столицы три недели пути, если ехать на почтовых: только выносливые фельдъегеря проскакивают до Петербурга за восемь дней — отощавшие от сухоядения, грязные и небритые, и в таком виде, даже не дав им переодеться, их сразу вели в покои к императору: «Ваше величество, вам изволит писать его превосходительство оренбургский губернатор Перовский! Вот и пакет...»

Василий Алексеевич Перовский, внук украинского свинопаса Кирилла Розума, фигура колоритная. В битве при Бородино Перовскому было 18 лет; французская пуля оторвала ему палец, вместо которого он позже носил длинный золотой наперсток. Обманом был взят в плен на московских форпостах. В обозе маршала Даву проделал весь долгий путь отступления «Великой армии» — в одном мундирчике и даже без сапог, которые содрали с него мерзнувшие конвоиры; записки Перовского о пребывании в плену и сейчас невозможно читать без содрогания. Пешком пройдя от Москвы до Орлеана, бежал к своим. 14 декабря 1825 года был «контужен поленом в спину» и стал флигель-адъютантом Николая I (что не делает ему чести). Но, будучи часто награждаем, царя никогда не благодарил (что делает ему честь). В 1828 году под Варной ему вырезали из груди турецкую пулю, увязнувшую близ самого сердца. Образованный человек острого ума, Перовский имел друзей — Жуковского и Карамзина; с Пушкиным был на «ты»; Брюллов дважды изображал его на портретах. Он был честолобив, как и большинство военных людей той эпохи, но славы не искал. При жизни были опубликованы лишь его «Пись-

ма из Италии», да и то их напечатал Жуковский, желая сделать другу приятное. Николай I неизменно к Перовскому благоволил. В 1833 году Василий Алексеевич заступил на пост оренбургского губернатора; здесь он принимал в своем доме Пушкина, собиравшего материалы о Пугачеве (Бердская слобода, столица всей Пугачевщины, находилась в семи верстах от Оренбурга). Данилевский вывел Перовского в романе «Сожженная Москва»; Лев Толстой хотел сделать Перовского одним из героев своего незавершенного романа «Декабристы». При засилии в столице Адлербергов, Нессельроде, Бенкендорфов, Дубельтов и Клейнмихелей такие люди, как Перовский, стремились бежать подальше от холопской камарильи двора, старались служить на окраинах империи...

Оренбург был форпостом — твердынею наших рубежей близ пустыни. Население — казаки с голубыми кушаками «уральцев», башкиры в островерхих шапках, военные, их семьи, переселенцы, чиновники, купцы, беглые, солдаты, ссыльные и преступники. А на «меновом дворе» караван-сарая ложатся в горячую пыль верблюды, проделавшие путь от Самарканда, Бухары, Герата и Хивы; из Оренбурга они увозят полосы железа и меди, ткани и гвозди, посуду и доски. Жизнь тут сытная, мяса и хлеба вдосталь, но зато тревожная: кордоны, пикеты, разъезды вдоль симы — границы, лай собак по ночам, ржанье конницы, улетающей в степные бураны ловить барантчей — разбойников. Кочевник и есть кочевник: ему не вручишь ноту протеста, с ним не подпишешь трактата о мире. Наказывать кочевника за разбой — то же, что бить лакея за провинность его господина. Ибо за все преступления должна бы отвечать высокомерная Хива, но до хивинского хана Алла-Куллы никак не добраться: 1500 верст безжизненных песков стерегли Хиву лучше крепостей, а жара и безводье были главным оружием хана. И Хива богатела от грабежа на караванных тропах, Хива насыщалась трудами пленных рабов, Хива благодарила Аллаха за то, что пустыни оградили ее от мщениа «неверных» урусов... Даже когда Россия не воевала,

жители Оренбуржья постоянно ощущали близость «фронта», а их семьи оплакивали потери. То здесь, то там слышишь причитания осиротевших — кого-то опять схватили в степи и погнали в Хиву на базар, как скотину. Попробуй сыщи кормильца: из Хивы его продали в Коканд, оттуда — в Турцию, а там и затерялись следы... Тяжко! Недаром оренбуржцы, взлелеяв в сердцах отмщение подлой Хиве, распевали по праздникам:

Мы избавим от неволи
Своих братьев-земляков,
Закричим мы враз «ура» —
Тут погибнет вся Хива...

Петербург отпускал на выкуп из Хивы ежегодно по 3000 рублей чистым золотом, но этого мало: выкупишь кожемяку Ивана Козлятина, а чем, спрашивается, урядник Степан Худояров хуже того Ивашки?.. Перовский не одну ночь провел над изучением путей в Хиву.

— Оренбургу и степям приаральским в покое не бывать, пока не взломаем ворота Хивы и не нанесем визит хану в его же серале. Надобно разрушить вредный миф о недосыгаемости Хивинского оазиса.

Клин вышибают клином, и Перовский велел не выпускать из Оренбурга хивинские караваны, а на товары хана наложить арест.

— Так будет до тех пор, — сказал он в гневе, — пока хан Алла-Кулла не выпустит из неволи русских людей...

Подействовало! Хан отпустил двадцать пять рабов, и они пришли на родину с караваном бухарцев. Но к обеденному столу, накрытому для них в доме губернатора, трех мучеников несли на руках, столь были измождены, а одному пленнику было уже сто двадцать лет. Коварный хан попросту избавился от рабов, уже истощивших свои силы на хивинской каторге, и Перовский уверился в своем дерзком замысле:

— Хана мы навестим с пушками, а когда солдат российский гаркнет: «Хива, отвори ворота!» — тогда вся история Средней Азии войдет в иное и благородное русло...

Загодя сушили сухари, свеклу, картошку, лук и морковку; на окраине города пыхтела паром машина для прессования сена во вычные пакеты... Готовились! Но Петербург экспедицию на Хиву не одобрял: министр финансов Канкрин плакался, что нет в казне денег; Нессельроде толковал, что Англия имеет в Средней Азии «свои интересы» и она «может обидеться»; военный министр Чернышев, сиятельный туняец, заявлял, что Перовский — фантазер, а его дружба с поэтами не приведет ни к чему хорошему. Василий Алексеевич велел готовить себе карету, но (верный любви к седлу) он проскакал до самого Петербурга верхом, будто курьер.

На придворном балу к нему подошел Николай I:

— О, Перовский! Ты приехал, наверное, потанцевать?

— Нет! Туркмены, подвластные хану хивинскому, нынче захватили астраханских рыбаков на Каспийском море, взяли четырехпшечный бот с командой, арканами переловили в степи тамбовских баб и мужиков, прибывших к нам на заработки... Доколе же, спрашиваю я, станем мы терпеть злодейства хивинских деспотов?

Первым делом экспедицию строго засекретили. А дорога на Амударью была загадочна, карты сбивчивы, и был неясен главный вопрос: когда выступать — по весне или по осени? Генерал Станислав Циолковский, местный старожил, настаивал на осеннем походе:

— В этом случае мы избегнем изнуряющей жары и безводья, ибо, оттаивая снег в пути, мы вполне обеспечим экспедицию водою.

— Но при этом, — заявлял генерал Платон Рокосовский, — вы попадете в ледяную пустыню, а топлива там нет; первыми падут верблюды, кои ни сена, ни овса не едят, а доставать бурьян из-под снега они природою не приспособлены... Верблюд — это вам, господа, не лошадь, а лошадь, увы, еще не верблюд!

Но раскаленная жаровня Каракумов казалась страшнее холода, и 14 ноября 1839 года хивинская экспедиция (подкрепленная суммой в 1 698 000 рублей) тронулась в путь. Участник похода Егор Косырев писал, что воинов всячески утепляли: «К воротнику шинели пристегивались накладные воротники из заячьего меха, обшитые снаружи красным сукном, а для предохранения лица от мороза шились из черного сукна маски с отверстиями для рта и глаз; на масках, чтобы сохранить человеческое подобие, были нашиты суконные носы... Солдат терял людской облик и походил на черта с лубочной картинки, а весь отряд имел вид легиона бесов, явившихся из преисподней!» Помимо конницы гужевую роль исполняли 12 500 верблюдов, влачивших артиллерию и станки для запуска боевых ракет, гальваномины для подрыва хивинских ворот, понтоны и челны, разборные кибитки, санитарные фуры, складные кровати для офицеров, мешки с овсом, бочки с медом, ящики с консервами, черные плитки сухого бульона — и много-много еще такого, чего никогда бы с собой не брали, знай только, чем все это кончится!

Пустыня, казалось, только и ждала, когда русские проникнут в ее пределы... Снегу выпало по колено, а потом грянул мороз в двадцать шесть градусов при жесточайшем ветре. Ночью ездовые лошади опрокинули коновязь и панически умчались вдаль, повинувшись дикому инстинкту спасения. Перовский наказал менять караульных каждый час, но карманные часы были такая редкость (даже у офицеров), что смена караулов была хаотичной. Утром многих часовых потащили в фургоны, там уже зыкали пилы, ампутируя отмороженные руки и ноги...

— На што сапоги, на што шинели! — жаловались ветераны. — Нам бы валенки да тулупы... Эх, отцы-командиры: нас не спросят!

Декабрь закружил армию в метелях. Мороз поджимал к сорока градусам: верблюды изрезали ноги об изломы твердого наста и — падали, падали, падали. Из их вьюков ветер разметывал по снегу муку и порох. Водку для обогрева замерзших не взяли, а машина

для варки на походе горячего сбитня стояла холодной — нечем было ее топить. Чтобы вскипятить чайник воды, солдаты жгли веревки и упряжь. Вокруг — ни кустика! Перовский разрешил пустить на топливо все, что может гореть. Казаки разрывали толщу снегов, добираясь до замерзших кореньев, из которых и разводили костерки. Не было сил раскинуть на бивуаке кибитку. Навьючка верблюдов начиналась в два часа ночи, чтобы успеть к выступлению на рассвете, а спать ложились после развьючки, близко к полуночи, но каждые полчаса люди вскакивали, чтобы не заоченеть, и, таким образом, ко всем тягостям прибавилась хроническая бессонница пяти тысяч воинов. Опытные ветераны чувствовали, что идут на верную гибель; говорили они так:

— Уж я и не знаю теперь, что лучше — жара или стужа?

По ночам палили фальшфейеры, чтобы отпугнуть стаи волков, которые разгребали сугробы могил, поедая погребенных. Казаки уральские поражали своей выносливостью, башкирское войско держалось превосходно, зато погонщики верблюдов, казахи и туркмены, разбегались. Перовский мрачнел все больше. Кто же мог предвидеть такую лютую зиму, какой в этих краях не помнят даже древние старики киргизы! В оазисах вымерзла вся виноградная лоза, погибло поголовье ягнят, в караван-сараях пали молодые верблюды, а в Хиве сам хан лязгал зубами в своем гареме.

Первой повымерла конница Уфимского эскадрона, составлявшего как бы личную гвардию губернатора. Остался только трубач на любимой кобыле Пене — белой и гордой красавице. Но и Пена слегла! Страшную сцену рисует нам очевидец. Кобылу обступили солдаты. Трубач постелил возле ее морды чистое полотенце и насыпал на него отборного овса. Но лошадь отвернулась, а из глаз ее покатались слезы. Трубач встал перед ней на колени, он нижайше поклонился ей в землю и зарыдал, как ребенок:

— На кого ж ты меня покидаешь... родненькая моя!

В тот же день умер и сам трубач. Верблюды выплевывали овес, не принимая его, но голод их был столь велик, что они сжевали

все рогожные циновки, заменявшие им попоны. Мясо солдаты получали исправно, но костерок горел не жарче фитиля, в котелке не успевала забулькать вода, и мясо съедали почти сырым. Заболевших отправляли в фургоны, а оттуда, как говорили, на «выписку — прямо под снег, в сугробы... Через тридцать четыре дня вышли к Эмбе! И так, треть пути преодолена. Оставалось еще тысяча верст, и тогда они крикнут: «Хива, отвори ворота!» Герои больше всего напоминали страдальцев, и страдания людские приравнялись к геройству. В утреннем полумраке рассвета солдаты видели Перовского — голова низко опущена на грудь, из-под заиндевелого башлыка торчал острый нос да сосульками свисали длинные усы... Он продержал экспедицию на Эмбе две недели, чтобы люди откормились ржаным хлебцем, какого не видели от самого Оренбурга, чтобы составить обратный обоз с ранеными. Он вел отряд по картам, небрежно составленным полковником фон Бергом, который клялся ему в Петербурге, что за Эмбой они не увидят ни единой снежинки. Но казаки, посланные в разведку, вернулись обратно и сказали, что за Эмбой снегу еще больше — по пояс!

— Виноват во всем буду я, — отвечал Перовский. — И я виноват, конечно. Виноват в том, что поверил фальшивым картам фон Берга и не послушался советов генерала Рокосовского...

На Эмбе был форт; солдаты поочередно грелись в землянках, лошади подъели запасы сена, уцелевшие верблюды радовались колючкам бурьяна. Перовский решал за всех, куда следовать: вперед на 1000 верст — до Хивы или назад на 500 верст — до Оренбурга! Здесь, на Эмбе, его навелили дружественные киргизы орды султана Айчувакова, и — большое им спасибо! — они пригнали своих верблюдов. Был срочно составлен отдельный караван, чтобы дойти до форпоста Ак-Булак, где наш гарнизон, самый отдаленный, вымирал от цинги и дурной воды (недавно акбулакцы отбили жестокое нападение хивинцев, и там было раненых). Перовский нагнал эту колонну в пути, отыскав ее по тропам павших верблюдов и лошадей. Через полмесяца, похо-

ронив в снегу половину солдат, колонна вышла к укреплению Ак-Булак; отсюда до Хивы было еще безумно далеко, а сам Оренбург с его теплыми печами, с трактирами и казармами отодвинулся от них еще дальше. Ак-Булак встретил их кладбищенской тишиной: глинобитная стенка, брустверы изо льда, обрызганные кровью, молчаливые сугробы землянок, множество могильных крестов, а люди в гарнизоне ходить уже не могли и ползали по снегу — именно здесь был крайний рубеж российской границы! На этом трагическом рубеже в груди Перовского открылась рана, полученная под Варной от турецких стрелков. Он велел писать приказ об отступлении. В землянках были оставлены гальваномины, и, когда колонна покинула Ак-Булак, безлюдье пустыни огласили мощные взрывы, уничтожившие брустверы, а заодно повалившие солдатские кресты на погосте...

Вернувшись к фортам Эмбы, Перовский отправил в Петербург донесение о том, что поход на Хиву закончился неудачей.

— Теперь, — сказал он офицерам, — надо спасти живых и вытащить с Эмбы всю нашу артиллерию, но... как вытащить, господа?

И опять на помощь русской армии пришли киргизы Айчувакова, пригнавшие для нужд экспедиции тысячу своих последних верблюдов. Но этого было мало! Артиллерию со здоровыми людьми решили оставить на Эмбе, а всех больных везти на оренбургские «квартиры». Верблюдов батовали в тройки, как лошадей, впрягали их в повозки, на которые навалом складывали больных. Перовский велел посадить в сани и усачей ветеранов, которые в молодости брали Париж.

— Париж-то мы взяли, — говорили старики, — а вот Хивка эта поганая не дается. Погода, вишь ты, здесь другая! Там виноград и здесь виноград, но погода, братец, никуда не годится... Ну, ладно! Ишо дадим хану полизать с шила нашей вкусной патоки...

Долго тянулись в безлюдье обозы. Наконец пустыня сменилась степью, из-под снега выторкнулись тощие голики кустиков.

— Слава богу, — крестились ветераны. — Вот и розги объявились, а то ведь раньше такая голь, что смотреть не на что...

А вскоре увидели они *избы*, идущих с коромыслами баб в тулупчиках, детишек, что катались с гор на козлиных шкурах, — это была казачья станица Ильинская. Перовского здесь поджидал тарантас.

— Гони... домой! — сказал он, упав на диваны.

Покинув Оренбург 14 ноября 1839 года, губернатор вернулся 14 апреля 1840 года: хивинская эпопея взяла ровно пять месяцев, почти полгода неслыханных страданий. Я рассказал лишь ничтожную толику из тех бедствий, которые выпали на долю российских воинов!

Отъезжая в Петербург, Василий Алексеевич отдал распоряжение к подготовке *нового* похода на Хиву.

— Теперь пойдем весной, — сказал он. — Нет таких ворот, которые не раскрылись бы перед нашим солдатом...

Военный министр граф Чернышев встретил его словами:

— Ну, Перовский, ты приехал оправдываться?

— Приехал, дабы утвердить план нового похода на Хиву.

— Ты уверен, Перовский, что блистательному царствованию нашего мудрого государя недостаточно одного позорного похода, и ты желаешь опозорить его величество вторично?..

Было очень жаркое лето в столице, Николай I отдыхал от русских дел на курортах Эмса, а Перовского, как неудачника, придворные старательно избегали. Поджидая царя, Перовский проводил вечера в кругу петербургских литераторов. Наконец император вернулся из Эмса, и Чернышев велел Перовскому быть завтра в Михайловском манеже. Василий Алексеевич надел мундир атамана казачьих войск, украсил грудь завитком аксельбанта, нацепил все ордена. Явившись в манеж, он подчеркнуто нарочито не пожелал стоять в группе придворных и разгуливал поодаль от них.

— Перовский, не нарушай общего благочиния, — велел министр, но Василий Алексеевич даже не обернулся на этот возглас...

В манеж прибыл император Николай I.

— А-а, здесь и Перовский! — воскликнул он. — Вот не ожидал я тебя видеть... Ну, рассказывай.

Василий Алексеевич достал длинный список имен.

— Что это у тебя за реестр?

— Прошу утвердить награждение всех участников несчастной экспедиции, кроме меня! Поверьте, любой кашевар достоин Георгия, и прошу указать министру, дабы больных для поправления здоровья на казенный счет отправили из Оренбурга в сытые провинции с умеренным климатом... в Ярославскую или, скажем, в Вологодскую!

Николай I величаво развернулся к Чернышеву:

— К исполнению! А чего ты, Перовский, хочешь для себя?

— Желая проделать поход вторично и сбить ворота Хивы с ржавых петель, смазанных кровью рабов славянских и персидских...

Чернышев сразу же вмешался в разговор:

— Не позорь нашу армию и дальше, Перовский!

Ступая по мягкому песку манежа, к ним неслышно приблизился горбоносый карлик Нессельроде, который с явным еврейско-немецким акцентом сделал Перовскому «политический» выговор:

— Вы, генерал, произвели уже все, чтобы Россия потеряла в Хиве остатки авторитета могучей воинской державы. Хива — ладно, нам до ее пустынь нет никакого дела, но... что скажет Англия? Британский лев уже рассержен вами, а это... Не скрою, это — опасно!

— Ладно, Перовский, — сказал Николай I, беря его за локоть и отводя в сторону. — Я дам тебе денег. Сколько хочешь. Оставь Оренбург и поезжай за границу. Ты сам жаловался на большую грудь...

Хотя экспедиция на Хиву была строго засекречена, англичане пронюхали о ее целях. Оказывается, пока русские шли на Хиву со стороны Оренбурга, англичане тоже двигались на Хиву — от

Афганистана. Обеспокоенные действиями Перовского, британцы уговаривали хана не раздражать впредь русских понапрасну, иначе они повадятся ходить на Хиву до тех пор, пока не разворотят его престол. Хан выслушал английских послов, но кто они такие и чего ради беспокоятся о его светлости, он так и не понял! Хивинский историк Агахи записал, что «англичане — это одно из русских племен (!), живущее к северу от России» (!), и прибыли они в Хиву лишь затем, чтобы «выразить свою преданность его величеству хану». Нелепость несусветная!

В литературе есть указание, что англичане сами уплатили хану выкуп за русских пленных, иначе хан не соглашался отпустить их из рабства. Англичанам было выгодно, чтобы хан на время присмирел в своем оазисе. Ворота Хивы раскрылись — вышел из них караван с русскими невольниками. В далекий путь на родину им выдали от щедрот хана по верблюду и по мешку муки на двух человек. Известие об этом караване произвело в Оренбурге небывалое волнение: жители города строили павильон для почетной встречи, всюду жарили, пекли и парили угощение, загодя все горожане вышли в степь... Очевидец встречи пишет: «Их били в Хиве кнутами, держали в клоповниках без пищи, оставляя на произвол ужасным насекомым. Глубокие шрамы на плечах и спине свидетельствовали об истязаниях несчастных. Некоторые были уже с выколотыми глазами и, возвратясь на родину, уже не могли видеть ее, а только рыдали. Измученные, с безжалостно оскорбленной честью женщины были ужасны! Душа кипела отмщением...» Было тут много слез, радости и трагизма. Одна старуха в изможденном старце узнала своего мужа, который молодым и красивым унтер-офицером запропал в рабстве хивинском. Пожилая казачка, пригорюнясь, долго смотрела на рослого мужчину в мусульманской чалме, не умевшего говорить по-русски, и вдруг кинулась к нему с воплем:

— Тимошенька! Да это ж ведь ты... — Мать узнала своего сына, похищенного из станицы Ильинской еще маленьким ребенком.

Как это ни странно, хивинская экспедиция все-таки *достигла главной своей цели*: Хива малость притихла, казачата уже не боялись играть на околицах станиц, через песчаные барханы плыли в зное русские караваны с товарами нижегородской и ирбитской ярмарок; на тюках с русскими цветастыми ситцами сидели brave ребята-приказчики и, держа на коленях готовые к бою нарезные штуцеры, посматривали в душное безлюдье...

Оренбургом после Перовского управлял замечательный человек, генерал-лейтенант Владимир Афанасьевич Обручев, потомство которого прославлено в нашей советской науке. Скромник, в жару и в холод не вылезавший из солдатской шинели, Обручев Хиву не беспокоил — он с умом окружил ее крепости на реке Тургае (ныне город Тургай), на реке Иргизе (ныне город Иргиз). В 1848 году русские как следует взялись за научное освоение Аральского моря; экспедицию возглавлял знаменитый мореплаватель А.И. Бутаков, в работе гидрографов участвовал и ссыльный поэт Тарас Шевченко. Нарушив инструкции канцлера Нессельроде, моряки дерзко вошли в пределы Хивинского ханства и произвели промеры амударьинского устья, а на случай дипломатических осложнений у Бутакова была припасена хорошая отговорка: мол, дули противные ветры!

Шли годы... Перовский проживал в столице, заседал в Государственном совете, где особой активности не проявлял, вроде скучая. Внешне он сильно изменился. Когда-то жгучий красавец, от которого женщины были без ума, теперь он превратился в жилистого старика с седой шапкой волос. Ходил с палкой, часто хандрил. Только близкие ему люди знали, что Перовский душою по-прежнему весь в делах Востока и прежний пыл не угас в этом суровом сановнике империи, который иногда, потрянув стариной, еще умудрялся гнуть в пальцах рублевки, разгибал подковы.

Весною 1851 года Оренбург был извещен о скором приезде нового генерал-губернатора. Губернатор-то новый, да имя у него

старое — Перовский! Местные власти готовили ему торжественный въезд в степную столицу. На дорогах расставили «махальщиков», чтобы не прохлопать приближения кареты Перовского. Наконец из степи прискакали гонцы: «Едет... пылища валит!» К заставе подкатила карета с зеркальными окнами и гербами. Осанистые старики казаки в длиннополых кафтанах, опоясанных голубыми кушаками, вышли с хлебом-солью. Вице-губернатор Ханыков приоткрыл дверцу кареты, а там, внутри ее, под зудение мух, безмятежно дрыхнул... лакей.

— А где же его высокопревосходительство?

— Василь Алексеич-то? — спросил тот, потягиваясь. — А шут его знае... За Бузулуком взял у казака лошадь, сел и поскакал!

— Куда поскакал?

— Да я не спрашивал... К вам, наверное!

Начальство кинулось к губернаторскому дому: Перовский возлежал на диване в халате из китайского шелка, с длинным турецким чубуком в зубах; на низеньком персидском столике лежали сложенные в столбик червонцы; золотым наперстком, укрывавшим отсутствие пальца, Перовский со звоном обрусил один столбик монет.

— Вот это надо отдать казаку, у которого я взял кобылу за Бузулуком. Гнал ее, не жалеючи. Ночью въехал в Оренбург, провёл ей по шее ладонью — ни потинки! Просто удивительно... Эту лошадь накрывайте под мой вальтрап. Надеюсь, она довезет меня до Хивы...

В этом же году консилиум врачей приговорил Перовского к смерти: старая рана в груди не заживала.

— Сколько мне осталось жить на этом белом свете? — спросил он.

— Год, — сказали врачи, переглянувшись.

— Хорошо! В таком случае я успею...

Врачи ошиблись на целых шесть лет. В степной глуши Перовский окружал себя писателями и учеными, открывал для казаков

школы, в Оренбурге устроил публичную библиотеку, разбивал тенистые кущи садов и бульваров...

А теперь, читатель, мы обратимся к политике.

Фридрих Энгельс писал: «Вопрос о возможном столкновении двух великих азиатских держав, России и Англии, где-нибудь на полпути между Сибирью и Индией... часто обсуждался с тех пор, как в 1839 году Англия и Россия одновременно отправили свои армии в Среднюю Азию». Имя генерала В.А. Перовского было хорошо известно Марксу и Энгельсу, и они отмечали его неукротимую энергию в естественном для всех русских людей стремлении против Хивы!

В 1839 году Перовский не покорил Хиву, но в этом году англичане вторглись в Афганистан и расставили батареи на улицах Кабула. Перовский был возмущен этой наглостью:

— Что надобно им близ наших рубежей? Гляньте на карту: где Афганистан и где Англия? От Лондона до Кабула так же далеко, как от Петербурга до Сиднея, но мы же не залезаем к ним в Австралию...

И каждый раз, когда в каракумских барханах мелькало острие русского штыка, газеты Англии издавали вопль на весь мир: караул, Россия идет на Индию! Но потихоньку Лондон при этом одаривал сатрапов Бухары, Коканда и Хивы: когда — военными советниками, когда — батареями новейших пушек. Русские купцы с удивлением наблюдали за маневрами кашгарской и кокандской артиллерии, которая повиновалась командам на... английском языке. В пустынях образовался политический вакуум, таящий в себе угрозу взрыва.

— Россия и без Хивы и без Коканда страна достаточно большая, — рассуждал Перовский в кругу друзей, — и речь завожу не о завоевании земель новых, а лишь о будущем *твердых границ* России...

«Британский лорд, свободой горд» уже хозяйничал в Азии по большой колониальной дуге — от Тегерана до Пекина. Во-

прос ставился в XIX веке так: или мы закрепим свои рубежи на Кушке, или Англия с горных высот Афганистана прольет свои вездесущие армии в цветущие долины Ферганы, выставит пушки в устье Амударьи, образуя границу с Россией в степях Оренбуржья.

Этого допустить было никак нельзя!..

Вскоре на Аральском море доставили в разобранном виде первый пароход — «ПЕРОВСКИЙ», с которого и зародилась Аральская военная флотилия, верная помощница армии. Перовский на этот раз был осмотрительнее, действовал наверняка. Хива пока додремывала свои последние сны — удар был нанесен по соседнему с нею Кокандскому ханству! Из устья Сырдарьи войска пошли вверх по течению, и кокандцы бежали, спеша укрыться в крепости Ак-Мечеть, стены которой имели толщину в пять сажен. Хивинский хан увидел, как ловко русские бьют его вассала, хана кокандского, и прислал к Перовскому посла, который начисто выложил, что хан хивинский согласен *отныне* платить Оренбургу любую *дань*.

— Какая дань? — закричал на посла Перовский. — Или вы в Хиве потеряли счет времени? Сейчас на дворе век девятнадцатый, и нам ваша доисторическая дань не нужна... Эй, вывести посла прочь!

Русские солдаты пошли на штурм Ак-Мечети и за двадцать минут овладели кокандской твердыней, которая получила новое название: «Форт Перовский» (позже город Перовск, ныне Кзыл-Орда). Россия прочно укрепилась на Сырдарье, и наступил закат Кокандского ханства, на обломках которого позже расцвела богатая Ферганская область...

Перовский за взятие Ак-Мечети получил титул графа.

Но каждой жизни есть предел, и он ощутил этот предел сам — в 1857 году, уже без консилиума врачей.

Отставка была получена, лошади поданы к подъезду.

— Прости-прощай, Оренбург.. на этот раз — навсегда!

Издавна он имел особую «слабость» к башкирам, которые платили ему ответной любовью, и, когда он покидал Оренбург, башкирские джигиты долго-долго скакали вровень с его коляской, сминая копытами сочные травы степей, ударами нагаек срубая, как шашками, пышные и яркие гроздья диких магнолий. Но вот угасла пыль в отдалении — башкиры придержали усталых коней:

— Малатса Васил Ляксеич! Такуй добра душа ни будит болша... Ай, какая была малатса! Помирал бы с нами — зачем уехал?

И долго еще в трактирах Оренбурга машинные органчики наигрывали башкирский «Пиравский марш», сложенный в память о злосчастном походе на Хиву. Потом органчики поломались, старики, помнившие мотивы марша, повымерли в дальних улусах, и не забылся только граф Перовский...

Он всю жизнь не имел своего угла и, покинув Оренбург, попросил убежища в Алушке графов Воронцовых. Лежа на смертном одре, Перовский «громко перебирал свое прошедшее, не щадя себя и не прощая себе ничего!» 8 декабря 1857 года он скончался. Близ Севастополя, в высившейся над морем скале, была высечена пещера, и в эту пещеру задвинули гроб с прахом Перовского: он и поныне лежит в этой скале, о которую с грохотом разбиваются волны Черного моря.

...Знаменитая революционерка Софья Перовская была внучкою его старшего брата, иначе говоря, она приходилась Василию Алексеевичу внучатою племянницей.

Времена Перовских кончились — настали времена Скобелевых.

Прошло всего тридцать четыре года после первого похода на Хиву, и русской армии было не узнать, освоилась в пустынных боях! Но теперь и сами хивинцы призывали Россию на помощь, желая принять русское подданство, чтобы не зависеть от произвола кровожадных ханов...

Русская армия взломала ворота, ведущие в Хиву, и белые рубахи солдат появились на узких зловонных улицах. Победителями командовал опытный полководец К.П. Кауфман.

Второго июня 1873 года под могучими вязами хивинского сераля был раскинут текинский ковер, среди ковра поставили колченогий венский стул, на который Кауфман и уселся — по чину генерала, а по бокам от него стояли наши солдаты в белых тропических шлемах с длинными назатыльниками, спадавшими на плечи.

Заслышав топот копыт, Константин Петрович сказал:

— Господа офицеры, внимание... Поздравляю всех: сейчас для России наступает долгожданный исторический момент.

Топот копыт приближался. На садовой дорожке показался хивинский хан — семипудовый ленивец, верный муж двухсот восемнадцати жен, завернутый слугами в ярко-синий халат. Он слез с лошади и, обнажив бритую голову, *на коленях* стал подползать к русским воинам, моля их о пощаде. Американский писатель Мак-Гахан, присутствовавший при этой сцене, не забыл отметить, что «теперь самый последний солдат русской армии был, пожалуй, намного сильнее хана». Да! На хана была наложена контрибуция в 2 000 000 рублей, а вместе с русскими рабами из неволи ханства были вызволены и 40 000 персов, томившихся в рабстве; уходя на родину, персы взывали к русским воинам: «Дозвольте, и мы оближем пыль с ваших сапог...»

Кауфман разговаривал с ханом от имени русской армии.

— Так вот, — сказал он, раскуривая «пажескую» папиросу (короткую, как ружейная гильза), — нравится вам это, хан, или не очень нравится, но мы, как видите, все-таки пришли навестить вас в «недоступной» Хиве, где вы так приятно кейфовали в благодатной тени своего прелестного сераля...

— Такова воля Аллаха, — отвечал хан в тупой покорности.

— Нет, хан! — отверг эту божественную «версию» генерал. — Аллах смеется, глядя на вас, ибо вы и ваша коварная политика были главной причиной нашего появления в Хиве.

Хан, не вставая с колен, еще ниже склонил голову, и ослепительное солнце пустыни било теперь прямо в толстый, как бревно, багровый затылок. Он сказал в заключение так:

— Я знаю, что поступал очень скверно по отношению к России, но... отныне я обещаю слушаться только русских начальников. Пророк предсказал, что Бухару засыплет песком, а Хива исчезнет под водой, но Аллах не знал, что мне придется стоять на коленях перед вами, пришедшими из заснеженных русских лесов.

Свободно опираясь на ружья, загорелые и усталые, с презрением взирали на ханское ничтожество солдаты — ветераны Мангышлака и Каракумов, Геок-Тепе и Красноводска (этих героев пустынь можно видеть и сейчас — в музеях страны, они смотрят на своих потомков с правдивых и красочных полотен Верещагина)!

Русский солдат не шел туда, где его не ждали.

Он шел туда, где его желали видеть как освободителя.

Он вел борьбу не с казахами, не с туркменами, не с узбеками.

В знойных пустынях русский солдат свергал престолы средневековых деспотов — ханов, султанов и беков, всю эту мразь и нечисть, что осела по барханам со времен Тамерлана.

И мы не забудем своих прадедов, которые в жестоких лишениях создавали Россию как великое многонациональное государство!

Николаевские Монте-Кристо

Иногда будто разматываешь клубок запутанных ниток...

Однажды в герценовском «Колоколе» я встретил упоминание о некоем Политковском. Затем в воспоминаниях пушкиниста П.В. Анненкова наткнулся на это же имя («три миллиона, украденные Политковским у инвалидов»), причем в комментариях сказано: смотри «Дневник» А.В. Никитенко. Что ж, раскрываю том Никитенко, из записей которого заключаю, что в 1853 году Политковский крупно проворовался, бюрократия столицы пребывала в страхе от множества ревизий, а Николай I выдал из своей железной души небывало откровенное признание:

— Конечно, Рылеев и его компания никогда бы *так* со мной не поступили...

Теперь мне интересно знать о Политковском *все*. Он уже попал в засаду. Логово вора обвешано красными флажками. Капканы на него расставлены. Пройдет год или два, может, даже десять лет, но я уверен, что Политковский непременно станет моей добычей. И он... стал! Первые мои записи о нем относятся к 1957 году, а сейчас на дворе 1974-й* — вот и считайте, сколько лет ушло на отслеживание этого редкого и крупного зверя.

Отныне о нем можно смело писать! Но прежде скажу два слова, предупреждающих события. Когда историки говорят о «прогнившей эпохе Николая I», то иногда с этим мнением не все соглашаются. Ведь внешне все обстояло благополучно. На рубежах империи возводились мощные крепости, города отстраивались в камне, флот бороздил океаны, величие России никем в мире не оспаривалось, Брюллов и Пушкин, Глинка и Каратыгины — эти люди творили как раз в эпоху, которую как-то не хотелось бы называть «прогнившей». Но вот дело Политковского — удивительно сочный мазок на полотне царствования николаевского. На время забудем про императора, отложив в сторону и «политковщину». Перед нами проплывает сонный и жирный карась — Саввушка Яковлев, с которого и следует начинать эту историю.

Савва Яковлев — миллионер, владелец золотых приисков и заводов. Когда он служил в гвардии, то в год тратил больше миллиона на забавы, причем отец угрожал ему — страшно:

— Вот, скотина безрогая, выдам тебе на год только сто тысяч рублей — будешь кость, как собака, глотать...

Николай I прощал Саввушке все его скандалы, ибо миллионер! Но однажды Савва завернул в кулек дохлую кошку, обвязал ее розами и, придя в театр, щедро бросил этот «дар восхищения талантом» к ногам актрисы Нерейтор, когда она раскланивалась перед публикой. Понюхав розы, заморская дева ощутила и некоторый запах, отчего тут же упала на сцене в обморок, а Саввушка был отставлен из гвардии.

* Год написания миниатюры. — *Примеч. ред.*

— Шалить можно, но знай меру, — сказал император...

Великосветский хулиган, окруженный легионом кутил и подхалимов, ничего не ценил — ни людей, ни вещей. Когда цирковая наездница Людовика Сполачинская ушла от него к полковнику Вадковскому, самодур перестрелял из пистолетов драгоценную коллекцию старинного саксонского фарфора. Со своими прихвостнями он поступал бесцеремонно. Однажды черт занес его в парикмахерскую на Невском проспекте, где он, развалясь в кресле, сказал им:

— Вы, огрызки моей судьбы, подождите меня. А ты, куафер, стриги мою башку под самый корень — так, чтобы на ней ничего не осталось. Стриги — не бойся, тысячу рублей дам...

Оболванили его наголо (а надо сказать, что «под нуль» тогда никого не стригли, даже преступникам каторжанам выбривали лишь половину головы). Савва Яковлев оглядел себя в зеркале:

— Ну, огрызки, как вы меня находите?

А что можно сказать человеку, который не ведает счету деньгам? И потому все мерзавцы и мерзавчики дружно восторгались:

— Превосходно! Изумительно! Ах, как вам к лицу...

— Значит, вам такая прическа нравится?

— Очень!

— Если вам понравилась моя прическа, — здраво рассудил Саввушка, — так тут, стало быть, и разговоров лишних не надобно... Эй, куафер! Валяй их всех, как и меня, под самый корень!

Однажды Савва притащил гроб в фотографическое ателье, разлегся в гробу, взял в руки свечку и велел в таком виде снимать его. Дагерротипы «со смертного одра» он разослал по почте сановникам и министрам, все короли Европы и даже президент США получили изображение Саввы Яковлева, лежащего в гробу; кто такой — непонятно, но видно, что умер... Вскоре после этого миллионер вставил пистолет себе в рот и выстрелил. Это случилось в 1847 году.

Даже самые верные его забулдыги не пошли на кладбище провожать покойника, и за пышной траурной колесницей торже-

ственно и одиноко вышагивал невысокий пузатенький господинчик — это и был герой головного процесса, Александр Гаврилович Политковский.

— Смотрите, — указывали на него прохожие с тротуара, — идет русский Монте-Кристо... Вы случайно не знаете ли, сударь, ради чего он плетется сейчас за гробом этого отпетого негодяя?

— А как же! Конечно знаю. Покойник ему больше миллиона просадил в карты. Оттого Политковский и богат, аки Крез.

— Везет же людям, как поглядишь. Тут играешь-играешь и редко когда полтинник домой притащишь...

Политковский — да! — обыгрывал Яковлева, но, желая заручиться поддержкой на случай аварии в жизни, он тут же проигрывал эти денежки... Кому бы, вы думали? Самому генералу Дубельту, что был правой рукой графа Бенкендорфа. Теперь кое-что уже ясно.

Россию войнами не удивишь, а войны не бывают без жертв, без инвалидов и пенсионеров. В солдаты брали тогда на долгий срок службы. По сути дела, полк становился для рекрута родным домом, а деревня, семья, невеста — все это забывалось. Случись, искалечат на войне солдата — кому он нужен? Вернись он домой, так его там забыли уже здоровым и не станут кормить калеку... Вопрос сложный. На улицу ветерана тоже не выставишь из казармы. Надо как-то устроить его судьбу, чтобы он не стоял с протянутой рукой. А потому для увечных воинов издавна существовали в России инвалидные дома, где их кормили, одевали, снабжали табаком и протезами, и увечные ветераны жили все вместе, вспоминая по вечерам, как «били турку», как «ходили до Парижу и обратно». А для обеспечения инвалидов в столице существовал особый «инвалидный капитал», которым и ведал А.Г. Политковский.

Все в Петербурге знали о его кутежах с Саввой Яковлевым, знали, что он содержит балерину Волкову, осыпая ее бриллиантами, знали, что Политковский задает роскошные балы, которые

никак не по карману чиновнику, пусть даже в чине тайного советника. Но при этом в бумажнике Политковского всегда хранилась сильная доза яда! Современник, бывавший в его доме, пишет так: «Несмотря на проявление такого поразительного богатства, конечно, никто не находил забавным останавливаться на соображении источников, из коих оно исходит. Большинство думало, что тут главную роль играли *карты...*» А император Николай I подозревал всю Россию и всех своих верноподданных.

— Глаз да глаз! — сочно говорил он. — Кстати, не пойму, с чего это Политковский столь неслыханно богатеет?

Военный министр князь А.И. Чернышев вызывал к себе генерал-адъютанта П.Н. Ушакова, занимавшего в империи почетный пост председателя «Комитета о раненых»:

— Павел Николаевич, надо бы провести ревизию в инвалидном капитале, где владычит наш Монте-Кристо.

— Ваше сиятельство, стоит ли нам беспокоить почтенного человека? Недавняя ревизия никаких недочетов не обнаружила.

— Однако... глаз да глаз!

Ушаков неохотно вызывал к себе Политковского:

— Александр Гаврилович, завтра инвалидный капитал ревизовать станем... Ты уж, голубчик, не подведи меня. Расстарайся! Сам знаешь, какие теперь всюду строгости. Глаз да глаз!

Политковский возвращался в свою канцелярию, где нужды инвалидов империи обслуживали его чиновники-счетоводы: Рыбкин, Тараканов и Путвинский (последний — ближайший друг своего начальника, «страшный гуляка и голова забубенная!»).

— Взвейтесь, соколы, орлами, — призывал их Политковский к бдительности. — Завтра нас ревизовать станут...

Когда являлась комиссия, сундуки с миллионами красовались, заранее открытые настезь, все ведомости уже разложены для проверки, на отдельном столике призывно торчали горлышки откупоренных бутылок, закуска дразнила генеральское вообра-

жение, а «соколы», как им и приказано, реяли «орлами» между ревизорами.

— Милости просим, — скромно говаривал Путвинский. — Конечно, в таком деле, как наше, может, какие-то десять—пятнадцать копеек и заваялись, но мы ведь тоже не боги... Считайте!

Политковский с ловкостью циркового престижизитатора манипулировал перед комиссией разбухшими пачками ассигнаций. Ловко, словно шулер картишки, он тасовал пухлые колоды «пеликанок» — ценных билетов опекунского совета империи, на коих красовался в эмблеме пеликан — символ самоотверженной любви.

— Один миллион триста тысяч, миллион семьсот...

— Много там у вас еще, Александр Гаврилыч? — спрашивали ревизоры, с вожделением поглядывая на отдельный столик.

— К ночи управимся! Два миллиона четыреста...

— Не угодно ли перекусить? — клином входил в это скучное дело Путвинский и ногтем постукивал по бутылке (темной, как и все тайны финансовых ухищрений инвалидного капитала).

Теперь, читатель, несколько слов утонченной лирики: жизнь была хороша, инвалиды довольствовались тем, что дают, а ревизии сумм, как правило, кончались вынесением «императорского благоволения» лично Политковскому, который, будучи в высоком звании камергера, частенько являлся ко двору:

— Молодец, Политковский! Служи и дальше так... Мне приятно сознавать, что мои инвалиды могут спать спокойно.

— Ваше величество, — отвечал Политковский, растроганный, со слезою в голосе, — я помню ваш мудрый завет: глаз да глаз!

Вскоре светлейший князь Чернышев, некогда бывший обворожительным шпионом в ставке Наполеона, прогнал сам и прогнал насквозь военное министерство: все блистательные плоды грабежа и тупости были вручены «при знаках монаршего внимания» новому министру — князю В.А. Долгорукому, о котором

столичные остроумцы тогда говорили: «Если хотите быстро разбогатеть, купите князя Долгорукого за истинную его цену в десять рублей, а продайте кому-нибудь за три миллиона, в какие он сам себя оценивает!» Что-то там не учли при смене богов на Олимпе, и вот однажды явилась к Политковскому ревизия не от военного министерства, как обычно, а от госконтроля. Люди здесь штатские, настырные, знатоки всяких бухгалтерских подвохов. Стали они методично листать отчеты, впиваясь в каждую цифру глазами, и выкопали откуда-то 10 000 рублей, нигде не заприходованных в прежних ведомостях.

— Откуда они могли здесь взяться? — спрашивали.

Казнокрад, как известно, улавливается на недостатке.

Но когда в казне обнаружены лишние деньги, то это тоже подозрительно.

— Сам не знаю, — отвечал Политковский, подмигнув Путвинскому: — Вы, сударь мой, случайно свои личные деньги сюда не вложили... просто так? Ради большей сохранности.

Путвинский (жулик бывалый) треснул себя по лбу:

— Ах, какие мы все дураки!

— Только не мы, — сказали ревизоры из госконтроля.

— Помню, помню... — бормотал Путвинский. — Появились у меня лишние деньги. Ну, думаю, куда их деть? Еще украдут. Народ, знаете, какой. Вот и вложил. Здесь они, как в храме божием.

— Пойдите, — придержали его контролеры. — Разве вы настолько богаты, что можете вложить в казенный сундук десять тысяч и забыть о них? Сколько имеете годового жалованья?

— Сто двадцать рублей, — сразу приуныл Путвинский.

— Это ваша коляска с кучером стоит за углом?

— Моя... Но если молодой человек посредством разумной экономии, ведя высоконравственный образ жизни, откладывая копейки...

Госконтроль лирики в финансах недолголюбивал:

— Не городите чепухи! Капитал следует опечатать...

Моментально, будто они с потолка свалились, нагрянули мастера своего дела. В канцелярии запахло сургучом, капавшим над пламенем свечи. На сундуках с деньгами разом ярко запылали, как сгустки крови, контрольные печати.

— Мне можно идти домой? — спросил Политковский, а лицо его стало серым-серым, будто гипсовая маска.

— Пожалуйста, — отвечали ему ревизоры...

Тайный советник пришел домой и, не откладывая дела в долгий ящик, сразу же принял яд, с которым никогда не расставался.

Семья объявила в газетах о скоропостижной смерти кормильца и благодетеля, а в инвалидных домах служили молебны. Политковского нарядили в расшитый золотом мундир камергера и отвезли для отпевания в собор Николая Морского, где гроб утопал в цветах, а вокруг катафалка расставили массу табуреток, на которые возложили бархатные подушки с орденами покойного. Редакция газеты «Русский Инвалид» уже набирала высокопарный некролог, в котором воспевались заслуги Политковского перед престолом и отечеством. Но тут в собор проник пьяный Путвинский, который долго смотрел на своего начальника, лежавшего в гробу, как алмаз в табакерке, среди цветов и орденов, потом он громко сказал покойнику:

— Ай да Сашка, молодец! Навеселился и вовремя ушел от виселицы, а нам-то ее не миновать!

Очевидец пишет: «При этом Путвинский, к ужасу окружающих, хлопнул труп по раздутому животу и удалился». Политковский отравился 1 февраля, Путвинский хлопнул его по животу 2 февраля, а 3 февраля в кабинет Ушакова явились Тараканов и Рыбкин, которые еще от порога встали перед генералом на колени:

— Сибири все равно не миновать. Мы тут ни при чем. Это все Политковский, но его уже не схватить. Берите нас...

Ушаков в ужасе вцепился в свои густые бакенбарды.

— Звери, — топал ногами в ярости, — да вы же меня погубили! О Боже, что скажет теперь князь Василий Андреич?

Военный министр князь В.А. Долгорукий сказал ему:

— Карету! Едем во дворец... А что скажет государь?

Николай I оборвал с груди Ушакова аксельбант генерал-адъютанта, с мясом вырвал из плеча генеральский эполет.

— Вор! — сказал он. — В крепость его... за Неву!

Неусыпная полиция бодрствовала. Из собора поспешно выкидывали табуретки с орденами, Политковского, словно куклу, вывернули из гроба на пол и, сорвав с него пышный мундир камергера, облачили труп в арестантскую куртку. Тут же забили в гроб гвозди, и ломовые извозчики отвезли тело на кладбище. Все вещи, убранство дома и сбережения Политковских — все было мигом описано, а семья сразу сделалась нищей... Николай I, всегда любивший поактерствовать, не удержался от этой слабости и ныне.

— Возьми мою руку, — сказал он князю Долгорукому. — Чувствуешь, как она холодна? Так же холодно и в сердце моем, и... кто может утереть мои слезы? Ах, мои бедные инвалиды...

Ревизия госконтроля обнаружила очень простую вещь. Пачки с «пеликанками» лежали лишь по верху сундуков. Под ними был выстелен слой денежных пачек, в которых ассигнации были сложены надвое, и надо обладать немалым талантом фокусника-иллюзиониста, чтобы, демонстрируя деньги ревизорам, ни разу не обернуть их тыльной стороной, где зияла зловещая пустота. А на дне сундука величественно покоился просто *хлам* — старые газеты, какие-то тряпки, галоши и веники. Если бы ревизии проходили без панибратства, законно и внимательно, воровство Политковского и его приятелей вскрылось бы сразу. Но они безмятежно воровали с 1833 по 1853 год — и за двадцать лет так и не попались!

Ревизия обнаружила недостачу в 1 200 000 серебром. По тем временам на такие деньги можно было снарядить и отправить в кругосветное путешествие эскадру кораблей.

Дело Политковского совпало с обострением политической обстановки в Европе; летом того же 1853 года, когда в верхах

столичной бюрократии искали следы казнокрадства повсюду, когда срывались с генералов аксельбанты, а казначеи травились и вешались в полном недоумении от того, что происходит, в это же самое время Николай I решил ввести войска в Дунайские княжества. 18 ноября адмирал Нахимов в блистательной победе при Синопе уничтожил флот турецкий, но в Черное море сразу вошла англо-французская эскадра. Началась Крымская война, которая и вскрыла перед миром все язвы николаевской эпохи. Даже буржуазные историки не щадят Николая I: «Ему пришлось воочию убедиться в несовершенстве своей системы и в отрицательных сторонах того режима, который ознаменовал конец его царствования». Но это еще слишком мягко сказано!.. Даже беспредельный героизм защитников Севастополя не мог спасти от неизбежного поражения. Не Россия и не русская армия были побеждены в этой войне — был побежден сам император!

«Недели за три перед его кончиной видели его ехавшим в санках по Дворцовой набережной: он был мрачен и, зорко устремив глаза на Петропавловскую крепость, не сводил глаз с этого жилища успокоения своих достославных предков...»

Так сообщает очевидец. К этому следует добавить, что в этот момент Николай I взирал не столько на свою будущую могилу, но и на то узилище, где сейчас сиживали по камерам Алексеевского рavelина друзья-приятели Политковского.

В эти дни, когда в Зимнем дворце с трепетом ожидали курьеров из Севастополя, Николай I принял Ивана Яковлева (брата Саввы Яковлева), и тот сделал императору заявление:

— Ваше величество, в дело прохвоста Политковского оказалась замешана и священная память моего брата Саввы, отчего и прошу ради пресечения вздорных слухов в столице принять от меня в инвалидный фонд ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ...

Николай I подачку принял и наградил дарителя золотым ключом камергерства, отнятым у мертвого Политковского.

— Благодарю, — сказал он, вытирая набежавшую слезу. — Теперь мои инвалиды опять могут спать спокойно...

Царствование кончилось крахом! Николай I не нашел ничего умнее, как последовать по стопам Политковского — он принял яд и умер, причем хоронили его с такой же обоснованной поспешностью, с какой погребали и жулика Политковского, ибо его величество разлагался столь быстро, что даже близкие не могли выстоять подле гроба больше минуты. А перед смертью Николай I зловеще предупредил сына — будущего императора Александра II.

— Крепись, Сашка! — сказал он наследнику. — Я сдаю тебе команду над Россией не в добром порядке...

Трагедия жизни этого самоуверенного человека заключалась как раз в том, что он и сам понял всю тщету своего царствования.

Но довольно: спи спокойно,
Незабвенный царь-отец.
Уж за то хвалы достойный,
Что скончался наконец!

Так писал на смерть царя демократ Дмитрий Писарев...

Теперь читатель и сам может прийти к выводу, что историки не ошибаются, когда говорят о «прогнившей эпохе Николая I».

Политковщина — как волшебный фонарь, который высветил из мрака всю мерзость разложения николаевского царствования.

Генерал на белом коне

В.Н. Масальский, доцент по кафедре истории Калининградского университета, сообщил мне, что у него давно закончена работа о генерале Скобелеве: «Несчастье состоит в том, что я не могу найти для нее издателя: везде получал отказ. Причина — Скобелев был одним из завоевателей Средней Азии, вообще очень сложен и противоречив. О нем хранится молчание на протяжении многих лет. Грандиозный памятник, воздвигнутый ему в Москве, уни-

чтожен. Это, наверное, еще один мотив умолчания, ибо стыдно вспоминать о таком “подвиге”... Между тем присоединение Ср. Азии к России было делом прогрессивным!»

В этом, кстати, никто не сомневается. Наконец, если бы Россия не ввела войска в оазисы и кишлаки Средней Азии и не нашла бы опоры на Кушке, она бы имела границы с колониями Англии не где-нибудь, а на окраинах Оренбурга. Политические и экономические мотивы присоединения Средней Азии к России я подробно изложил в своем романе «Битва железных канцлеров», и никто из историков не возражал мне.

Честно говоря, я совсем не понимаю, чем Скобелев, умерший за 37 лет до революции, мог провиниться перед потомками. Но отношение к Скобелеву уцелело среди осторожных и перестраховщиков, которые украдкой говорят писателям: «Знаете, о Скобелеве лучше бы не писать...»

Нет, будем писать о нем, ибо его имя принадлежит вам, как имена Шереметева, Салтыкова, Суворова и Кутузова...

Отгремела освободительная война на Балканах, армия разошлась по домам.

Инвалиды делались сторожами, банщиками, нищими...

Скобелев сказал своему адъютанту Дукмасову:

— Чтобы не вертопрашить напрасно и пожалеть здоровье мое, Петя, надобно бы жениться. В жены выберу себе обязательно учительницу из провинции. Тихую, умную и скромную...

Летом 1874 года Михаила Дмитриевича назначили командиром 4-го армейского корпуса, расквартированного в Минске: отъезжая в Белоруссию, он размышлял о причинах этого назначения: «Всю жизнь не вылезал из рукопашных свалок, а теперь... Справлюсь ли? Ведь я привык расходовать войска, а ныне предстоит их беречь как зеницу ока. Но я понимаю, почему Петербург решил упрятать меня в минское захолустье».

Еще бы не понять! На станциях публика встречала Скобелева овациями, мужики и бабы кланялись ему в пояс, барышни забра-

сывали цветами, конечно, такая слава мозолила глаза не только царю, но и другим генералам. На вокзале Минска оркестр грянул браваурный марш, почетный караул четко и непреклонно отбил ладонями по прикладам ружей, салютуя.

— Здорово, молодцы! — приветствовал их Скобелев, помахивая перчаткой. — Надеюсь, мы с вами поладим...

На новом месте службы он, как всегда, обложился горами книг. Скобелев был патологически жаден до наук, а в изучении их терпелив, словно гимназист, желающий выйти в жизнь с золотой медалью. Солдаты любили его, вникавшего в их несложный быт, он разрешал им на маневрах ходить босиком, чтобы побереечь ноги, никогда не гнушался спрашивать офицеров:

— Как обедали сегодня солдаты? С аппетитом ли?

— Простите, не спрашивал.

— А тут и спрашивать не надо. Офицер обязан знать, как ели его солдаты. Может, их давно от казенной бурды воротит, а вы, обедая в ресторане, голодного не разумеете...

Дукмасов заметил, что Скобелев, поглядывая в окно штаба, часто провожает глазами строгую девушку, выходящую из женской гимназии. Адьютанту велел узнать, кто такая?

— Екатерина Александровна Головкина, — вскоре доложил Дукмасов. — Учительница, как вы и хотели. Живет бедно, одним скудным жалованьем. Ни в каких шашнях не замечена...

Скобелев нагнал барышню на улице, и Головкина, стыдась, сжала руку в кулачок, чтобы скрыть штопаную перчатку.

— Екатерина Александровна, — заявил Скобелев, — не будем откладывать дела в долгий ящик: вы должны стать моей женою.

— Вы... с ума сошли!

— Так все говорят, когда я начинаю новую боевую кампанию.

— Я буду жаловаться... городского позову.

— А хоть самому царю жалуйтесь, у него в кабинете столько доносов на меня лежит, что лишний не помешает...

Когда знакомство с девушкой перешло в дружбу, а затем появилось и сердечное чувство, Головкина сказала:

— Непутевый вы человек! Не скрою, мне весьма лестно предложение столь знаменитого человека, как вы. Но я... боюсь.

— Чего боитесь?

— Вашей славы... Вы к ней уже привыкли, а мне быть женою такого полководца страшно и опасно. Давайте подождем.

— Опять в долгий ящик? — возмутился Скобелев...

Вскоре его внимание обратилось к пустыням Туркмении, где отряд генерала Ломакина пытался овладеть Ахал-Текинским оазисом, чтобы пробиться к Мерву и Ашхабаду раньше, нежели их захватят англичане со стороны Индии, Афганистана или Персии. Снабжение отряда шло из Баку — морем — до Красноводска, откуда войска растворялись в безводном пекле. Отступление Ломакина было воспринято в Петербурге крайне болезненно, как позорное для боевого престижа России, тем более что 30 сентября 1879 года англичане захватили Кабул!

— Долго они там не удержатся, — рассуждал Скобелев. — Но и наша неудача должна быть исправлена, дабы оградить свои рубежи. Неужели так неприступна крепость Геок-Тепе?..

Он не удивился, когда его срочно вызвали в Петербург; в столице Скобелев сразу навестил книжный магазин Вольфа:

— Маврикий Осипович, мне нужна литература по Средней Азии, подберите, пожалуйста, все, что у вас имеется на складах.

— На английском? Немецком? Французском?

— На любых языках, не исключая и русского...

Выходя из магазина, Скобелев столкнулся с приятелем по войне, корреспондентом Василием Ивановичем Немировичем-Данченко.

— Миша! Каким ветром тебя сюда занесло?

— Ах, Вася, — отвечал Скобелев, показывая пачку книг. — По их корешкам догадаешься, что меня ныне волнует...

Александр II назначил ему время аудиенции.

— Сообразили, зачем я вызвал вас из Минска?

— Чтобы послать на штурм Геок-Тепе.

— Рано! — ответил император. — Там еще не все готово, а наша техника годится на свалку. Когда умер генерал Лазарев, то при отдавании салюта пушечные лафеты развалились. Вызвал я вас по иному поводу: поедете на маневры германской армии.

Скобелев не скрыл удивления: почему в Потсдам посылают его, не раз выражавшего германофобские настроения, ибо в растущей мощи Германии он давно подозревает готовность к агрессии на Востоке. Император, напротив, был германофилом.

— Вы не любите моего друга кайзера, как не любите и его бряцание оружием, а потому лучше других наблюдателей сможете критически оценить достоинства немецкой армии.

Михаил Дмитриевич подумал и ответил:

— Однако мой отчет о плюсах и минусах германской военщины вряд ли окажется приятен для вашего величества.

— Приятного от вас и не жду, — хмуро отвечал царь.

В мемуарах Вильгельма II я не обнаружил оценки визита Скобелева, но мне известны слова, сказанные ему кайзером:

— Вы проанализировали нас до слепой кишки. Вам я показал лишь два моих корпуса, но передайте государю, что вся армия Германии способна действовать столь же превосходно...

В сущности, немецкие генералы смотрели на Скобелева, как на эвентуального противника, и, пока он присматривался к ним, они исподтишка изучали его. Нахальнее всех оказался принц Фридрих-Карл, фамильярно хлопавший Скобелева по спине:

— Любезный друг, я умолчу о том, что нужно великой Германии, но Австрия давно нуждается в греческих Салониках...

Скобелев вернулся на родину в угнетенном настроении. Все увиденное на маневрах в Германии утвердило его в мысли, что война с немцами неизбежна. До поздней осени он трудился над составлением отчета, предупреждая правительство, что никакое «шапкозакидательство» недопустимо. «Сознаюсь, я

поражен разумной связью между командными кадрами всех родов оружия. Войска приучены быстро решать, быстро приводить решения в исполнение. Едва ли возникнет случай, где бы германские войска потеряли голову... Позволю себе назвать германскую дисциплину *вполне народной*, — подчеркнул Скобелев, — а потому к ее проявлениям следует относиться с крайней осмотрительностью — как в смысле порицания, так и в смысле похвалы». Именно железная дисциплина германской армии привела Скобелева к мысли, что в русском народе требуется не только низшее или среднее, но и высшее образование, как залог осмысленного патриотизма:

— Где будет патриотизм, там будет и дисциплина...

В ресторане у Донона он беседовал с Немировичем-Данченко:

— Вася, я с тобою честен. Вот про меня болтают, будто я весь в крови, сам рвусь на войну, чтобы слышать потом рукоплескания толпы, обвешивать себя побрякушками орденов. А знаешь ли ты, что я закоренелый враг всяческих войн?

— Знаю, — сказал Василий Иванович.

Выпив две рюмки подряд, Скобелев продолжил:

— Война — это несчастье! Это такое народное бедствие, что желать ее может только преступник. Сохрани меня, Боженька, от войны с кем-либо, но вот с немцами воевать придется... Живут они гораздо лучше нас, но им все еще мало! Рано или поздно они хлопот в Европе наделают. Нам, русским, от Германии пня гнилого не надобно, а в Берлине... аппетит у кайзера волчий! Его генералы давно зарятся на Польшу и нашу Прибалтику... Завтра буду говорить с царем, скажу ему, чтобы раскошелливался: нужно срочно тянуть железную дорогу от Минска на запад!

При свидании с ним император сказал:

— На вас очень много жалоб, доносов и прочего... от ваших же коллег-генералов. Понимаю, многие завидуют вашим успехам и вашей славе. Склонен думать, что если человек, вызвавший ла-

вину нареканий, не обращает на критиков внимания, значит, этот человек чего-то стоит... Что думаете о делах на юге?

— Если вы имеете в виду неудачи под стенами Геок-Тепе, я бы всех тамошних генералов судил трибуналом. Конечно, — продолжал Скобелев, — неудачи бывали даже у Суворова, но нельзя же кровью расплачиваться за глупость генералов!

— Вот за это вас и не любят, — засмеялся царь. — В одном вы правы: мы своими наскоками только раздражили текинцев, и теперь они склонны верить англичанам, а не нам, русским...

От царя Скобелев заехал в гости к своему крестному отцу Ивану Ильичу Маслову, тот с порога спросил его:

— Мишка, а ты чего такой ошалелый?

Скобелев швырнул через всю комнату фуражку:

— Только что от царя! Теперь лично мне поручено штурмовать Геок-Тепе, где обклались все наши генералы.

— Как же ты мыслишь действовать? — спросил Маслов.

Об ответе Скобелева: «Он прежде всего предполагал гуманную политику по отношению побежденных, способную превратить враждебные народы в дружественные, ибо только при этих условиях можно было бы вести ту политику, которую преследовал сам Скобелев...» Иван Ильич предупредил его:

— По газетным слухам, в Геок-Тепе уже сидит О'Доннаван, который сулит текинцам вооруженную помощь всей Англии... А ты, кажется, давно относишься к англичанам плохо?

Ответ Скобелева сохранился для истории:

— Напротив! Искренняя дружба между Англией и Россией даже необходима для справедливого хода всей европейской истории. Но искренность должна исходить прежде из Лондона, а не от наших дипломатов... Ладно. Вот поеду под Геок-Тепе, и посмотрим, как соберет свои манатки этот милорд О'Доннован!

12 января 1880 года он прощался с Петербургом; император сказал, что дает ему права командующего, а в поход до Геок-Тепе просится немецкий военный атташе. Скобелев ответил:

— Я отказал даже Немировичу-Данченко, дабы избежать лишней рекламы, паче того, не желаю, чтобы на пролитии нашей крови германская армия получала боевой пример для себя.

— Какие есть просьбы? — спросил Александр II.

— Чтобы никто в мои дела попусту не совался.

— Ладно, — обещал царь. — Даже я не сунусь...

Скобелев вернулся в Минск проститься с войсками и Катей. Тогда же он составил завещание. В нем он просил обеспечить свою мать, назначил пенсию престарелому гувернеру Жирарде, а в селе Спасском Рязанской губернии наказывал открыть инвалидный дом для солдат, пострадавших на войне, безногих и безруких калек. Остальные свои деньги Михаил Дмитриевич завещал на основании народного училища: «Потребность в образовании ощущается в нашем Отечестве всеми честными людьми, совесть которых не заглушена инстинктами обжорства... в такой постановке вопроса я даже вижу, хотя отчасти, исцеление тех ужасных бедствий, какие влечет за собой война!»

Екатерина Александровна проводила его на вокзал.

— Катя, я устал ждать решительного ответа.

— Ах, боже мой, вы так не похожи на всех...

— Так меня уже не переделать, — возразил Скобелев. — Мой поезд отходит. Скажите прямо — да или нет?

— Скажу, когда вернетесь живым из Геок-Тепе...

В Баку его поджидал капитан второго ранга.

— Степан Осипович Макаров! — представился он.

— Вы удивлены, что оказались здесь? — спросил Скобелев. —

Но я сам просил о вашем назначении к себе, ибо ваши крылатые подвиги запомнились мне со времени минувшей войны. Будем говорить, что потребно для нашей Ахал-Текинской экспедиции... На одних верблюдах много не навоюешь, а посему сразу же потребно от Красноводска прокладывать железную дорогу в пустыню.

Степан Осипович постучал пальцем по карте:

— Возражаю вам! Рельсы удобнее тянуть вот отсюда, из Михайловского, что южнее Красноводска. Это сократит сроки строительства и не потребует чрезмерных расходов.

Макаров подсчитал, что ему с помощью кораблей предстояло срочно перебросить из Астрахани 25 миллионов пудов груза.

— Поспешите, — настаивал Скобелев, — ибо англичане уже заводят фабрики на берегах Амударьи...

Макаров сделал великое дело. 25 августа на раскаленный песок пустыни уложили первую шпалу, а 4 октября первый паровоз уже разбудил тишину пустынь своим гудком возле пустынного колодца Молла-Кара. Интенданты не могли управиться с горюю дров, а без дров в пустыне гибель: ни согреться, ни чаю выпить. Скобелев показал им образец походной печки:

— Никаких дров! Брать бурдюки с нефтью.

— Откуда тут нефть? Или из Баку возить?

— Макаров отыскал нефть в песках.

— А сколько прикажете брать водки?

— Ни капли! — отвечал Скобелев. — Сам грешен, люблю выпить. Но в походе водку заменять горячим чаем, и только...

Продовольственный вопрос он разрешил просто: «Кормить солдат до отвала и не жалеть того, что испортилось» (испорченное выбрасывать!). В поход двигались передвижные бани и пекарни, станки для запуска ракет, машины опреснителей, ручные гранаты для штурма и даже гелиограф — для передачи сигналов.

Крепко досталось от Скобелева его офицерам:

— Не имеете права обвешивать свои землянки коврами, если солдаты живут как сурки, в наспах выкопанных норах. В картишки дуетесь, а солдат жохнет от свирепой тоски...

«Солдата, — диктовал он в приказе, — нужно бодрить, а не киснуть с ним вместе... полезными играми я признаю игру в мяч, причем мячи необходимы различных размеров, прочные и красивые. Наконец, можно устроить для них игру в кегли...»

— Господи! — стонали интенданты. — Нас уже зашпынял, а солдату, будто аристократу, еще и кегли добывает...

Между тем среди текинцев возникли разногласия: одни желали русского подданства, другие, подстрекаемые духовенством, даже хотели войны. О'Доннован, корреспондент газеты «Дейли ньюс», утверждал, что все силы Англии сейчас обращены на помощь текинцам, а русские солдаты идут сюда, чтобы изнасиловать всех женщин. Это дошло до лагеря русских солдат, и все они возмущенно отплевывались:

— Неужто мы жаримся на песке, как на сковородке, затем, чтобы с ихними бабами переспать... Придумали бы поумнее!

Мерв (Мары) в ту пору был главным рынком работорговли. Афганистан и Персия приветствовали экспедицию Скобелева, ибо сами не могли справиться с ахалтекинцами, живущими одним разбоем. Только воинственные курды жестоко отмщали текинцам за их набеги. А в Персии и Афганистане целые области, когда-то богатые и густонаселенные, теперь оставались безлюдны и одичалы: ахалтекинцы всех вывезли в Мерв — на продажу! Потому-то навстречу отрядам Скобелева неустанно шли караваны верблюдов: персы и афганцы добровольно помогали русским, присылая им в подарок ячмень, рис, горох и коровье мясо.

Это произвело ужасное впечатление на текинцев:

— Как они, сами верующие в Аллаха, могли осмелиться помогать неверным гяурам, желающим нашей гибели?!

Скобелева они прозвали Гез-Канлы, что значит Кровавые Глаза.

В один из дней, когда появилась текинская конница, Михаил Дмитриевич вихрем вырвался ей навстречу — как всегда на белом коне, далеко видимый, он отмахивался от пуль прутиком, словно одолевали его комары, а свое геройство объяснял просто: «Врага надо лупить не только по заливку, но и бить по воображению...» В гарнизоне Геок-Тепе даже суеверные муллы признавали, что Гез-Канлы заговорен от пуль. Хорошо знающий повадки Востока,

он умел оценивать обстановку по внешним приметам: если базар в Бами оживал, набега из пустыни не будет, если же появились муллы и юродивые, предсказывающие конец света, жди налета текинской кавалерии. А в походном шатре генерала горкой лежали философские труды Куно Фишера, восемь томов всемирной истории Шлоссера и даже научная работа Фогта* по физиологии... Дукмасову он говорил:

— Убьют или не убьют — это еще бабушка надвое сказала, а учиться человеку нужно постоянно... Без знаний — смерть!

После опасной рекогносцировки под стенами Геок-Тепе он сделал вывод: «Текинцы лучше вооружены, чем мы думали, они умеют воевать, перенимая наши же приемы». В рукопашном бою они стремительны, словно барсы, и солдатам трудно увернуться от их сабель, пластающих над ними воздух. Выпустив в крепость 120 ракет, Скобелев вернулся в Бами, где собрались войска, прибывшие с Кавказа. Начальником штаба был полковник Гродеков, известный военный писатель, особый Туркестанский отряд возглавил Куропаткин, о котором Скобелев не раз говорил: «Хорош и умен, пока исполняет чужие приказы, а как возьмется лично командовать — дурак дураком оказывается...»

1 декабря 1880 года войска вступили в кишлак Егян-Батыркала, что в 12 верстах от Геок-Тепе. Текинцы в одних рубашках, засучив рукава, кидались на русские позиции, кромсали все живое, но и сами несли потери. Настал день 12 января — день штурма. Скобелев с отвращением морщился.

— Мишель, чего морщишься? — спросил его Гродеков.

— Сегодня понедельник, тяжелый день.

* Куно Фишер (1824–1907) — философ, автор многих работ по проблемам философии; Шлоссер Август Людвиг (1735—1809) — известный историк, публицист в области источниковедения и древней истории Руси; Карл Фогт (1817—1898) — известный немецкий естествоиспытатель, один из представителей так называемого вульгарного материализма. О Фогте писал Герцен в «Былом и думах». Многие сочинения переведены на русский язык.

— Легкий! — возразил Гродеков. — Двенадцатого января Татьянин день в честь основания Ломоносовым первого русского университета... Не пора ли выступить колонне Куропаткина?

В подкопе взорвалась мина, и войска устремились на штурм. Внутри крепости полно кибиток, а каждая глинобитная сакля — как форт. Куропаткин первым кинулся в пролом стены, обрушенной взрывом мины. В два часа дня все было кончено, хотя фанатики еще отстреливались. Скобелев повелел:

— Всех женщин и детей оградить караулом, наладить кормление жителей. Отдельно выявить сирот, чтобы их не обижали...

Сам он плакал! Только что получил известие из Болгарии: его мать, которую он так любил, зарезана разбойником ради грабежа. Скобелев вытер слезы, указав Гродекову:

— Все валы крепости Геок-Тепе обрушить во рвы...

Напряжение этих дней сказалось: он вдруг заболел.

Его навещали, как это ни странно, сами текинцы:

— Если бы мы раньше знали, что вы не станете вырезать нас, а женщин насиловать, мы бы давно помирились с вами... Нет, у тебя не «красивые глаза», а у тебя глаза добрые.

Через шесть дней, 18 января, отряд Куропаткина вступил в Ашхабад — еще не город, а лишь большой кишлак. Окрестности вскоре замирились настолько, что одинокий всадник мог ехать без боязни. Бежавшие в пустыню семьи возвращались к родным очагам. Русские уже не казались такими страшными извергами, какими изображал их О'Доннован. Даром ничего не брали, даже за гроздь винограда платили щедро. Только один ракетчик, напившись, ворвался в кибитку и зарезал текинца. Скобелев велел вывести его перед жителями и расстрелять.

— Я уезжаю, — сказал он Гродекову. — Не забудь, что во всем крае не должно оставаться ни одного раба. Всех рабов, персов или афганцев, срочно вернуть на их родину...

Начальником в Красноводске был кавторанг Макаров.

— Степан Осипович, чем занимаетесь?

— Гоню рельсы дальше, завожу нефтяные станции.

— Счастливый человек! — вздохнул Скобелев.

— А вы?

— Несчастный... н е н а в и ж у войну и обязан воевать. А смерть матери меня подкосила. Мне даже страшно...

Закрыв лицо ладонями и покачиваясь, он стал читать любимые стихи Тютчева и Хомякова. Макаров понял, что перед ним надломленный человек, которому очень трудно живется...

После убийства Александра II престол занял Александр III, который тоже «ненавидел войну». Скобелев говорил о нем:

— Этот миротворец шептунов станет слушать о том, какой я кровожадный и как я завидую лаврам Суворова...

Узнав о триумфальном возвращении Скобелева, ставшего народным героем, Александр III был возмущен:

— Это уже выходит из рамок приличия! Скобелев возвращается из Азии, словно Бонапарт из Египта, не хватало ему лишь 18-го брюмера, чтобы он объявил себя первым консулом...

«Встреча в Москве затмила все. Площадь между вокзалами была залита народом, здесь были десятки тысяч, и сам генерал-губернатор кн. Долгоруков еле протискался в поезд, сопровождая Скобелева до Петербурга». В столичном обществе рассуждали о конституции, а царь встретил Скобелева вопросом:

— Вы почему не уберегли графа Орлова?

Михаил Дмитриевич с вызовом распушил бакенбарды.

— Ваше величество, на войне пуля не разбирается в титулах... Орлов погиб под стенами Геок-Тепе... как и многие другие. Но об этих других вы меня не спросили.

Маркиз Мельхиор де-Вогюэ, знаток русской литературы, встретил Скобелева в нервном возбуждении; он кричал:

— Император даже не предложил мне сесть! Я хотел говорить о политике, а он свел разговор к болтовне о послушании...

Скобелева он застал в дружеском кругу Тургенева, Анненкова, Градовского, и в этом обществе маркиз де-Вогюэ чувствовал

себя так, будто попал в салон г-жи Неккер накануне Французской революции; популярность «белого генерала» казалась ему выше императорской власти. Победоносцев, чуя недоброе, заклинал царя «привлечь Скобелева к себе сердечно», ибо положение в стране было тревожно. Известно, что в эти дни Скобелев не скрывал желания арестовать царскую семью (этот малоизвестный факт подтверждали юрист А.Ф. Кони и знаменитый анархист князь П.А. Кропоткин).

Летом 1881 года Скобелев отдыхал во Франции, привлекая к себе внимание парижан вызывающими репликами по адресу царя и его приближенных. Вернувшись в Петербург, он не укротил своего злоречия. Н.Е. Врангель, будучи в эмиграции, описал диалог между Скобелевым и генералом Дохтуровым, которому сам был свидетель. Речь шла об Александре III:

— П о л е т и т, — смакуя каждый слог, повторял Скобелев, — и скатертью ему дорога.

— Полетит, — отозвался Дохтуров, — но радоваться этому едва ли приходится. Что мы с тобой полетим с царем вместе — это еще полбеды, а ты смотри, что и Россия с царем полетит.

— Вздор! — прервал его Скобелев. — Династии меняются, династии исчезают, зато нации бессмертны...

В это время возникла «Священная дружина», чтобы охранять престол от покушений. Засекреченная, как и подполье народовольцев, «дружина» напоминала тайное судилище вроде древнегерманской «фемы», нечто среднее между масонской ложей и III отделением жандармов. Французский премьер Леон Гамбетта, друг Скобелева и лидер республиканцев, предупредил, что «дружины» следует опасаться. Скобелев лишь отмахнулся.

— Я не верю в сборище титулованных оборотов, которые берегут престол, как заядлый алкоголик бережет свой последний шкалик. Скажу честно. Я убежден, что Россия сейчас более революционна, нежели ваша Франция, и смею думать, что русские не допустят ошибок французских революций...

— Зачем вы ездили в Женеву и Цюрих?

— Хотел связаться с эмигрантами-революционерами. Я понимаю их стремления, но вряд ли они поймут мои. Про меня говорят, что я ненавижу нигилизм. Это верно! Я способен освоить идеи народовольцев, но терпеть не могу разболтанных нигилистов, которые отрезали себе косы и забывают помыть шею...

Гамбетта проводил его дельным напутствием:

— Все-таки остерегайтесь «Священной дружины». Вас возносят слишком высоко, а деспоты не выносят, если рядом с ними возвышается кто-то еще, любимый и признанный народом...

В декабре 1881 года, навестив Петербург, Скобелев не мог найти места в гостинице. Ему сказали, что все номера заняты кавалергардами и сливками знати. Скобелев не удержался:

— Ах, опять эти господа дружинники!..

Суть этой презрительной реплики быстро дошла до царя, и военный министр Ванновский вызвал генерала для объяснений:

— Вы осмелились задеть честь истинных патриотов.

— Да, — не отрицал Скобелев, — мне противно, что, единожды дав присягу, офицеры-дружинники решают, кто друг, а кто враг. Если у нас существует надзор жандармов, то нужно ли офицерам создавать свою «охранку» для сбережения престола?

Он мог бы сказать и больше: армия скорее пойдет за ним, за Скобелевым, нежели потащится за престарелым министром.

Настал последний год его сумбурной жизни...

12 января, в годовщину падения Геок-Тепе, Скобелев выступил на банкете офицеров с политической речью, которую заранее согласовал со своим другом Иваном Аксаковым. Неожиданным был его жест, когда он вдруг отодвинул бокал с вином и попросил подать ему стакан с трезвой водой:

— Не терпит сердце, что, когда мы здесь пируем, идет восстание против австрийцев в Далмации, а германские ружья уперлись в грудь балканских славян... Не миновать часа возмездия, и русский

человек, как в недавней борьбе за освобождение болгар, станет за наше общее славянское дело. Я недоговариваю, — намекнул Скобелев, — но все мы, господа, свято и твердо веруем в историческое предопределение России!

Со стаканом воды в руке он заключил речь словами:

— Космополитический европеизм не есть наш источник силы, и он может являться лишь признаком духовной слабости нации. Сила России не может быть вне народа, а наша интеллигенция сильна только в неразрывной ее связи с народом...

Эта речь обошла все русские газеты, ее перепечатавали за рубежом. Она была вроде камня, брошенного в застоявшуюся воду. Скобелев невольно вмешался в область дипломатии, и это не прошло ему даром. Александр III указал:

— Пусть он убирается куда хочет... в отпуск!

Выехав во Францию, Скобелев направил в Женеву адъютанта Дукмасова к эмигранту Петру Лаврову:

— Скажи, что нам необходимо встретиться в таком месте, где бы нас не узнали. Сам понимаешь, что моя встреча с видным революционером — это свидание льва с тигром...

Дукмасов вернулся и доложил, что Лавров наотрез отказал Скобелеву в свидании: «Помилуйте, о чем я могу разговаривать с генералом?» Михаил Дмитриевич разругал Лаврова:

— Жалкий сектант! Замкнулся в теориях, не желая понимать, что среди генералов и офицеров немало людей, жаждущих обновления России... Впрочем, — вяло улыбнулся Скобелев, — граф Лев Толстой, принимая у себя всяких босяков и голодранцев, тоже не пожелал встречи со мною...

В феврале его посетили сербские и болгарские студенты, учащиеся в Париже, они горячо благодарили генерала за то, что он открыто вступился за балканских славян. В газетных статьях ответ Скобелева студентам прозвучал слишком резко:

— Если вы хотите, чтобы я назвал вам врага, опасного не только вам, но и всей России, я назову его. Это — Германия, и борьба

славянского мира с тевтонами неизбежна... Она будет длительна, кровава, но я верю в нашу победу... Я, — продолжал Скобелев, — объясню вам, почему Россия не всегда на высоте своих задач в объединении мира славянства. Мы, русские, уже не хозяева в своем доме! Немец проник всюду, мы стали рабами его могущества. Но рано или поздно избавимся от его паразитического влияния, но сделать это мы можем не иначе, как только с оружием в руках...

Это был выпад против придворной камарильи, где первенствовали остзейские бароны, покорные воле Берлина, потенциальные предатели, открыто гордившиеся тем, что служат не России, а лишь династии царей дома Романовых-Гольштейн-Готторпских!

Гамбетта поблагодарил Скобелева за то, что он не побоялся назвать врага не только России, но и Франции:

— Ваш разговор с сербскими студентами вся Европа восприняла как политическую программу России, но вряд ли ее одобряет император Александр III и его бездарные министры...

Конечно, царь сразу же вмешался:

— Соблаговолите телеграфом известить Скобелева, чтобы вернулся домой, причем ехать ему надо так, чтобы миновать Берлин, иначе немцы проломают ему голову пивными кружками...

Скобелев предвидел отставку и, кажется, сам был готов сменить мундир на сюртук. Дукмасову он говорил:

— Меня в Петербурге примут как последнего негодяя. Теперь могут и подстрелить на улице... Вот, дослужился!

Правда, Ванновский уже докладывал императору:

— Держать Скобелева командиром корпуса в Минске, на западных рубежах, чревато опасными последствиями. Он может сознательно вызвать конфликт с Германией.

— Следить за его поведением, — наказал император.

За словами и поступками Скобелева следили не только жандармы, но и члены «Священной дружины», видевшие в нем опасного заговорщика. Дукмасов упрекал генерала:

— Что вы так часто стали говорить о смерти!

— Жить буду недолго и в этом году умру. Вот поеду в Спасское, где заранее велю откопать себе могилу.

Немирович-Данченко тоже заметил его депрессию:

— На вас все люди смотрят, а ты голову повесил...

Тогда же он и записал ответ Скобелева:

— Каждый день моей жизни — отсрочка. Я знаю, что враги не позволят мне жить. Меня уже не раз называли роковым человеком, а такие люди и кончают жизнь роковым образом...

«И часто и многим повторял он, что смерть уже сторожит его, что судьба готовит неожиданный удар». Но при этом Скобелев оставался деятелем, он к чему-то готовился:

— Сейчас мне нужен миллион, никак не меньше...

Всегда щедрый до крайности, соривший деньгами, он вдруг сделался отвратительно скуп. Его московский приятель, князь Сергей Оболенский, застал Скобелева за лихорадочной распродажей золота, облигаций, процентных бумаг. Он сказал князю:

— Все до копейки выгреб из банка, все спустил с себя, чтобы набрать миллион. Живу только жалованьем, урожай со Спасского продам. С этим миллионом поеду в Болгарию...

Оболенский догадался, что Болгария тут для маскировки истинных целей, но каких — об этом Скобелев не проговорился. Собрав миллион, он доверил его хранить Ивану Ильичу Маслову, а сам отъехал в Минск. Здесь он принял почести почти царские: город был иллюминирован, улицы запружены народом. Скобелев, обнажив голову, ехал при свете факелов.

— Последний раз... последний, — шептал он.

Реакция усиливалась, и казалось, Александр III задушит даже те реформы, какие дал стране его отец. Блуждали слухи, что в Петербурге решено упрятать Скобелева куда-нибудь подальше, в края диких пустынь и нищих кишлаков, чтобы его голос затих в пекле закаспийских песков.

— Я устал, — признался он Дукмасову. — Давно тянет погрузиться в волшебный «вундерланд», где царит идеальный мир.

Недавно я, перелистав Шиллера, встретил у него такие строчки: «Вот челнок колышет волны, но гребца не вижу в нем...»

Пришло время окончательного объяснения с Екатериной Головкиной, и Скобелев перечитал ее последние письма: «Всеми силами души я стремлюсь к более деятельной жизни, мне душно и тесно в той сфере, которая окружает меня, хочется широкого поприща для труда, скажу больше, мне хочется страшной борьбы, жестокой и смертельной, за свое существование, вот тогда я скажу, что отвоевала право жить для вас...»

Они встретились. Скобелев спросил:

— Когда же вы дадите мне полноту семейного счастья?

Екатерина Александровна ответила:

— Вы — моя фатальная симпатия, я покоряюсь не лично вам, а той славе, какую вы заслужили... Дайте мне полное право властвовать над вами, и тогда получите счастье любви. Но не забывайте: если все преклоняются перед вами, то я — никогда! Мое место подле вас, но я должна стоять выше вас.

— Вы слишком рассудительны, — отвечал Скобелев, — и в ваших словах я вижу только расстановку боевых сил, но я не вижу главного для создания семьи — простой женской любви.

Екатерина Александровна дополнила свою речь:

— Я боюсь разницы между нами. Вы богаты, вы знамениты, и, если я стану вашей женой, все будут говорить, что я вышла за вас по расчету. Я вынуждена покинуть Минск.

— Неужели? Зачем? Подумайте.

— Я еще не стала вашей женой, а ко мне уже являются дамы с нежными интродукциями по поводу моего «счастья» с вами, уже выклянчивают у меня протекцию для своего мужа или сына... Нет уж, из меня не получится «полковая мать-командирша»!

Она уехала, а Скобелев жестоко запил.

— Хорошо нам было на Шипке, — говорил он Дукмасову, — хорошо было под стенами Геок-Тепе, а теперь... на что я годен?

Все исковеркано, испоганено... все на свете — ложь! Даже эта слава — дерьмо! Разве в ней истинное счастье?

— Да успокойтесь, — утешал его Дукмасов.

— Уеду... в Спасское! Буду картошку сажать. Все больше пользы для людей, нежели эта гадкая отрыжка славы!

В конце июня 1882 года Скобелев накоротке навестил столицу, после чего поехал в Москву, где снял для себя номер у «Дюссо». К смерти он не был готов, звал Гродекова погостить у него в Спасском, книжный магазин М.О. Вольфа получил от него большой заказ на литературу по сельскому хозяйству и по вопросам развития вооруженных сил Германии.

Князь Сергей Оболенский застал его в ужасном состоянии:

— Что с тобою, Михаил Дмитриевич?

— Лучше не спрашивай! Все в жизни как дым...

— Да что случилось-то? — настаивал князь.

— Все деньги пропали.

— Какие?

— Да этот миллион, что я насобирал, будто скряга.

— Как? Где? Расскажи.

— Отдал их своему крестному отцу Маслову, человек порядочный, а он вдруг спятил... чепуху несет... лает.

— Господи! — изумился Оболенский. — Да ведь миллион-то — не рубль, ты бы с Масловым поделикатнее...

— Всяко пробовал. Даже целовал его. А он под диван забрался и оттуда стал меня же облаивать... гав-гав! гав-гав!

(Забегая вперед, я скажу, что И.И. Маслов, не вернув Скобелеву деньги, очевидно, хотел отвратить крестника от авантюр, а перед своей смертью в 1891 году Иван Ильич весь миллион завещал на дело народного образования, так что сумасшедшим он никогда не был.)

24 июня Скобелев навестил Аксакова со связкой бумаг:

— Иван Сергеич, я оставляю их у вас. Боюсь, что за ними охотятся. С некоторых пор я стал подозрителен...

Вечером следующего дня Скобелев навестил ресторацию «Англия» на углу Петровки и Столешникова переулка. Здесь он ужинал с расфуфыренной немкой Вандой, известной кокоткой. Из отдельного кабинета в ресторан явился незнакомый господин с бокалом шампанского и просил Скобелева выпить.

— У нас там собралась хорошая компания, — сказал он. — Но узнали, что вы здесь, и тоже будем пить за ваше здоровье...

Скобелев выпил. Была уже ночь, когда дворника гостиницы всполошила Ванда, растрепанная, прямо с постели:

— Помогите! В моем номере скончался офицер...

Нагрянула полиция, и все узнали генерала Скобелева.

В.А. Гиляровский писал, что после этого Ванда повысила на себя цену, но к ней пристала кличка Могила Скобелева.

Историкам известна фраза фельдмаршала Мольтке:

— Не скрою, что смерть Скобелева доставила мне радость...

В этом случае немка Ванда могла быть агентом германского генштаба, который с ее помощью убрал Скобелева, как опасного противника в будущей войне. Но слишком подозрителен неизвестный господин из отдельного кабинета, просивший Скобелева осушить бокал шампанского, и в этом случае он мог явиться тайным агентом «Священной дружины», которая расправилась с популярным генералом совсем по иным причинам.

В первом случае Ванда действительно являлась агентом бисмарковской Германии, ибо сразу же после гибели Скобелева немецкая пресса издала вопль дикой радости; в кайзеровской армии началось всеобщее ликование, будто она уже выиграла войну с Россией. Но владелец ресторана «Англия», где часто ужинал Скобелев, говорил писателю Гиляровскому:

— Ванда не такой человек, чтобы травить кого-то...

Второй случай, с бокалом шампанского, более подозрителен. И эти подозрения усиливаются, если учесть, что царская цензура беспощадно вымарывала все подробности смерти Скобелева. Здесь опять из потемок является нам зловещая тень «Священной

дружины», а может быть, даже влияние самого царя, тем более что в простом народе тогда ходила молва, будто Александра III скоро свергнут, а царем сделают генерала Скобелева. Как бы то ни было, но в газетах Парижа писали, что тайным голосованием в «Священной дружине» 33 голосами (против 40) было принято решение избавить страну и армию от Скобелева...

Вскрытие тела производил профессор Нейдинг.

— Покойный, — объявил он, — скончался от паралича сердца и легких, воспалением которых недавно перестрадал.

Друзья Скобелева не верили в это:

— Миша был страшно мнителен, с каждым прыщиком бегал по врачам, а на сердце он никогда не жаловался.

Совершенно невероятно известие от С.И. Щукина, создателя музея русской старины в Москве, который говорил:

— Вы не знаете правды! Когда полиция вошла в номер Ванды, Скобелев лежал голый, но был весь опутан веревками.

Художник В.В. Верещагин, хорошо знавший покойного, тяжело переживал смерть друга, но утверждал иное:

— Ванда тут ни при чем! Миша просто забыл, что ему не двадцать лет. Выпил лишнее и нашел смерть во всем ее безобразии. Если бы женился да жил, как все люди живут, ничего бы с ним не случилось. Не нашлось женщины, способной сберечь его!

Толпы москвичей с утра осаждали гостиницу, «чтобы поклониться праху человека, чье имя стало национальной гордостью, это было подлинное народное горе. Площадь перед церковью была забита народом. Толпа целовала не только гроб, но и помост, на котором он стоял, после того, как печальный и торжественный кортеж направился к Казанскому вокзалу».

Из пятнадцати вагонов, заполненных войсками, друзьями и родственниками Скобелева, был составлен особый траурный поезд, который и тронулся в Рязанскую губернию. Всю дорогу вдоль насыпи стояли мужики, кланялись мчавшимся вагонам. На станции Ранненбург поезд встречали крестьяне из села Спасского. Среди

зеленых полей, вдоль деревень и сел двигался траурный кортеж. Оглушительный ливень не мог помешать этому шествию, и капли дождя перемешивались с людскими слезами...

Возле села Спасского крестьяне сказали:

— Выпрягай лошадей! Далее мы его на руках понесем!

Процессия миновала небольшой дом Скобелева, перед фасадом которого покойный каждый год разбивал клумбы из ярких цветов, сложенных в такие слова: честь и слава!

Смерть Скобелева воспринимали по-разному, и не все жалели о нем. Салтыков-Щедрин даже с презрением отмахивался:

— Забубенная головушка, каких на Руси навалом! Эка важность, что первым лез в драку... А что пользы для нас?

Престарелый генерал Витмер, профессор Академии Генштаба, узнал о смерти своего ученика в Крыму на даче: «Ноги мои точно подкосило, я невольно опустился на стул. Но, опомнившись, я, не скрываю, перекрестился». При этом Витмер сказал:

— Великое счастье для русского народа, что Скобелева не стало. Талантливый честолюбец, не уйди он сам из жизни, и он втянул бы Россию в новую войну...

Правда, тот же профессор Витмер в 1905 году страдал, как и многие патриоты, из-за поражения русской армии на полях Маньчжурии; он, подобно другим русским, часто вздыхал:

— Эх, нет у нас Скобелева... он бы развернулся!

Долгие-долгие годы русский народ по копеечке собирал деньги на памятник своему герою. Созданный целиком на общенародные пожертвования, без участия царя и его министров, памятник М.Д. Скобелеву был открыт в центре Москвы 24 июня 1912 года на Тверской (ныне Советской) площади. Скобелев был представлен на коне, взмахивающий саблей, а внизу постамент его окружали герои-солдаты, отстреливающиеся отседающих врагов...

Это был подлинно народный памятник — для народа! Чтобы мы помнили. Чтобы не смели забывать.

«Малахолия» полковника Богданова

Григорий Дмитриевич Щербачев (1823—1900) ныне мало кому известен. Он завершил свою карьеру генералом, будучи директором военной гимназии в Орле, а в пору офицерской младости служил в Петербурге по Артиллерийскому ведомству, которым управлял барон Н.И. Корф, о чем современному читателю помнить необязательно. Впрочем, ни этот Корф, ни даже сам Щербачев, люди здравые, никогда с ума не сходили, а вспомнил я о них лишь потому, что они хорошо знали моего героя, объявленного «лишенным рассудка»...

Был конец лихого царствования Николая I, могущество великой империи россиян еще не подвергалось в Европе сомнению, хотя до пресловутой Крымской кампании оставались считанные годы. В один из летних дней барон Корф командировал Щербачева в Шлиссельбург — по делам службы.

— Если управитесь с ревизией арсенала за один день, — сказал барон, — то вечерним пароходом можете отплыть по Неве обратно, дабы утречком быть в столице.

— Слушаюсь! — повиновался Щербачев...

Так и получилось. Он поспел к отплытию последнего парохода, купив билет 1-го класса, стоивший рубль с полтиной. Был теплый хороший вечер, колесные плиты усыпляюще шлепали по воде, из прибрежных деревень слышались песни крестьян, игравших свадьбы, в темных парковых кущах смутно белели особняки столичной знати, их классические колонны невольно тревожили память, напоминая невозвратное прошлое «золотого века» Екатерины Великой...

Щербачев не покидал прогулочной палубы, наслаждаясь вечерней прохладой, когда к нему подсел полковник Корпуса путей сообщений (тогда, надо сказать, инженеры-путейцы имели воинские звания). Полковник в разговоре с Щербачевым назвал-

ся Богдановым, хотя эта фамилия мало что говорила Григорию Дмитриевичу.

— Вы, конечно, можете и не знать меня, ибо Богдановых на святой Руси — словно карасей в пруду, — сказал полковник. — Но мое имя более известно за границей, ибо я имел честь составить научную брошюру об ускоренном шлюзовании каналов...

Щербачев вежливо ответил, что ему приятно иметь такого попутчика, после чего Богданов повел себя несколько странно. Он извлек пассажирский билет до Питера и сказал:

— У вас, сударь, такой же в кармане мундира. Мой билет, как и ваш, обошелся мне в полтора рубля.

— Точно так, — согласился Щербачев. — Но я, господин полковник, все-таки не пойму, к чему вы это сказали?

Богданов поводит билетом перед носом Щербачева с таким видом, словно искушал его в чем-то грешном.

— Вы еще молоды, — значительно произнес он, — и многого не понимаете. Каково ваше состояние? Вряд ли вы богаты.

— Да, небогат.

— А хотите стать владельцем трех тысяч десятин земли?

Вопрос странный: 3000 десятин земли — это ведь очень обширное поместье, сразу делающее человека богатым.

— Так вот, — сказал Богданов, — оплатите мне путешествие, за пароход, и я обещаю, что именно за полтора рубля уступлю вам все свои земли, которыми обладаю как помещик...

Щербачев отодвинулся подальше от странного господина, который за цену билета готов отдать столь обширное поместье, и, прибыв в столицу, он рассказал об этом своему начальнику.

— Богданов? — переспросил Корф. — Так вы, милейший, уже не первый, кому он предлагает свои три тысячи десятин.

— Он что, разве сумасшедший?

— Да как сказать, — призадумался барон. — Точнее говоря, Богданова объявили сумасшедшим, хотя его помешательство было скорее протестом порядочного человека против той грязи и мра-

зи, кои воцарили в управлении путей сообщения... Разве вы сами не знаете, каковы порядки в «богадельне» графа Клейнмихеля? Конечно, — рассуждал Корф, — сам Петр Андреевич взятки не берет... зачем? Зачем ему пачкать свой генеральский мундир, если у него, как у Антония, имеется своя Клеопатра, которая никогда не боится испачкать своих перчаток...

Сказав об этом, Корф вдруг начал хохотать.

— Что вас рассмешило? — удивился Щербачев.

— Вы бы знали, где расположены эти богдановские тысячи десятин — вы бы тоже хохотали до слез... с ума можно сойти!

Дело прошлое. Когда после Крымской кампании император Александр II выбросил Клейнмихеля в отставку, он сказал ему в утешение, что делает это «в угоду общественному мнению», на что и получил ответ, достойный сохранения в анналах истории:

— Ваше величество, зачем вам иметь общественное мнение, ежели у вас имеется мнение собственное?..

Ей-ей, поверьте, мне совсем не хочется писать о графе Клейнмихеле, паче того, о нем написано очень много, а квинтэссенция всего написанного выражена историком Михаилом Семеским: «П.А. Клейнмихель — это Аракчеев в более позднем и несколько исправленном издании...» По той причине, что нашим школьникам и студентам о Петре Андреевиче умалчивают, я вынужден напомнить об этом человеке. Выходец из аракчеевской казармы, Клейнмихель был любимцем императора Николая I, который произвел невежду в генералы от инфантерии, в 1839 году дал ему титул графа («его сиятельство»), а с 1842 года Петр Андреевич стал Главноуправляющим путей сообщения. Барон Н.И. Корф в разговоре с Щербачевым верно заметил, что сам Клейнмихель взятки не берет, они поступают в кубышку через его жену — Клеопатру Петровну, даму чрезвычайно строгую, о таких, как она, в русском народе принято говорить, что «эта баба за копейку удавится».

Вот при таком начальнике путей сообщения и служил отечеству полковник Корпуса путей сообщения Богданов!

В ту пору Россия уже прокладывала рельсы, дабы связать столицы империи (старую и новую), но Богданов служил на каналах, которые всегда играли важную роль в жизни русского народа. Главное, в чем нуждалась тогда столица, это хлеб и дрова. Представьте крестьянина, который решил подзаработать. Загодя сколотил он баржу, нагрузил ее дровами и по весне поплыл по каналам Мариинской системы; там тебе все 33 удовольствия — и пороги, того и гляди, как бы на камни не напоротся днищем, там и множество шлюзов, которых не миновать. Возле порогов дежурили местные лоцманы, а возле шлюзов взимали налог чиновники. Налог — это бы еще ничего, но, помимо законных податей, идущих в казну государства, и лоцман у порогов и чинодралы, отворяющие шлюзы, любили получать «на лапу»...

Графиня Клеопатра Клейнмихель не дремала!

Взяточничество на каналах было почти узаконено: лоцмана часть своих доходов уступали чиновникам, чиновники, в свою очередь, нарочно мурыжили плывущих с грузом возле шлюзов, не пропуская их баржи в столицу, пока не отваливали им взятку, и так по всей Мариинской системе набегала крупная сумма, которая — через доверенных графа — обогащала Клеопатру, которой, как вы догадываетесь, «всегда не хватало»...

Богданов служил начальником самой ответственной дистанции — от истоков Невы до Новой Ладogi, и тут хлопот полон рот, ибо движение по каналу, проложенному еще графом Минихом во времена Анны Иоанновны, было самое оживленное — особенно под осень, когда имперская столица поспешно заполняла свои хлебные амбары, а жители Петербурга запасались дровишками на зиму. Вступая в должность, Богданов, конечно, еще не думал, что именно с этой дистанции, самой ближайшей к столице, Клеопатра Петровна и получала самые большие поборы.

Полковник же Богданов был отчасти педант.

— Служить, господа, надобно честно! — сразу заявил он, беря в руки бразды правления, и вряд ли такое заявление пришлось по вкусу его канальным чиновникам...

После знакомства с новым начальником чиновники расходились из канцелярии, ведя безмятежные разговоры:

— Это мы и без него знаем, что служить надобно честно. Только сказал бы он об этом не нам, а самой Клеопатре...

— А что, господа? Неужто ему меньше надобно?

— Небось, семья-то у него имеется?

— Говорят, жена и три дочери.

— Так чего нам унывать? Пообживется на нашей дистанции и сам разумеет, какова цена честности возле шлюзов...

Но полковник Богданов произносил слова не для колебания воздуха — он так оказался крут, преследуя взяточбравцев, что они взвыли, ибо жить на одно лишь жалованье не привыкли. «Такая честность, — писал современник, — как несогласная с порядками, царившими в Министерстве путей сообщения, не могла, конечно, не возбудить к нему ненависти не только его подчиненных, но и лиц, окружавших графа Клейнмихеля. Начались жалобы, наговоры, доносы...»

— Служить, господа, надобно только честно, — упрямо твердил Богданов, — а нечестивцам лучше и не служить...

Вестимо, что, потеряв большую часть доходов с такой выгодной для нее дистанции, какой была Новоладожская, Клеопатра Петровна не раз учила мужа, «как надо жить»:

— Ты разве не видишь, что у тебя в Управлении творится? Конечно, полковник Богданов все доходы гребет под себя лопатой, а ты, как дурачок, и уши развесил... Да пошли на его канал ревизию, дабы уличить. Дабы наказать. Дабы в отставку его. И чтобы другим стало неповадно от нас доходы утаивать...

Клейнмихель и сам желал бы избавиться от Богданова, ибо отдельные люди в его заскорузлом понимании были вроде идиотов, не умеющих жить. Он уже не раз, повинувшись желаниям супруги, слал на канал ревизии, своих соглядатаев, на канале в поте лица работали всякие комиссии и подкомиссии, дабы выяснить, куда подевались аж все «три рубля и шашнадцать с половиной копеек».

Клейнмихель, угождая своей драгоценной супруге, усердно копал под Богданова яму, но...

— Но что я могу с ним поделать, ежели он чист, аки голубь небесный? — оправдывался граф перед графиней. — Ни один из доносов не нашел подтверждения, Богданов такой мерзавец, что сам не берет и другим брать не позволяет... Как служить с такими людьми? Об этом ты, дорогая, подумала ли?

Неверно было бы полагать, что Богданов стал неугоден только Клеопатре Петровне — в Управлении путей сообщения многие наживались с доходов, которые в чиновной среде принято вежливо именовать «незаконными». Так что яма-то под Богдановым уже была вырыта, а охотников спихнуть Богданова в эту яму было тогда немало... Наконец сослуживцев Богданова душевно язвило то, что его научная брошюра о работе шлюзов заинтересовала ученых гидротехников Европы, а сами они на то были неспособны, пригодные лишь для составления «докладных», кои заслуженным успехом в науке никогда не пользовались.

Клейнмихель, удрученный, известил свою Клеопатру:

— Государь, прослышав о брошюре Богданова, указал мне не затемнять таланты, а Богданова отличить особо.

Тут как раз подоспел «табельный» день, когда все чиновники великой империи чаяли вознаграждения или повышения в чинах, — Клейнмихель, подписывая наградные списки, заволновался.

— Выпал удобный случай! Богданов думал, что останется неуязвим, но от меня не так-то легко ему отвертеться. У него, говорят, три дочери... Вот и стану я Богданова особо отличать, чтобы дочери его сразу сделались богатыми невестами, и пусть им от женихов не будет отбою...

Вскоре стало ясно, что полковник Богданов за рвение, проявленное в службе, награждается тремя тысячами земельных десятин «в его полное и потомственное владение». Но земли эти отводились Богданову не где-нибудь на воронежских или черниговских

черноземах, где только плюнь — и огурец вырастет, а на самом краю Архангельской губернии, которая необъятным мастодонтом распростерлась от Печенги до острова Вайгач по меридиану и от Новой земли до Шенкурска по широте.

Впрочем, Богданов сначала не усмотрел никакого подвоха и даже порадовался вместе с женою:

— Земли-то еще нетронутые, великие богатства в недрах ее, чего доброго — и богатыми станем...

Сам Богданов, связанный службою, на север не торопился, а послал своего доверенного человека ехать в Архангельск, где в губернской канцелярии надо выправить документы на владение, а заодно чтобы тот своими глазами убедился — каковы те дарственные земли? Доверенный очень долго не возвращался.

Наконец возвратился — ни живой ни мертвый.

— Прямо Патагония какая-то! — рассказывал он. — Ехал я, ехал, сначала в телеге, потом в санках по кочкам на олене, и наконец везли меня на собаках — и завезли ажно в такие края, где ночи не бывает, а всегда светит солнышко и не греет. Сначала-то лес да топи, а потом и кустика, чтобы нужду справить, не видать стало... Места гибельные! Одни болота да мох — и никаких прибылей не предвидится, кроме к л ю к в ы, которая горазд уродилась. Одно слово — тундра.

Судя по рассказу доверенного, он побывал где-то за славным городом Мезенью, и тут Богданов понял, что Клейнмихель попросту отомстил ему, сделав его — прямо для анекдотов — помещиком Канинской тундры. Нет, не наградили его за службу, а лишь наказали таким награждением, и жене он сказал:

— Видишь, как надо мною издеваются! Не удалось Клейнмихелю сломить меня, так он сделал меня посмешищем Петербурга, ибо всякий босяк знает, что тундровых помещиков не бывает.

— Так откажись от дарственных земель, — сказала жена.

— Зачем? Три тысячи десятин чего-нибудь стоят...

Далее началось «сумашествие» полковника Богданова!

Облачившись в парадный мундир, при орденах и оружии, полковник Богданов появился на главной гауптвахте Петербурга, от имени императора он потребовал у начальника караула:

— Снять двух часовых при оружии, поручив их моему начальствованию для исполнения высочайшей воли... Быстро!

В таких случаях не рассуждают и лишних вопросов не задают, а потому начальник караула отрядил для Богданова двух солдат вместе с ефрейтором. Богданов привел их к дому, который занимал граф Клейнмихель с домочадцами и челядью, поставил солдат возле подъезда, а ефрейтору наказал строжайше:

— Именем императора дармоеды в сем доме объявлены преступниками, и кто бы ни высунулся из дома, всех загоняй обратно, на улицу не выпускай, при этом не страшись применять оружие, как это и водится с опасными арестантами.

— Слушаюсь! — отчеканил ефрейтор. — У меня и мухи из дому не вылетит, всяку тварь расшибем...

Богданов перехватил извозчика на улице и в коляске катил по Фонтанке к зданию Министерства внутренних дел, которое в ту пору возглавлял граф Лев Перовский, славный нумизмат и археолог, сибарит и коллекционер. Он с утра пораньше наслаждался лицезрением через линзу древней тетрадрахмы времен Антиоха II, когда секретарь доложил, что приема действительно домогается некий полковник Богданов.

— А что у него там загорелось? — недовольно спросил министр.

— Не знаю. И говорит, что дело у него государственной важности, отлагательства никак не терпящее.

— О господи! — сокрушенно вздохнул Перовский, с большим трудом отрывая взор от греческой монеты. — Даже поработать как следует на свежую голову не дают... так и лезут, так и лезут, словно клопы из перины. Черт с ним — проси!

Представ перед министром, Богданов сказал:

— Вся мать-Россия и великий русский народ с неослабным восхищением наблюдают за теми титаническими усилиями, кои вы, ваше сиятельство, прилагаете к наведению порядка на просторах империи, энергично преследуя воров, взяточников, прохиндеев и мошенников — какого бы ранга они ни были.

— Не спорю, — скромно отозвался граф Перовский.

— Сочувствуя вашим благим устремлениям, — напористо продолжал Богданов, — я пришел к вам, дабы указать вашему сиятельству на самого зловредного вора и взяточника в нашей богоспасаемой империи, к задержанию коего мною приняты должные меры.

— Кто он? — спросил министр дел внутренних.

— Клейнмихель! — одним дыханием произнес Богданов.

При этом он имел неосторожность указать на свой пистолет, прибавив, что вор попался и от расправы не уйдет:

— Не спорю, я готов его продырявить.

— Покажите-ка мне ваш пистолет.

— Пожалуйста, — согласился Богданов.

Перовский ногою нажал под столом педаль вызова секретаря, а сам, отбросив пистолет, указал на стенд охотничьего снаряжения, который украшал его министерский кабинет.

— То, что граф Клейнмихель вор и взяточник, — деловито сказал министр, — об этом даже дворники столицы извещены в полной мере. Я от души одобряю ваше решение, как решение честного человека, но... Для наказания вора и взяточника совету снять со стены одну из нагаек, которой мы его совместно и наказуем...

Кажется, Богданов понял, что попал в ловушку, и потому, сорвав со стены нагайку, он стал хлестать ею не Клейнмихеля, а самого министра внутренних дел графа Перовского, но тут вбежал секретарь, а за ним вломилась в кабинет часовые.

Граф Лев Перовский даже не обиделся.

— Вам чай или кофе? — любезно спросил он Богданова. — Небольшая передышка в событиях нам не повредит.

— Чай, — яростно огрызнулся Богданов...

Оставив Богданова пить чай под арестом, Лев Алексеевич Перовский покати́л в Зимний дворец — прямо к императору.

Николай I пребывал в невыносимом раздражении.

— Что за бардак? — четко выразился он, точно определяя положение дел в своем всемогущем государстве. — Вчера я назначил графу Клейнмихелю время для доклада, и вот уже полчаса протираю штаны в кабинете, а он... где он?

— Уже арестован, — доложил Перовский.

— Как?

— Так.

— Кем?

— Не мною.

— Что за ахинея?

— Именно, что самая натуральная ахинея. Ваш министр путей сообщения арестован полковником Богдановым, который, будучи щепетильным человеком, не делился доходами со своих шлюзов с ее сиятельством Клеопатрой Петровной Клейнмихель.

— Ничего не понимаю, — отозвался Николай I, действительно не разбираясь в неудобном сочетании Клеопатры с ускоренным растворением шлюзов.

Лев Алексеевич заторопился.

— Стоит ли волноваться? — сказал он. — Мною уже посланы люди, дабы снять караул от подъезда дома Клейнмихеля, а вот что делать с Богдановым... простите, не знаю.

— Так он же сумасшедший! — воскликнул император, находя самый верный фарватер в сложной дельте своих умозаключений.

— Не всякий же, кто имеет эполеты полковника, способен сажать под арест министров, облеченных вашим высочайшим доверием... Что нам делать с графом Клейнмихелем?

— Выпустить.

— А что делать с Богдановым?

— Посадить...

Но сажать Богданова в тюрьму было как-то не совсем удобно, ибо мотивы, которыми он руководствовался при аресте графа Клейнмихеля, были весьма благородны, и личной корысти Богданов никакой не имел. В таких случаях, чтобы власть не мучилась, тюрьму заменяют домом для умалишенных, и полковник Богданов на два года был помещен в ту самую больницу, где ни один больной никогда не сознается вам в том, что он болен...

Много позже некто А.И. Шадрин, смотритель сумасшедшего заведения, рассказывал Василию Верещагину (художнику):

— Состоял это я по умалишенной части, обслуживая палату для малахоликов. Энти самые малахолики («Меланхолики», — поправил его Верещагин) не то чтобы совсем тронулись, а так... малость заколдобились. Но люди все образованные. Коли уж они свою грамотность слишком учнут показывать — моя задача была обливаться холодной водой. Там же и полковник Богданов срок отбывал. А потому как он спятил не сам по себе, а по высочайшему соизволению, так его в одиночке содержали, чтобы он никому своего ума не показывал.

— А водой его обливали? — спросил Верещагин.

— Не! Его к столбу привязывали и простынку мокрой обворачивали. А на иных-то я ведер по десять выбухивал, так что от них пар шел, бытто от банной каменки... Полковник же Богданов был мужчина серьезный. Кады не придешь, он все книжку читает. Человек добрый. Коли его не трогаешь, так он даже не кусался, как другие. А когда времена-то изменились, его в генерал-майоры произвели. Говорят, он в Питере Исаакиевский собор достраивал... Кады покидал он малахольное отделение, чтобы в генералы выйти, он мне кулаком как звезданет в ухо, я ажно заробел. А потом — ничего, пять рублей подарил и сказал на прощание: «Русский человек на любом посту обязан служить»

ч е с т н о...» Вот за это-то самое его и держали в малахоликах, чтобы не кочевряжился...

Покончив со своей «малахолией», назначенной ему вроде лекарства по высочайшему повелению, Богданов снимал скромный домишко на Выборгской стороне столицы, ему был назначен небольшой пенсией, а дочек его император распорядился определить на казенный счет в Смольный институт. «Когда я познакомился с ним на пароходе, — вспоминал Г.Д. Щербачев, — он был вполне в здравом уме, только нещадно бранил графа Клейнмихеля...»

Конечно, встреч с Клейнмихелем ему было не избежать, и когда они встретились, то Богданов заметил, что Клейнмихель страшно перепугался... «Ага, — тогда же решил Богданов, — вот теперь-то я рассчитаюсь с тобой за все три тысячи десятин, на которых растет лишь одна великолепная клюква...»

Его сиятельство Петр Андреевич ежевечерне проделывал моцион на Дворцовой набережной — ради здоровья, но Богданов решил гулять там же, где и Клейнмихель, только отступив от него шагов на десять—пятнадцать, иногда предлагая ему:

— Слушайте, а не купите ли вы у меня три тысячи десятин добротной и плодородной земли в тех благодатных краях, куда и ворон своих костей не заносит... продам дешево!

Клейнмихель в ужасе сворачивал на Марсово поле, он спасался в подъездах знакомых на Миллионной, он убегал в переулки, но всюду его преследовал Богданов, выкрикивая:

— Сделайте для графини подарок — купите у меня земельку... Разве она не любит у вас клюкву с сахаром? Нет, с пудрой?

Кончилось это для Клейнмихеля плохо: от вечерних прогулок ему пришлось отказаться, он теперь сидел дома, выслушивая от пылкой Клеопатры массу всяческих жизненных поучений. Об этом скоро узнали в столице, немало потешаясь над трусостью графа, а Богданов, как-то снова встретясь со Щербачевым, даже не пытался отрицать своих мстительных намерений.

— Пусть трепещет, гнида паршивая! — сказал он с яростным отворачиванием. — Хоть таким способом, но я отомщу этой жалкой скнипе за все свои унижения и за все то зло, которое этот мерзавец причинил не только мне, как вы понимаете.

— Понимаю, — согласился Григорий Дмитриевич.

Слава нашему атаману!

Сейчас у нас — слава богу! — стали писать о знаменитой «хомутовской» коллекции акварелей А.И. Клюндера. Мне, посвятившему около сорока лет своей жизни отечественной иконографии, особенно приятно это внимание к обширной серии портретов офицеров лейб-гвардии Гусарского полка, сослуживцев поэта Михаила Лермонтова. Собрание гусарских портретов кисти Клюндера было поднесено в дар генералу Михаилу Григорьевичу Хомутову, когда он покидал Царское Село, где квартировали его гусары, чтобы отбыть в Новочеркасск — ради новой службы.

Но имя этого Хомутова остается для многих как бы в густой тени, и только лермонтоведы иногда упоминают о нем. А я привык извлекать из потемок прошлого именно тех людей, что постыдно забыты нами, и потому хочу напомнить читателям о Михаиле Григорьевиче — кто он такой, кем был, о чем думал, чем занимался, кому служил, как относился к людям и как люди относились к нему...

Михаил Григорьевич Хомутов родился в 1795 году.

Русский выговор кого хочешь переиначит на свой лад: был шотландец Гамильтон, выехал он на Русь при царе Иване Грозном, а его дети и внуки постепенно превращались в Гамельтоновых, Гамотовых и, наконец, закрепились в русском дворянстве — как Хомутовы. Из числа многих Гамильтонов-Хомутовых мы лучше всего запомнили фрейлину Марию Гамильтон, которая была фавориткой Петра I, но изменила царю с его денщиком Орловым, за что царь-батюшка отрубил ей голову, а эта голова, тогда же погру-

женная в банку со спиртом, долго хранилась в Кунсткамере, где ее много лет спустя обнаружила княгиня Е.Р. Дашкова, а Екатерина II созвала гостей, чтобы полюбоваться красотой головы, после чего банку раскокали, а голову казненной красавицы, по высочайшему велению, предали земле...

Отцом нашего героя был сенатор Григорий Аполлонович, а матерью — дворянка из рода Похвисневых. Дом родителей, вернее сказать — два дома (на Мясницкой и Басманной), был полная чаша. «На балы их и обеды съезжалась вся московская знать, литераторы, поэты, все известные гости столицы». Михаил Хомутов учился в Пажеском корпусе, срочно выпущенный из пажей в корнеты — Наполеон уже вел к Москве гигантскую армию, и война сразу вскинула Хомутова в гусарское седло. В сражении под Красным юный корнет заслужил золотую саблю с надписью «За храбрость», потом прошел через всю Европу до самого Парижа, а было ему всего девятнадцать лет...

Вернувшись на родину, повидался с родными, а затем служил, оставаясь лихим гусаром, в том полку, который квартировал в Царском Селе. Юный Пушкин по вечерам не раз убегал из Лицея, находя приют в гусарском обществе, где на скуку никто не жаловался. Позже, возвращаясь из ссылки, поэт встретил Анну Хомутову, некрасивую, но умную девицу, и поспешил сказать ей: «Вы сестра Михаила Григорьевича, я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности». Он стал говорить о лейб-гвардии Гусарском полке, который, по словам его, «был его колыбелью». «А брат мой был для него нередко ментором...» — так записала эту беседу с поэтом сама Анна Григорьевна.

Михаил Григорьевич не баловал сестрицу вниманием, но, встретив ее на Невском, заманивал в кондитерскую Молилари, Аня рассказывала ему последние литературные новости — как рассмешил ее Жуковский, о чем пишет Нелединский-Мелецкий, каковы стихи князя Вяземского — и о том, что их кузен Иван Козлов, бедняга, совсем слепнет.

— Ты сама-то, Аннет, сознайся, не пишешь ли?

— Нет, я не пишу, а только записываю, что говорят люди пишущие. А как твоя служба, Мишель?..

Грех было жаловаться на службу, если уже вышел в полковники. Вскоре Михаил Григорьевич женился по страстной любви на Екатерине Михайловне Демидовой, мать которой — Анна Федоровна из рода Бестужевых-Рюминых* — была кузиной декабриста М.П. Бестужева-Рюмина, повешенного на кронверке столичной крепости. Но сам Хомутов был далек от декабристов, и потому в новом царствовании Николая I его карьера не ведала задержек на рискованных поворотах истории. В забытой нами войне 1828 года Хомутов отличился не только храбростью, но и небывалой щедростью, показав всем, что сердце у него доброе, сострадательное. Увидев как-то нищих беженцев из Румелии, гусар не стал ждать, пока в Петербурге казна раскошелится, а выложил деньги из своего кармана:

— Обуть, одеть, накормить. Не могу видеть несчастных. Что мне деньги? Меньше выпью, меньше пожирую в Бухаресте... Велика ль беда? Зато вытрем слезы вдовьи и детские.

Из этой войны на Дунае он вышел генерал-майором.

Катюша, сияющая красотой и счастьем, рожала исправно, одарив преуспевающего мужа целым выводком ребятишек, которых он выстраивал по ранжиру, пересчитывая по головам (все сынишки и только одна девица — Санька). Жене говорил:

— Хватит плодиться! Этак-то, гляди, ребят у тебя станет намного более, нежели у меня орденов на мундире...

В 1833 году Хомутов стал командовать лейб-гвардии гусарами, и в полку не могли нахвалиться добрым начальником. Служилось при нем легко и весело. Под началом Хомутова состоял не только поэт Лермонтов, но и сородичи его — Столыпины, в том числе и

* Овдовев, Анна Федоровна вступила во второй брак с А.П. Чихачевым, от которого имела двух прославленных сыновей — Петра и Платона Чихачевых, известных географов и путешественников по странам Востока.

знаменитый «Монго», который выдрессировал свою собаку, чтобы во время кавалерийских учений выбегала на плац, хватая лошадь Хомутова за хвост, отчего бедный командир полка и прекращал муштровку.

— Монго! — кричал Хомутов со вздыбленной лошади. — Я ведь догадываюсь, что вы затем и завели себе эту псину, чтобы я не утомлял вас учением...

Конечно, каждый гусар оставался гусаром, и в полку Хомутова, как писал современник, «было много любителей большой карточной игры и гомерических попок с огнями, музыкой, женщинами и пляской».

Не хочешь, да вспомнишь Дениса Давыдова — певца крылатой гусарской лихости:

На затылке кивера,
доломаны до колена,
сабли, шашки у бедра,
а диваном — кипа сена...
Но едва проглянет день,
каждый по полю порхает.
Кивер зверски набекрень,
ментик с вихрями играет...

Нотаций свыше Хомутов не принимал:

— А что вы хотели? Гусар всегда остается гусаром...

Такая покладистость командира службе не мешала, а, кажется, даже делала ее привлекательной. Михаил Григорьевич, бывало, назначал выездку лошадей, но офицеры говорили, что завтра им надобно сидеть не в седлах, а в партере театра, ибо в Санкт-Петербурге ставится опера «Фенелла».

— Бог с ней, с выездкой, — соглашался Хомутов, — я бы вас первый перестал уважать, ежели б вы не прослушали «Фенеллу».

Так служили гусары, и никто в России не сомневался в лихой боеспособности гвардейских гусар. Именно из рядов Гусарского

полка Лермонтов бросил в лицо Дантесу и обществу свои знаменитые стихи, а Хомутов, прослушав их, сказал:

— Не сиди сейчас Дантес под арестом, он по всем правилам благородства должен бы вызвать Лермонтова на дуэль, как вызвал его наш Пушкин, но... где уж ему!

«Где уж...» Офицеры Хомутова, побывав на военном суде, который разбирает дело Дантеса, так обрисовали его поведение:

— Бульварная сволочь со смазливой мордочкой и бойким говором бабника. Сначала-то он, решив, что его засекут где-либо впотьмах нагайками, так растерялся, что бледнел и дрожал как осиновый листочек. А когда понял, что Россия его в живых оставит, так захорохорился и даже имел наглость заявить, что таких поэтов, как Пушкин, в Париже у них с дюжину сыщется... Дать бы ему хорошую плюху за нахальство, с каким он оплевал хлеб да соль русские!

Однажды Николай I пожелал говорить с Хомутовым:

— Слышал ли, что донской атаман Власов хворать стал, да и как не болеть старику, ежели в одной только атаке под Гроховом он сразу семь ран получил! Думаю, чтобы помочь атаману, надобно ехать тебе на Дон... начальником штаба Войска Донского.

Наверное, именно тогда, ощутив близость разлуки с любимым командиром, офицеры и заказали Кюнндеру галерею своих акварельных портретов, чтобы поднести их на память Михаилу Григорьевичу. Странная судьба у этой «хомутовской» коллекции, из которой наши историки привыкли репродуцировать один только портрет М.Ю. Лермонтова, а его приятелей забыли. Теперь хватились собирать всю галерею сослуживцев поэта, но она оказалась уже разрозненной, рассыпанной по разным хранилищам, словно колода карт, сгоряча брошенная под стол неудачливым игроком... Теперь собирать надобно!

Летом 1839 года Хомутов уже был в Новочеркасске, этой давней столице Войска Донского, произведенный в чин генерал-

лейтенанта. Стареющий атаман Максим Власов, рубака славный, встретил царскосельского гусара настороженно:

— Ты чо прикатил сюды-тко? — спросил мужик.

— Руководить штабом твоим, Максим Григорьевич.

— Иль я доверие потерял? А и-де жинка твоя?

— За мной едет. С детьми. Вскоре явится.

— Та-а-ак. Значит, не на день тихий Дон навестил, решил тута обосноваться. Ну-к, ладно. А что говорил тебе царь, напутствуя в края наши забвенные?

— Соизволил вспомнить свое пребывание у вас в тридцать седьмом году, когда он желал видеть казака на лошади — как центавра древности, но казаки, сказал он мне, на мужиков боле похожи, и лошади-то у вас мужичьи, годные лишь для пахоты.

— Эх, милый мой! — вздохнул атаман Власов. — Царю центавры на Дону снятся, а вить нам, казачью, и пахать надобно... не баб же своих нам в плуги впрягать!

Здесь был совсем иной мир, совсем другая кавалерия, чисто народная, и сановный Санкт-Петербург видел этот мир иначе, совсем не таким, каким он предстал перед взором гусара. Тут я скажу читателю сразу, чтобы не отягощать финал своего рассказа утомительным послесловием. Михаил Григорьевич был человеком образованным, житейски опытным (недаром же Пушкин называл его своим «ментором»), но Хомутов сочинил массу казенных бумаг, погребенных ныне в архивах, сам же он в литературу, кажется, не стремился. Зато окружение его было литературным. Его двоюродный брат-слепец Иван Козлов был поэтом, из-за любви к нему так и засохла в девичестве сестрица Аня, оставившая нам, читатель, страницы чудесных воспоминаний, а брат Сергей Хомутов, тоже из пажей и тоже участник войны 1812 года, рано вышел в отставку по болезни и с 1827 года вроде бы прозябал в ярославской деревушке Лытарево, прикованный к креслу, занимаясь воспитанием детей и бездомных сирот. Но в 1869 году русская публика прочла его «Дневник свитского офицера», в котором Сергей Хомутов описал

поход русской армии в 1813 году, избавивший Россию от диктатуры Наполеона, но Европа так и не сказала «спасибо» русскому солдату за свое освобождение...

Ладно, читатель. Вот мы и в Новочеркасске...

В сложной русской истории вопрос о донском казачестве выглядел архисложным. Тихий Дон столетиями славился разбойниками и смутами, но, оставив эти «шалости» (как писалось в старину), донцы были и ретивыми защитниками Русского государства. Столицей мятежного Дона издревле был не город, а лишь станица Черкасская, отчего и казаков прозвали «черкасами» (отсюда и сорт мяса от скота, гонимого на Русь с юга, именовался «черкасским»). Черкасск, каждую весну затопляемый половодьем, очень долго оставался столицей, пока атаман Платов не сыскал место для новой, и старая осталась догнивать под названием Старочеркасск, а новый город стал именоваться Новочеркасском.

Новочеркасск выглядел большою несуразной деревней, строенной на возвышенном солныцепеке, сжатой мелководными речками — Аксаем и Тузловой, которые поили жителей скверной водою. От воды или от чего-либо другого город навещали всякие хвори, детская же смертность была очень высокой, а больниц и аптек казаки не имели. Зато вот рыбы тут было — хоть завались, а в шипучем цимлянском вине донцы-молодцы трезво усматривали хорошую замену французскому шампанскому. Убогость жизни бросалась в глаза: ни тебе гимназий, ни тебе училищ, тихий Дон не ведал газет, редко можно было усмотреть книгу в руках казака, а молодежь, ищущая образования, покидала родину, уезжая в Казань или Саратов, где можно было учиться...

Когда Хомутов покидал Петербург, в столице говорили, что он бежит от долгов, и это отчасти было справедливо, ибо на его рязанском имении Белоомут лежал почти миллионный начет, о чем на Дону вскоре узнали, рассуждая: «Гляди, и года не минует, как энтот генералище от долгов избавится...»

— Долгов накошелял я немало, сие верно, — не возражал Хомутов. — Но не за тем же Петербург променял я на казачью столицу, чтобы казаков на Дону грабить.

Екатерина Михайловна, наряженная по столичной моде, приехала в Новочеркасск, дабы «царствовать», но муж разместил семью в одноэтажном домишке, входные пороги которого были вровень с землей, что было непривычно балованной женщине.

— Мишель, обо мне и детях подумал ли? — с обидой говорила жена. — Нельзя ли пристойнее снять квартиру?

— Нельзя, — отвечал муж. — Пусть все видят, что живем скромно, и пока не отстрою для других нужное, о себе думать я никогда не стану... Терпи, атаманшей станешь!

Атаман Власов, коренной «черкас», на всех приезжих посматривал косо, а уж Хомутова и подавно не жаловал.

— Надо бы улицы замостить, — не раз говорил ему Хомутов, отряхивая мундир от немислимой пылищи.

— А здесь тебе не Париж, — мудрейше отвечивал атаман. — На жидкий понос казаки наши, да, жалятся, а на пыль родную жалоб шло не поступало...

Посреди нелепого города, среди казачьих хибар и потоков грязи, стекавших с горы, нелепо возвышалась громадина строящегося собора, который, по планам, должен был занимать третье или четвертое место в Европе по высоте; заложенный еще до нашествия Наполеона, собор делался и уже не раз переделывался. Никто не верил, что его подведут под купол.

— Если здесь не Париж, — говорил Хомутов атаману, — то к чему Нотр-Дам городить на посмешище всей Европе?

— Пушай хохочут, — отвечал Власов, — мы как были, так и останемся не посмешищем, а грозой для Европы, хотя ты, генерал, и прав... где бы денег взять?

Хомутов внушал атаману, что на метрополию надежды слабые, казакам надобно скопить «войсковой» капитал, дабы не зависеть от казны государства.

— Это, со стороны глядя, вы тут с жиру беситесь да цимлянским надуваетесь, а по станицам проедешь — сколь много куреней бедных, сколько вдов нищих и сирот немых. Опять же — инвалиды... немало их по улицам ползают.

— Всегда таково было, — хмуро отвечал Власов.

Однажды ночью супруги Хомутовы проснулись от страшного грохота, и казалось, что рассыпется их жилище. Это обрушился собор, стремившийся повершить высоту европейских храмов.

— Избавились от этого монстра, — сказал Хомутов жене. — Пришло время кирпичи собирать, чтобы новый строить.

Екатерине Михайловне было тут скучно, а местное дворянство перед людьми пришлыми объятий не распаховало, новочеркасский же князь Д.Г. Голицын, осевший в этих краях ради женитьбы на графине Платовой, потешал местное общество злыми, но талантливыми карикатурами на чету Хомутовых.

— Князь, — сказал ему как-то Хомутов, — всегда памятуя о своей знатности, не попирайте чужих достоинств. Впрочем, я далек от мстительности, и можете обрадовать свою жену, что я мечтаю о сооружении памятника ее славному деду...

Но прежде он соорудил величественный памятник своим благодеяниям — устроил Аксайскую дамбу с разводным мостом, что стало подлинным благом для всех жителей Дона, для всех путников, едущих на Кавказ или выезжавших с Кавказа, а Ростов стал неслыханно процветать от оживленной торговли с русской провинцией. Хомутов наладил работу почты, а в донских степях выстроил уютные станции для обогрева и ночлега проезжих. При этом начальник штаба умел экономить, и атаман Власов с удивлением обнаружил, что в его казне завелась лишняя копейка.

— Надобно собор достраивать, — сказал он.

— Надо, — соглашался Хомутов, — но также следует заводить гимназии и типографию, да приюты детские, чтобы казачьи сироты с протянутой рукою не шлялись по улицам.

Власов милостыню сиротам подавал, но говорил иное:

— Экий ты, генерал, скорый! А о лошадях ты подумал ли? Казак без коня — что поп без креста.

— Разве я спорю? — отвечал Хомутов. — Его величество недаром же говорил, что центавров на Дону не заметил...

Не заметил их и сам Михаил Григорьевич, пораженный прямым подсчетом: на каждого жителя в Области Войска Донского приходилась одна треть лошади (иначе говоря, любой крестьянин в России имел лошадей гораздо больше, нежели их имели донские казаки, — невероятная истина!). В заботах об увеличении донских табунов Хомутов сблизился с атаманом, постепенно обрел уважение и в казачестве, которое разглядело в нем рачительного хозяина. Озабоченный нуждами людей, о себе Хомутов не думал, и как вселился в свою халупу по приезде в Новочеркасск, так и терпел неудобства, так и ходил по комнатам, полусогнутый, чтобы не стукаться головой о дверные притолоки, а жене не позволял говорить о заведении нового жилища, более пристойного для его генеральского положения.

— Когда оставишь свои гусарские повадки? — не раз выговаривала мужу Екатерина Михайловна. — Если ты смолоду ночевал у костров на бивуаках, так не продлевай бездомные привычки молодости. Дети выросли, а мы стареем.

— Оставь, Като! — отмахивался Хомутов. — Ты имеешь предком своим тульского кузнеца Демидова, а я все-таки воспитан в правилах порядочности российского аристократа. Я оставил свои хоромы в Москве и Белоомуте, но здесь, в казачьей юдоли, дворцов заводить не стану... Это было бы неприлично!

Между супругами не раз намечался разлад и обоюдное охлаждение, ибо Михаил Григорьевич (при всех его достоинствах) обладал еще одним заурядным качеством гусара — он был несправедливым женолюбцем, и счет его сердечных побед катастрофически увеличивался, что никак не могло радовать супругу. Бог ему судья, оставим это... Тут вскоре случилась беда: летом 1848 года атаман

Максим Власов, совершая объезд Области Войска Донского, завернул в станицу Медведицкую, там его скрутила холера, и в одночасье старик умер. Власов был *последним* на Дону выборным атаманом, а Хомутов стал *первым* на Дону атаманом, которого Петербург назначил указом свыше, — событие примечательное, тем более что казаки не стали шуметь, ибо Михаил Григорьевич сумел завоевать их сердца своей добротой и отзывчивостью к их нуждам, люди в Новочеркасске видели, что себя он не щадил, а других людей жалел всегда...

— Ну вот, моя прелесть, — сказал Хомутов супруге, — видишь, как все получилось, и ты стала у меня атаманшей!

А рядом-то — Донбасс, не забывайте об этом, и на землях казачьих — славные Грушевские копи, дающие лучший антрацит в мире. Дрова были дороги, а потому казаки в станицах отапливали свои курени антрацитом, на нем работали сельские кузницы, его продавали в другие города, на нем работал сталелитейный завод в Луганске. А шахтеры, недовольные жизнью, толпами шли в Новочеркасск — жаловаться Хомутову; известно, что однажды работяги даже из Царицына (!) протопали 450 верст по степи, в зной и безводье, чтобы Хомутов защитил их от грабежа подрядчиков, и Михаил Григорьевич никого не отвергал, всех выслушивал, никто не ушел от него, не получив помощи...

— Наш атаман никого не боится, — говорили на Дону. — У него и сам царь в приятелях, а с нами прост, приходи любой, двери у него настежь. Не спит — нас поджидает...

Отчасти это верно. После служебного дня, наругавшись, Хомутов отворял двери на улицу (порога-то не было!) и, сидя в кабинете, если слышал чьи-либо шаги в сенях, то зычно выкрикивал: «Эй, кто там? Иди сюда...» Всемогущий атаман, простой и домашний, был в вечерние часы доступен и старому казаку с шевронами, и базарной торговке, и любому мальчонке. Энергии атамана можно было позавидовать, и недаром же В.А. Параев, общавшийся тогда с Хомутовым, писал, что после кончины Власова энергии еще при-

бавилось, вместо одного атамана, казалось, стало два-три — так много успевал он исполнить. Хомутов пробуждался с первыми петухами и крутился до ночи, начиная свои дни с посещения базара, где ругался с купцами, чтобы разгребли нечистоты и разогнали бездомных собак, а все дни трудился в поте лица, и штаб Войска Донского напоминал министерство с разными департаментами, у Хомутова был даже чиновник, который докладывал ему о развитии русской литературы...

Чтобы не быть голословным, приведу один из обычных диалогов, какие возникали каждый раз, когда Хомутов устраивал прием служащих в Атаманском дворце. Он выходил из кабинета, оглядывая сонмище чиновников, военных и местных помещиков.

— Опять, черт побери, на Аксайском мосту плашкоут разбило. Где инженер? Пора придумать защиту ото льдин.

Среди людей он замечал архитектора Вальпреда:

— Иван Осипыч, ты тоже думай... Я сегодня твоего подрядчика поколотил. У него рабочие сухой кирпич на известь клали. Лень водой сбрызнуть! Да скажи мясникам, что если мусор у лавок не уберут, так плакать им кровавыми слезами. Полицмейстер, где ты, солнышко? Посади-ка своего пристава на гауптвахту, и пусть посидит на хлебе, чтобы дела не забывал...

Шествие вдоль ряда людей продолжается. Сам большой ловелас, Хомутов надзирал за нравственностью и, отстранив от себя бабника Лукоедова, желавшего приложиться к плечу атамана, сказал ему:

— Я ж тебе не гувернантка, чтобы меня целовать. Господа, гляньте на этого донжуана. Зазвал к себе монашенку, а сам под рясу полез... А ну — пошел вон! Бабуин несчастный...

На глаза Хомутову попался дирижер Шейер.

— У тебя там первая скрипка — казак Серомахин, талантлив, дьявол, будущий Паганини. Надо бы его от Войска Донского укрестить, да чтобы в консерваторию ехал — учиться.

Следующий номер с Черевковым (по крестьянским делам):

— А, Петр Федорыч, с праздником тебя.

— Какой праздник нонеча, атаман?

— Ну как же! Вот пишут о свободе, а ты, сознавайся, мужичков-то в Большую высек... Это всегда так: кто не умеет с народом разговаривать, тот за розги хватается.

Чиновнику гражданского суда Попову:

— Давно не виделись, Николай Иванович, ну, сознавайся, сколь народу засудил. Жалуются люди, что дела волокитничаешь.

— Точно так-с. Бумаг много. Не справиться.

— А ты бумаги-то разгреби, чтобы людей видеть за ними.

Навытяжку стоял перед атаманом горный инженер Врангель:

— Вот и вы, барон! Что у тебя там, на шахтах, творится? Человек упал в неогражденную шахту, вчера бадья с шахтерами оборвалась. Ты меня в преферанс обыграл, остался я при шести на черной курице. Так это не дает тебе право бездельничать. Где Пунчевский? Кто его видел?

Из рядов чиновников выходит член врачебной управы:

— Здесь я, честь имею.

— Что мне с твоей чести, если в твоей больнице на больных халаты не стирают, а тарелки собаки облизывают.

— Знать того не знаю, а халатам срок еще не вышел.

— Брось о сроках! Не с арестантами дело имеешь...

Хомутову попался на глаза Карташев, надоевший доносами, которые он вежливо именовал «проектами». Недолго думая, Михаил Григорьевич хватал его за глотку и, развернув, выставял из приемной ударом колена под зад:

— Что ты шляешься? Что ты здесь торчишь? Видеть тебя не хочу! И впредь на глаза не попадайся — расшибу...

Потом — генералу Машлыкину, предводителю дворянства:

— А-а, Иван Алексеевич, друг ситный! Хочешь, обрадую?

— Рад слушать, — отвечал тот.

— Военное министерство вняло моим доводам, что Дону без театра не жить. Кривились там, и без того косоротые, будто атаман Хомутов деньги мотает, а все же строительство театра одобрили...

Так что наше дело выиграно. Кстати, — продолжал Хомутов, — моя жена в Петербург ездила, целый воз игрушек привезла, вы навестите ее, эти игрушки надо раздать детишкам в приюте для осиротелых.

Закончив прием, атаман вернулся к полицмейстеру:

— У меня для тебя тоже подарок приготовлен.

— Буду счастлив принять, ваше превосходительство.

— Эй, адъютант, тащи сюда... не стыдись!

Из элегантного свертка Хомутов извлек дохлую кошку и набросил ее на шею полицмейстера, словно горжетку.

— А тебе к лицу, — сказал он. — Эта киска дохлая валялась на Ратной улице, тебя поджидая... В другой раз увижу падаль на улицах, я на твоё благородие еще не то навешу.

Архитектора Вальпрейда атаман просил задержаться:

— Ох, не нравятся мне пилоны в новом соборе.

— По науке все, по науке. Если не стану учитывать законы математики, так я же первый в Сибирь пойду по этапу.

Чиновники и офицеры управления расходились, и Хомутов крикнул вдогонку генералу Машлыкину:

— Да! Когда игрушки в приют потащишь, всей мелюзге приюта от меня один поцелуй передай, и пусть разделят его между собой на равные части... Все по науке у вас, по науке, — ворчал Хомутов, продолжая разговор с Вальпрейдом. — Сибири-то вы боитесь, а вот счета фальшивые на подряды подписывать вам не страшно. Думаешь, я не вижу, что у тебя любовница молодая? Сознавайся, сколько ей платишь?..

Мне, читатель, описывая эти речи, почти не пришлось фантазировать, ибо один из таких разговоров стенографически зафиксировал с натуры некто А.А. Киселев, очевидец таких приемов.

Между тем донские казаки не только выводили лошадей и не только давили виноград для цимлянского — они еще и служили, каждый год провожая молодняк на Кавказ или в Варшаву, несли тревожную службу по охране Черноморского побережья, пресекая

турецкую или греческую контрабанду. А столичный град Новочеркасск хорошел, и об этом я хочу рассказать особо. Да, читатель, Михаил Григорьевич 24 года прожил в своей хибаре, с порогом на уровне земли, зато отстраивал жилища для других и не видел в этом ничего зазорного или унижительного для себя, для атамана:

— По мне так пусть люди будут довольны и счастливы, а мы не бедные — и так проживем...

Осталось сказать, что сделал Хомутов для Донского края.

При нем возник в Новочеркасске Мариинский женский институт и гимназии, а в станицах — училища и школы; появилось даже отделение восточных языков. При нем жители Дона обрели свой театр, открылись библиотеки, где за чтение книг и газет денег не брали. Бесплатным стало лечение в больницах, а больным в аптеках бесплатно отпускали лекарства. Мало того! Хомутов собрал в Атаманском дворце ценнейшую галерею портретов героев казачества, имена которых стали гордостью России (во времена же диктатуры Троцкого, ненавидевшего казачество, эту галерею разорили, а теперь ее заново собирают).

Новочеркасск при Хомутове приобрел городской вид. Малоимущим атаман выделял пособия, чтобы возводили дома, улицы мостились камнем, освещались фонарями. Приезжие из Петербурга говорили, что Гостиный двор у казаков намного краше столичного. Хомутов разрушил лавки Базарной площади, вечно грязной и пакостной, а на ее месте возник громадный цветущий парк — с фонтанами, аллеями и павильонами для отдыха, там вечером играли оркестры, люди танцевали, и не пускали в сад только пьяных. Наконец, Михаил Григорьевич свершил великое дело — за 20 верст от степных родников протянул в город трубы водопровода, и... не стало прежних болезней. Наконец, от Грушевских угольных копей к Дону побегал паровоз с вагонами, и эта магистраль вошла в общую железнодорожную сеть России...

Всегда помня о людях, Хомутов добился у царя сокращения сроков службы рядовым казакам, чтобы не отрывались они от

семей надолго, а из капитала Войска Донского, собранного им, он раздавал пенсии убогим и пособия бедным.

— Слава нашему атаману! — кричали в дни праздников казаки, и, надо полагать, кричали они не ради уставного порядка, а от чистого сердца, ибо житье на Дону стало веселее...

Приезжие в Новочеркасск заметили, что свита Хомутова заметно «помолодела», чиновники щеголяли значками об окончании университетов, среди офицеров немало грамотеев-генштабистов. Частенько наведываясь в Петербург по делам службы, Михаил Григорьевич свел знакомство со знаменитым скульптором Клодтом, и в 1853 году Новочеркасск праздновал открытие памятника атаману Матвею Платову, который занял пьедестал, окруженный трофейными пушками, отбитыми казаками у Наполеона. Легендарный атаман с саблей в руке стоял перед Атаманским дворцом, а перед ним расprostерлись кущи новочеркасского парка, и там струились прохладные фонтаны, звучала воинственная музыка...

Не повезло нам с памятниками, а точнее, с их «ценителями!» В 1923 году «борцы с буржуазным наследием проклятого прошлого», чересчур рьяно боровшиеся с традициями тихого Дона, свергли Платова с пьедестала. Теперь жители города хлопчут о его возрождении. Но... как? Как выгнать из Атаманского дворца горком партии, перед фасадом которого платовский пьедестал занят фигурой Ленина, вытянутой рукой зовущего в светлое будущее... Как?

Все эти годы Екатерина Михайловна процветала, сделавшись вроде «донской царицы», и постепенно из деликатной, вежливой и неглупой особы она превратилась в надменную самодурку, вконец испорченную низкопоклонством своих «придворных» холуев и прихлебательниц. В сладком чаду всеобщего поклонения она, кажется, считала уже вполне естественным, если кавалеры целовали не только ее руку, но и подлокотники кресла, которых руки ее касались. Атаманше представлялись городские новобрачные, в ее приемной толпились всякие «именинники», и, дай Хомутов волю жене, она бы, наверное, крестила всех младенцев города.

Вряд ли семья была счастлива. Сыновья росли беспутными шалопаями, служить не хотели, зато славились кутежами. Один из них, самый порядочный, был убит в перестрелке с чеченцами, а любимая дочь Хомутовых упала с качелей, разбилась и умерла. 1861 год и реформы нового царствования, многое изменившие в русской жизни, явно перепугали атамана. Хомутов все чаще стал поговаривать о том, что устал, нуждается в покое; в чине генерала от кавалерии Михаил Григорьевич был награжден орденом Андрея Первозванного, высшей наградой Российской империи, и отставлен от атаманской должности с назначением в члены Государственного совета, более похожего на приют стариков.

Хомутов выехал в Петербург и вскоре умер.

Мужа и всех своих детей надолго пережила атаманша Хомутова, которая в полнейшем одиночестве продлевала свой жалкий век — в сварливом и даже озлобленном убожестве, ненужная даже родственникам, надоевшая всем своими претензиями.

Я рассказал, что знал. «Дело будущего историка нашей страны отделить в их деятельности хорошее от дурного...»

Иногда же я думаю: не будь у нас пушкинистов и лермонтоведов, мы бы, наверное, так и жили, ничего не зная о Хомутовых, как не знаем многих-многих, достойных того, чтобы их не забывать.

Секрет русской стали

В ту пору, когда Альфред Крупп производил в Эссене ночные горшки, вилки да ножики, он еще старался не обедать дома, а напрашивался в гости. «Какая экономия!» — восклицал он по этому поводу. Россия имела пушки из чугуна и бронзы, а в 1851 году Николай I купил у Круппа стальную пушчонку, побаловался с нею на полигоне и сдал в арсенал на хранение.

Как раз в этом году умер Аносов, знаменитый металлург, возродивший тайну булатной стали. Последние годы жизни он, уже

генерал-майор, был томским губернатором. Зимой возок, в котором он ехал, опрокинулся, причем дверца открылась. Аносова придавили рухнувшие чемоданы, и, пролежав в сугробе много часов, пока не догадались ротозеи выслать из города подмогу, он сильно простудился, вскоре же и скончался.

Павлу Матвеевичу Обухову было в то время уже 30 лет; он вышел в офицеры из Горного корпуса и был достаточно извещен, что покойный Аносов на десять лет раньше Круппа отлил первую стальную пушку в России. Обухов и сам интересовался выделкою стали. Убойная сила ружей становилась год от года сильнее, а кирасы для кавалерии ковали по-прежнему из меди. Павел Матвеевич добился такого качества стальной кирасы, что, надев ее на себя, уверенно говорил приятелям:

— Стреляйте в упор! Любая пуля отскочит...

Настал 1854 год — открылась война в Крыму, и Обухова назначили начальником Оружейной фабрики в Златоусте. Под мундиром горного офицера скрывалась тонкая кираса — той стали, которая была лучше крупновской, о чем «Горный журнал» и оповестил читателей. Златоуст отливал ядра, мастерил ружья, ковал драгунские палаши, выстругивал кожу для ножен, варил пиво из меда, мял воск для свечей, город славился бесподобными кренделями и пряниками. Дичи в лесах было видимо-невидимо, но почему-то здесь предпочитали на закуску жареных воробьев!

Уютно и живописно пристроился Златоуст в изложине между гор, поросших лесом, великолепная запруда сдерживала воды обширного заводского пруда с мостками, где бабы внаклонку полоскали бельишко, купалась детвора, посиневшая от стужи. Жизнь была сытная, но тяжелая, беспросветная. Крепостное право держало рабочего в цехах так же прочно, как и мужика на барщине. Инженеры замыкались в своем узком кругу, проводя время в бестолковой праздности: картежничали, дурачились. Делать им было нечего! Бюджет завода был колоссальным, а сталь для вы-

делки оружия везли из Англии, отчего Златоуст и поставлял продукцию по очень высоким ценам. Павел Матвеевич догадывался, что в героической обороне Севастополя старая русская артиллерия исполнила торжественный реквием былой славе гладкоствольных бронзовых пушек — дело теперь за сталью...

Со стали и начал! Здесь не место вдаваться в сложные тайны металлургии — скажу просто: Обухов, человек старательный, заново освоил научное наследие Аносова, а собственный опыт обогатил в общении со старыми мастерами литейного дела. Магнитного железняка в Златоусте хватало, чугун был хорош сам по себе. В результате многих экспериментов из тиглей выплеснуло в изложницы сразу пять сортов превосходной стали.

Павел Матвеевич — щедрый — сказал мастерам:

— Братцы, три дня гуляй, потом снова за дело...

Из свежих поковок выдělывали ружейные стволы, и — где там карты? какой пикник? до танцев ли тут? — денно и ночью Обухов пропадал в цехах. Стволы обтачивались тогда вручную, он торопил мастеровых, благо из Петербурга уже выехала комиссия для испытаний, она везла с собой ружья крупновской стали — ради сравнения их со златоустовскими. После неудач в Крымской кампании армия России реформировалась, перевооружалась.

— Догонять надо, — говаривал Павел Матвеевич.

Приехала комиссия. Выбрались на полигон.

— Ручаетесь? — спросили Обухова.

— Стреляйте, — отвечал он...

В городе из окошек высывались древние бабки:

— Не пимши, не емши, а уже палят — и столь шибко!

Звуки стрельбы постоянно усиливались: в ружья комиссия закладывала уже два, потом три заряда... Трах, трах, трах! — и на восьми зарядах крупновские ружья разлетались в куски, а златоустовские выдержали четырнадцать зарядов. Рабочие-отстрельщики побросали ружья на мокрую от росы траву, и раскаленные стволы зашипели, как сало на сковородах, медленно остывая.

— Кажись, Круппа-то догнали, — говорили они...

Председатель комиссии зарядил ружья большой дозой пороха, а весь ствол напичкал пулями до конца дула, наложил пистон, протянул шнурок от «собачки».

Все бойко сиганули по кустам.

— Что вы делаете, господа? — возмутился Обухов.

— Вам же больше чести... дергай!

Дернули, и раздался взрыв: не в силах выбить все пули, газы разворотили казенник ружья, но сам ствол — обуховская сталь! — остался целехонек. Прослышав о такой небывалой прочности металла, Петербург рассудил за благо выдать Обухову привилегию на изобретение, дать ему заграничную командировку и плюс к жалованью еще 600 рублей ежегодно в награду. Сразу обнаружили завистники, стали трепаться, что Обухов лишь притворяется скромником, а на самом-то деле у него там, наверху, своя рука в министерстве. Павел Матвеевич успеху был рад и, конечно, от лишних денег не отказывался, но подобные намеки на «кумовство» глубоко и болезненно язвили душу.

— Перестаньте, господа, — сказал он в клубе Златоуста в кругу инженеров. — Я хочу одного: избавить свое отечество, и без того бедное, от монополии Круппа, который продает свои пушки с веса, как телятину на базаре, а с каждого пуда дерет пятьдесят два рублика... Вот и понимайте!

На границе заводского округа, пока на станции меняли ему лошадей, Павел Матвеевич зашел в горницу, просил подать щей и каши с гусиными шкварками. Подле него пристроились у нескончаемого штофа два проезжих бергмейстера, и Обухов невольно прислушался к их беседе, в которой произнесли его имя.

— Сам-то он при себе, в банке на огороде, гениуса содержит. Верные люди правду сказывали: он сталь изобрел, а Обухов секрет у него выманил. Теперь гений желает претензию объявить: мол, это я все сделал! Вот такие дела, брат...

От дверей крикнул станционный смотритель:

— Господину подполковнику Обухову лошади поданы!

Хорошо, что так быстро, не пришлось томиться.

— Ваше счастье, что поспеваю, — сказал Обухов сплетникам. — Иначе бы через полицию протокол составил... Я и есть тот непризнанный гениус...

За границей Обухов не задержался — тянуло обратно в Златоуст. Проездом через столицу он подал проект литья стальных пушек для флота и армии. Подлинный фурор при дворе произвело златоустовское ружье, которое Обухов велел, не разогревая, изогнуть в кольцо, как баранку («...но и после той разрушительной пробы, — гласил лабораторный анализ, — на стволе не было обнаружено и следа пороков»). Было ясно, что Обухову удалось повершить все достижения новейшей металлургии Европы, и Александр II одобрил его проект, ассигновав для фабрики в Златоусте 85 000 рублей — деньги тогда немалые; окрыленный успехом, Обухов вернулся в Златоуст, где его встретили инженеры и чиновралы с кислыми выражениями на лицах.

— Пузырь, — слышал он за своей спиной. — Да где ему с самим Крупном тягаться... Связался черт с младенцем, но добром, господа, не кончит: как и все пузыри, обязательно лопнет.

Благожелатели (а были у него и такие) оставили нам свидетельство, что Павел Матвеевич не спал ночами, не видел отдыха днями, и наконец, в начале 1860 года, у него все было готово. К первой отливке понаехало высокое начальство горного ведомства, в цехах пестрело шитье серебром на мундирах чиновников, блистало золото эполет и аксельбантов среди военных.

— А как идет плавка? — приставали к Обухову.

— К пяти утра сварится.

— А кто проследит за ней ночью?

— Я сам и прослежу, — отвечал Павел Матвеевич.

— Вы же валитесь с ног. Хоть на часок прилягте.

— Спасибо. Но я выдержу. Это моя ночь...

Таков он был! Еще до рассвета в цех стали качать из пруда воду — для обливания литейщиков: жар был нестерпим, сталь кипела, как белое молоко с розовой поджаренной пенкой.

— Давай звонок! — велел Обухов. — По местам всем... к отливке, братцы! Не обожгись... гляди в оба!

Ухватами вытаскивали из печей добела раскаленные тигли, в которых клокотала сталь; зажав их клещами, рабочие бегом несли их к формам и, опорожнив тигли, тут же размашисто отбрасывали в кучи сухого песка, чтобы они там остывали.

— На блоках, подай гнѣты! — командовал Обухов.

На блоках с высоты опустились тяжкие гнѣты, и они безжалостно придавили расплавленное месиво стали в болваночных формах. Начальство, стоя подальше от этого крошечного ада, вдруг начало бурно аплодировать Павлу Матвеевичу, словно певцу, закончившему бесподобную и сложную арию.

— Bravo, брависсимо... bravo, bravo!

Обухов свистнул, прося пожарных окатить его водою.

— Угощение на мой счет, — объявил он рабочим...

Когда торжество закончилось, горный инспектор в генеральском чине облобызал Обухова, спросив его дружески:

— А где тот инженеришко, которого, говорят, вы содержите в баньке за огородом? Не пригласить ли его сюда?..

«Словом, — писал очевидец, — в тысячный раз повторилась старая история, свивающая себе гнездо возле каждой талантливой личности, пробивающейся к славе чересчур смело, настойчиво и энергично...»

Обточив пушки и высверлив их на величину калибра крупновских орудий (дабы удобнее сравнивать), Обухов сам повел пробные испытания. Была весна, под полигон отвели заводской пруд, еще скованный льдом. Народ густой и цветастой массой облепил заснеженные склоны гор, радуясь забаве. Среди принаряженных златоустовцев шныряли разносчики, торгуя с лотков маковками и пряниками.

— Клади ядро! — велел Обухов. — Пли!

Клубясь в вихре снежной пыли, ядро закрутилось над прудом и чуть не задело собачку, спешившую по своим собачьим делам — она, бедняга, три раза кувыркнулась через голову и, прижав к животу хвост, побежала скорее домой. С другого берега донесло треск: ядро сокрушало деревья. Весь день Златоуст праздновал пальбу из пушки, которая исправно выбивала из жерла ядро за ядром. Потом орудия сложили в сани, повезли в Петербург. В августе Обухов тоже тронулся вслед за своими пушками.

Предстояло главное испытание! Стрелять начали в конце ноября, закладывая в пушки по три фунта пороха. Били, били, били — даже фейерверкеры устали. Обухов спросил их:

— И сколько желательно дать выстрелов?

— Велено пробовать до четырех тысяч...

Пушка дала уже две тысячи выстрелов, и царь указал закладывать в нее по четыре фунта пороха. Но она, голубушка ясная, не подвела создателя. Близился решающий момент, когда четырехтысячный выстрел подведет итоги трудам Обухова.

На полигон в этот день прибыл сам Александр II.

— Поздравляю тебя полковником, — сказал он. — Уверен ли ты, что твоя пушка выдержит?

— Да, ваше величество. Уверен.

— А чем докажешь?

— Верхом сяду на свою пушку, как на лошадь, и не слезу с нее до тех пор, пока не дождусь четырехтысячного выстрела.

— А не разорвет пушку, не боишься?

— Если разорвет, так со мною вместе...

Обуховская сталь выдержала беспрецедентное напряжение. С монополией Круппа в русской артиллерии было покончено. Пушка Обухова, давшая 4000 выстрелов, обошлась русской казне всего в 16 рублей 50 копеек, за что Обухову и стали отчислять 35 копеек с каждого пуда сортовой стали, и он, скромный офицер, неожиданно сделался богачом. Тогда же его избрали в члены-корреспонденты

ученого Артиллерийского Комитета, и, вызванный в военное министерство, Павел Матвеевич предостерег:

— Есть ли здравый смысл расширять пушечное производство в таком захолустье, каков Златоуст, ибо вывоз готовых пушек возможен только на лошадях до пристаней Бирска, а оттуда водою по реке Белой... Не станут ли дорожать наши пушки в дороге с каждой преодоленной верстой?

Но ему отпустили неограниченные кредиты для расширения производства, сославшись на мнение генерал-фельдцейхмейстера:

— А он дядя императора, благополучно царствующего, и желает иметь пушечный завод именно в Златоусте... От вас требуется давать ежегодно до пятисот пушек. Стальных, конечно!

Спорить в такой ситуации было бы неуместно.

— Но, — добавил Обухов, — надобно как можно скорее крепостной труд на заводах обратить в вольнонаемный, чтобы люди трудились не из-под палки, а разумно, себе на пользу...

Освобождение крепостных на заводах пришло с опозданием — лишь в марте 1862 года. В этом же году пушка из обуховской стали навестила Лондон, где на выставке промышленности ее создатель удостоился наградной медали. Казалось, все складывается хорошо для Обухова. 35 копеек с каждого пуда давали ему солидную прибыль. Павел Матвеевич зажил вольготно и широко, даже расточительно. Но уже испытывал беспокойство. Из каждой полусотни пушек одну-две брали на пробу, и вот неожиданно стал выявляться брак — то раковины, то трещины: обуховская сталь сделалась капризна, как испорченный ребенок. Год за годом с утра до ночи над городом шла пальба пробных выстрелов, которая уже никому не мешала: к канонаде привыкли, как привыкают к лаю сторожевых собак, к биению собственного сердца. Раскрепощение заводского труда давало теперь высокие заработки, жители Златоуста сказочно богатели, обогащался и сам Обухов, но, прислушиваясь к выстрелам по ночам, он мрач-

нел все больше. Нервничая из-за этих непонятных изъяднов в металле, он обрел бессонницу.

— А я чего-то еще не знаю, — говорил он себе.

В 1863 году возле Перми, на Каме, заложили новый пушечный гигант — Мотовилиха, — а Министерство финансов просило Обухова срочно выехать в столицу.

Оказывается, в пригородном селе Александровском, что лежало на Шлиссельбургском тракте, решили основать новый сталелитейный завод.

— В чем вы сомневаетесь? — убеждали Обухова в Петербурге. — Вам и карты в руки, а завод, основанный вами, сохранится в истории под вашим же именем — Обуховский, подобно тому как Путилов уже дал свое имя заводу Путиловскому...

Перспективы казались заманчивыми: страна нуждалась не только в пушках и в броне для кораблей, отличные свойства стали позволяли наладить производство осей и колес для вагонов железных дорог. Павел Матвеевич подумал и согласился:

— Хорошо. Пусть в России будет и Обуховский завод...

Он выписал из Златоуста мастеров-литейщиков — с их семьями, бабками и детишками, с гармошками и горшками гераней. Иные даже кошек не оставили, везли и кошек. Приезжие златоустовцы сохранились в памяти петербуржцев высокорослыми, обстоятельными, себе на уме, жары и стужи не боящимися — они то и положили на берегах Невы начало промышленному гиганту, вскоре ставшему лучшим в Европе. А сталь во всем мире уже текла — тигельная, бессемеровская, мартеновская. Этот клокочущий разъяренный поток сметал на своем пути все отживающее, но варили сталь... на глазок! Да, именно так и варили ее, доверяясь лишь опыту сталеваров. Павел Матвеевич имел свои рецепты, сомнений же в опыте златоустовских мастеров у него не возникало. Однако на самом разгоне успеха, когда он стал ворочать уже миллионами, на самом взлете его триумфа началась д р а м а — техническая (которую лучше всего назвать человеческой).

Сам царь при встрече с Обуховым сказал с гневом:

— Что за дрянь твоя сталь? Пушки-то рвет.

— Да, ваше величество. Сам знаю, что рвет.

— А хвастал, что верхом сядешь на пушку!

— Уверен был. А теперь не сяду...

Объяснить, почему так, он не мог. Бывало, целая партия пушек дает тысячу выстрелов, и сердце радуется. Но вот увеличили калибры. С первых же выстрелов пушки разносило вдребезги, осколками калечило фейерверкеров, многие погибли. Дело дошло до того, что на полигонах Охты выстрел производился гальваноспособом, а прислуга пушек пряталась в блиндажах.

Александр II во всем обвинял Обухова:

— Если дело и дальше так пойдет, не ступать ли нам снова на поклон к Круппу? В любом случае я буду прав, если укажу прекратить производство стальных пушек в России...

За границу послали авторитетную комиссию, чтобы она рассмотрела на иностранных заводах: как у них там обстоит дело? И комиссия отчиталась: в Европе, как и в России, один черт — то палат без страха, то пушки разрывает сразу же.

Послышались призывы — назад, к чугуну, к бронзе!

— Что случилось со сталью? — терзался Обухов...

Его душевные страдания были велики. Он знал много. Но не мог заглянуть внутрь стали: что там? Не только он, сам Обухов, но и легионы ученых мира спотыкались в потемках, теряясь в догадках, и г л а з сталевара оставался главным оптическим пи-рометром... Павел Матвеевич места себе не находил:

— Господи, отчего разрываются мои пушки?

Вполне сознательно он решил устраниваться от дел.

— Кажется, завод прикроют, — сказал однажды. — Кто виноват? Затраты колоссальные. В своих рабочих я не сомневаюсь. Им не верили. Пригласили англичан — те оказались хуже слепых котят. Никто ничего не понимает, а пушки летят к чертям. Иногда даже не пушки, а только болванки для пушек, едва их сунут под

молот, рассыпаются, как старый сухарь... Я отдал бы всю жизнь, лишь бы удалось заглянуть в н у т р ь стали!

В 1866 году началась война Пруссии с Австрией, и прислуга орудий в этой войне не столько опасалась противника, сколько своих же пушек: их разносило столь часто, что артиллеристов сравнивали с самоубийцами. Было ясно, что Крупп потерпел поражение — его сталь не выдержала испытания войной. В этом же году, учитывая немецкий печальный опыт, морское министерство России решило прекратить выпуск стальных пушек. Павел Матвеевич повидался с молодым ученым, которого звали Дмитрием Константиновичем Черновым.

— Вы меня знаете? — спросил он его.

— Немало наслышан. Доброго.

— Доброго уже не осталось. Аносова читали?

— Несомненно, Павел Матвеевич.

Обухов выгреб на стол осколки разорванных пушек.

— Прочность такая, что острыми краями можно резать стекло. А пушки рвет. Кто осветит мрак невежества моего? Я ухожу, вы еще молоды, у вас больше сил... Вот и старайтесь!

— Не стараться ли нам вместе? — отвечал Чернов. — Ведь если часть ваших пушек получается превосходными, значит, желательно поставить сталь в такие условия, при соблюдении которых все пушки станут отличными. Вы разве не заметили, что при остывании металла, начинающего уже темнеть, вдруг происходит нечто невероятное: сталь вдруг дает ослепительную вспышку.

— Заметил. Но... что с того? Сознайтесь, дорогой, — спросил Обухов молодого человека, — если бы не эта проклятая сталь, что бы вы пожелали делать в своей жизни?

— Я уже делаю... скрипки.

— Счастливый вы человек, юноша! А вот у меня, кроме стали, не осталось за душой никаких скрипок...

Д.К. Чернов (именно он) разрешил то, чего не могли разрешить другие. Но это уже рассказ другой — из другого времени.

Рассказ о том, как ремесло превращается в искусство!

В третьем томе «С.-Петербургского Некрополя» указано место погребения Павла Матвеевича Обухова: Никольское кладбище Александро-Невской лавры. Смерть настигла его в самый первый день 1869 года.

Могила была отмечена скромным титулом: «д. ст. сов., горный инженер».

Краткий некролог его памяти я обнаружил в «Русском архиве» за 1871 год, и меня удивило, что Павел Матвеевич, бросивший завод и свои дела, уехал помирать в Молдавию, в местечко Пиетро, которое я не мог отыскать на карте...

Творческая драма жизни Обухова известна была его близким, его ученикам, его продолжателям. О нем пишется в учебниках как о победителе, но умалчивают о его поражениях. Однако именно из итогов его поражения Д.К. Чернов сделал те выводы, которые принесли ему победу над секретами стали. Павел Матвеевич конечно же не мог предвидеть, что с вывески завода, им основанного, им выстраданного, его имя будет стерто...

Осталась только «Обуховская оборона» 1901 года. Но это другая история — история революции! А в 1921 году, когда интервенты уходили из нашей страны, в Ялту примчался английский крейсер. Дмитрий Константинович Чернов был уже тогда в генеральском чине.

— Вы генерал Чернов? — спросили его.

— Да, я генерал Чернов.

— Крейсер к вашим услугам! Англия и ее заводы ждут вас.

— Я генерал Чернов, но я русский генерал, — ответил Чернов.

Он остался в России, и секреты «обуховской» стали вместе с ним остались там, где им и должно быть: дома. Мы будем уважать бывшие трагедии прошлого...

Вольный казак Ашинов

«Апчхи, апчхи, Ашинов...» — таков был игривый рефрен шансонетки, которую когда-то распевали на бульварах Парижа.

О характере этого человека лучше всего судить по одному случаю. Юную девицу выдавали за старика, прятавшего лысину под париком. Невеста, вся в слезах, оглядела гостей и вдруг заметила рослого мужчину в казацком чекмене без погон.

— Хоть вы... спасите меня! — вырвалось у нее со стоном.

Казак снял парик с жениха и плюнул ему на лысину.

— Постыдись, старче, — прогудел он басом. — Тебе скоро на погост мчаться, а ты на невинность покушаешься...

После чего со словами «Эх, погуляем на свадьбе!» казак взялся за конец скатерти, поверх которой красовался праздничный ужин, и рванул ее на себя с такой силой, что все изобилие стола с грохотом и звоном поверглось на пол. Тут, конечно, заявился пристав для протокола «о произведении бесчинства».

— Ваше имя и положение? — спросил он виновника.

— Пиши... писатель! Ашинов я Николай, по батюшке Иваныч, а положение мое самое приятное — я есть вольный казак...

«Вольный казак Ашинов!» Кто его знает сейчас?

Пожалуй, все забыли. А между тем этот человек ссорил великие державы, дипломаты писали о нем ноты, из-за него гремели залпы крейсеров, через пекла африканских пустынь шагали целые армии. «Только пыль, пыль, пыль — от шагающих сапог...» Ашинов — дерзко и откровенно — проник в Африку, чтобы помочь ей в борьбе с колонизаторами. Сразу же предупреждаю, что Эфиопии тогда не было — страна, известная сейчас под этим именем, называлась в ту пору Абиссинией, и я, рассказывая вам о прошлом, вынужден употреблять это старинное название.

Вольный! А вольность заводила его далеко: побывал он в Персии и в горах Афганистана; по слухам, добредал и до Индии, наведывался даже в Аравию. На берегах Мраморного моря Аши-

нов отыскал потомков булавинских казаков, бежавших с Кубани и Дона, уговаривал их вернуться на родину. Какие причины хоро- водили его по белу свету — один сатана знает.

— А интересно ведь! — объяснял Ашинов.

Глеб Успенский в пору своих блужданий встретил Ашинова в турецкой столице, и Николай Иванович поведал писателю о своей сокровенной мечте — проникнуть в африканские дебри.

— Сейчас ведь как? — рассуждал он простецки. — Все туда лезут, всех обижают, а нам, вольным казарлюгам, сам Господь Бог велел — чтобы заступаться за обиженных...

Ашинов произвел на Глеба Успенского очень сильное впечатление, с его же слов он написал этюд, поведав читателям о «вольных казаках», для которых воля дороже всего. Это правда. Ашинов начальства не терпел: сам себе голова, а дело ему всегда находилось. Еще во время войны за освобождение Болгарии, когда вражеский флот курсировал возле Сухуми и Поты, турки тайком вооружали черкесов, чтобы с их помощью присоединить Кавказ к владениям своего султана. Ашинов быстро собрал ватагу бездомной вольницы, с которой и охранял побережье. Ни денег, ни орденов его казаки за храбрость не получили, да и не надо им ничего! После войны изменники-черкесы разом отхлынули за рубежи, а их земли остались запусте. Черноморская вольница избрала Ашинова в свои атаманы. «Мы сами порядки держим, — рассказывал он, — и на кругу расправа короткая: чуть что не так, шашкой хлестанул по затылку — и делу конец!» Ашинов имел опору в тех людях, что в давние времена назывались «сарынью» (гольтьбой), а позже одного из таких типов молодой Максим Горький вывел в большую литературу под именем Ч е л к а ш а...

Иван Сергеевич Аксаков, горячий патриот и писатель, вскоре после войны принял у себя в Москве атамана Ашинова:

— Как вы нашли меня? И кто вас прислал ко мне?

— Прислал инженер Валериан Панаев, потому как вы писатель и всякие там ходы-выходы знаете... Помогите вольным казакам осесть на землях черкесских. Ни кола ни двора у нас нету!

В 1883 году об Ашинове заговорили в газетах. Валериан Панаев писал, что обнаружил в атамане «необыкновенную удаль, ясный взгляд на вещи, безотчетное стремление искать борьбы с препятствиями, в чем, кажется, и заключается весь смысл жизни подобных людей...». Аксаков свел Ашинова с влиятельными людьми, правительство выдало казакам денежную ссуду.

— В кредитах потом отчитаетесь, — сказали атаману.

— Ладно уж... не пропьем, — посулил тот в ответ.

Возле Сухуми казакам нарезали земли под посевы. Не успели они оглядеться, как нагрянули чинодралы — драть налоги; вольница все начальство побила; прислали к ним и бухгалтера, чтобы счетоводство завести, казаки и бухгалтера прогнали.

— Шнуровые книги — смерть наша! — провозгласил Ашинов. — Дела надо не по указам вершить, а только по совести...

Как раз в это время русская армия всходила к орлиным высотам Кушки, и прозрачный воздух афганских гор был напряжен до предела в ожидании войны с Англией. Ну а коли где драка — там без казаков не обойтись! Ашинов снова появился в столице, поверх чекменя таскал какое-то драное-предраное пальтишко с облезлым бобровым воротником, строил грандиозные планы.

— Я только свистну, — обещал он военному министру, — и сразу четверть миллиона незаконных сбегутся. Армия пушай по печкам валяется — мы, вольные, сами с англичанкою справимся. Нам бы денегат самую малость да оружие с добрыми прицелами...

При этом разговоре в кабинете министра присутствовал какой-то красивый генерал в сером мундире. Он отрывисто спросил:

— Что это значит — свистнешь «незаконных»?

Ашинов растолковал, что атаманит над теми, кто паспортов не имеет, нигде не прописан, живут где придется, спят под лодками, гужбанят на пристанях, — вот они и есть «незаконные».

— А ты знаешь, кто я таков? — спросил генерал в сером.

— Не припомню, чтобы встречались.

— Еще бы ты помнил! Я — родной брат царя, великий князь Владимир... Вот я сейчас тоже свистну, и вбегут сюда мои «законные», которые тебя за нахальство в тюрьму запихают, и будешь оттуда в щелку поглядывать. Какое ты имеешь право хвастать, что управляешь четвертью миллиона людей, если власть надо всеми народами империи принадлежит моему брату?

На эти угрозы Ашинов отвечал иносказательно:

— Кто у нас свистит, а кто на Руси и посвистывает...

В гостинице его разыскал британский военный атташе:

— Будем откровенны. Родина относится к вам, как мачеха. Вы живете на птичьих правах... Хотите денег? Хотите оружия?

Выяснилось, что деньги можно получить в Константинополе, а оружие... оружие потом! Но атташе не проболтался в главном — ради чего он вербует казаков? Ашинов сразу навестил инженера Панаева, рассказал ему о визите атташе, Панаев оповестил об этом Аксакова, Аксаков информировал Хитрово (русского консула в Каире, проводившего отпуск в Петербурге); из лейб-казачьих казарм был зван ради совета умный полковник Дукмасов. Сообща решили: правительство в это дело не впутывать, а на уговоры атташе поддаться, дабы выявить коварные планы Англии!

Атаман дал Панаеву прочесть письмо от своего «круга»: голытьба писала ему, чтобы бросал Питер к чертям собачьим, ибо нашлась для них веселая работа — скакать до Абиссинии к негусу Иоанну, и там станем сокрушать врагов арапских. Панаев не слишком-то верил в эти залихватские казачьи фантазии:

— Сейчас, брат, ты с британским атташе поезжай в Турцию!

Ашинов поехал. Но в соседнем купе — под видом богомольца — его сопровождал полковник Дукмасов, который ни разу не выдал своего знакомства с атаманом; потом плыли морем до турецкой столицы. В Константинополе Дукмасов встречался с казаком тайком — чаще всего в кофейнях; однажды Ашинов сказал ему:

— Денег мне дали. Много. Еще по десять ихних фунтов на кажинное рыло сулят, но расплата уже в Кабуле; там и вооружат

для войны на Кавказе. А еще англичане засылают большой корабль с оружием на Кавказ и хотят через своих тайных агентов все там перевернуть, как при Шамиле было... Чуешь, полковник?

С этим известием Дукмасов нагрянул к русскому послу в Константинополе, доложил о готовящейся провокации англичан.

— Не верю, — отвечал посол. — Англичане джентльмены.

— Что надо, чтобы вы поверили? — спросил Дукмасов.

— Мешок с деньгами от Ашинова...

Ашинов ночью проник в посольство и предъявил послу деньги, полученные от британского посла — сэра Друммонда:

— Вот эти тридцать сребреников. Но мы же не иудины дети!

— Если так, — отозвался посол, — сдайте их в казну.

— А на какие шиши я до негуса Иоанна доберусь?..

На английские деньги, выданные для конфликта в Афганистане, атаман поехал в Африку, а Дукмасов отыскал на Афонском подворье вольных казаков (они были все при лошадях, оружие держали в чехлах). Узнав от полковника, что их атаман через Суэц плывет уже Красным морем, они проворно седлали коней.

— Тут недалеко, — говорили казаки. — Через Сирию, через Палестину... Язык-то на што ладен? Он до Аддис-Абебы доведет!

Не страшась дальних дорог через прожаренные солнцем пустыни, казаки попарно выезжали за Афонские ворота.

— Ребята, вам же по пути и море встретится.

— Это мы знаем... да и что нам море! — отвечали казаки.

Религия тогда играла в жизни народов немалую роль. Русские паломники толпами отплывали из Одессы в Иерусалим, и там, в гостиницах христианских монастырей, они зачастую жилали вместе с эфиопами. Отвергаемые европейцами как «нечистые», сыны древней Абиссинии находили приют среди русских людей. Таким образом в Абиссинии знали, что далеко на севере живет добрый народ — русские, а в глубине крестьянской России простонародье ведало, что за морями и горами библейскими живут «православные» арапы.

Абиссиния восприняла христианство раньше, нежели оно проникло в сознание европейцев. Страна имела очень богатую и, я бы сказал, чересчур «пышную» историю. Нет таких красочных эпитетов, которых бы ни прилагали к «Земле царицы Савской» — той самой, что пленила мудрого царя Соломона! Отстав в цивилизации от народов Европы, Абиссиния зато во многом обогнала другие африканские народы. Когда-то страна была столь могуча, что веками не имела врагов, и великий негус-негести (царь царей Давид II) велел воинам за неимением противников стегать под собою землю; эфиопы без жалости сжигали сразу по десять возов церковного ладана, и благовонный дым столбом возносился к небесам... Все это в прошлом. Но и теперь Абиссиния — единая в Африке страна! — сумела устоять перед натиском европейских колонизаторов. Двадцать миллионов населения. «Копилка» благословенных сокровищ земли, где есть все — от мускуса до золота. Какой лакомый кусок для захватчиков! Колонизаторы уже давно готовы наброситься...

Ашинов с казаками прибыл в Аддис-Абебу, когда негус Иоанн отбивал нападение соседних племен, которых натравливали на него итальянцы и англичане. Вольные казаки сразу включились в бои, их винтовки часто выстукивали меткие выстрелы. Здесь уместно сказать, что не было в Африке более смелых воинов, чем эфиопы. Реляции их полководцев о разгроме противника кончались, как правило, одной стереотипной фразой: «Кто убит — убит, кто бежал — бежал». Воины-победители бросали трофеи к ногам раса-маршала, они приводили пленных, показывали свои раны, похваляясь терпением к боли, на что всегда следовал традиционный ответ раса л и ч н о каждому воину:

— Экуан каных (значит: «Наконец, и тебе повезло»)!..

Негус относился к Ашинову, как к посланцу великой державы. Он просил заверить министров в Петербурге, что его народ будет счастлив дружить с русскими. Казаки так навсегда и остались жить в Абиссинии, а Николай Иванович собрался к отъезду. Иоанн вручил ему подарки для царя Александра III — льва в клетке и вы-

водок страусов; негус поручил заботам Ашинова и свою племянницу, еще девочку, чтобы она окончила русскую гимназию. С этим Ашинов и отплыл домой, а в Каире на пароход взошла пассажирка — Ольга Ханенко, лечившаяся на египетском курорте в Гелуане. Это была культурная девушка из богатой семьи, образованная, владевшая тремя языками. Казак со львом и страусами ютился в духоте трюмов, а барышня путешествовала в роскошном салоне. И вот бывает же такое — она страстно влюбилась в бродягу-казака, как Дездемона в Отелло, и, если бы Ашинов знал Шекспира, он бы мог применить к себе его слова:

Она меня за муки полюбила,
А я ее — за состраданье к ним.

Но, верный себе, Ашинов предупредил девушку:

— В жены беру! Но ты знай — чтобы никакого замешательства от тебя не было. Я казак вольный: что хочу, то и делаю. Есть я — ладно, а ежели куда отбыл — не взыщи...

В Одессе его поджидала телеграмма от Дукмасова, который предупреждал: стоит ему появиться в Петербурге, как будет он арестован, и в кандалах погонят по этапу в Сухуми — под суд!

— Что ты натворил в Сухуми? — спросила Ольга.

— Не дал, вишь ты, податей драть с народа. Да еще мне бухгалтер в очках попался, шибко грамотный — я его лопатой погладил... Чую, — решил Ашинов, — это не главная причина!

Он был прав. Арест грозил ему по причине своеволия, ибо Ашинов дерзнул делать то, что дозволено делать исключительно министру иностранных дел. По сути дела, казак самозванно установил дипломатические отношения России с африканской страной, которую вот-вот готовы колонизировать. Мало того, негус Иоанн принял его как официального представителя Петербурга, а пальба из казачьих винтовок близ самых границ Египта грозила России новыми осложнениями с британским кабинетом. Теперь же Николай Иванович везет подарки от «царя царей» к императору

Александру III, а тот не желает подарков, ибо обмен дарами между монархами влечет за собой и завязку дипломатических отношений. Да, хороший узелок завязал Ашинов в Африке...

— Вот что, Оленька, — сказал он жене, — ты езжай к папе и маме, обрадуй их, что вышла замуж за очень хорошего человека. Но предьявить его пока не можешь, ибо по нему давно тюрьма плачет. Прощай! Даст Бог, еще сповидаемся...

Прибыв в столицу всем обозом (со львом, страусами и племянницей негуса), Ашинов укрывался от полиции в казачьих казармах на Обводном канале. Здесь его разыскал М.Н. Катков, влиятельный реакционный журналист, вхожий к царю запросто. Правда, у Каткова были особые взгляды на развитие русской политики, отличные от взглядов царя, и потому он Ашинова ни в чем не обвинял — напротив, решил оказать ему свою протекцию.

— Что у тебя стряслось, Николай Иванович? — спросил он.

— Да ничего худого, одно хорошее. Негус — мужик с башкой, он сказывал, чтобы к нему побольше казаков ехало, он всех на эфиопках своих переженит, согласен дать казакам свободные области — Сингит и Богос, а место для открытия русского порта в Красном море мы уже приглядели, называется оно — Зума.

— Я тебе так скажу, — отвечал Катков, — или ты войдешь в историю как новый Ермак Тимофеевич, или повесят тебя! Если не наши дураки, так английские, но все равно... повесят!

Подобная перспектива Ашинова не испугала:

— Было бы за что висеть, а не только за шею! Ведь не ради себя хлопочу. Видит Бог, стараюсь изо всех сил, чтобы в мире справедливость была. Чтобы сильный не обижал слабого...

Катков надел высокий цилиндр, натянул перчатки:

— Сидеть тут смирно! А я по верхам пойду тебя выручать...

Лев вскоре умер, со слезами погребенный на берегу Обводного канала. Жалея страусов, Ашинов ночным поездом отвез их в Гатчину и подкинул в царские птичники. А племянница негуса с жизнью в казарме вполне освоилась; спасибо и казакам — каждый

угощает «арапочку»: кто конфеткой, кто маковкой, а кто бубликом с изюмом. Снова явился безупречный джентльмен Катков:

— Разлаялся с министром юстиции. Но все уладил. Считай, наш государь подарки от негуса принял, а что за этим последует — не знаю. Девочку будут учить на казенном коште. Но Гирс, министр иностранных дел, готов утопить тебя в чернильнице!

Это правда, что Гирс не терпел Ашинова, доставившего ему, как министру, лишние хлопоты, но к тому времени атаман уже достаточно владел языком эфиопов, и, случись переговоры, без него не обойтись. Вскоре Ашинов явился к военному министру, вывалив перед ним 10 000 рублей. Вольные казаки (на то они и вольные!), не желая быть зависимыми от правительства, возвращали ссуду, выданную на устройство станиц под Сухуми.

— Что ты мне тут целый мешок рублей вывернул! — возмутился министр. — Я ведь пока еще не казначей, черт побери.

— А я тоже не казначей. Один раз с вашим братом-министром связался, а больше не стану. Найду себе других приятелей...

После этого Ашинов пропал, и о нем стали забывать. Вскоре в жестокой битве пал негус Иоанн — престол в Аддис-Абебе занял негус Менелик, отважный воин и деловой политик, которому Абиссиния многим обязана в своей бурной истории.

Скромный полустанок Харьковской железной дороги.

Возле перрона застряла на переезде коляска в две лошади. Нарядная барышня держала вожжи в руках, обтянутых серебристыми перчатками. Возле нее сидел солидный господин в чесучовом костюме. Барышня сказала ему, показывая на Ашинова:

— Папа, а вот и муж мой приехал... Коля, иди сюда!

Ханенко приподнял над головою соломенное канотье:

— Вы, сударь, доказали, что ваша любовь к моей дочери была бескорытна. С вашей стороны — это подвиг не являться за приданым, которое, кстати сказать, совсем немалое.

— Спасибо, что напомнили, — отвечал Ашинов, забираясь в коляску. — Деньги позарез нужны. Без них как воевать?..

Ольга, счастливая, с хохотом правила лошадьми:

— Атаман, может, уже и хватит тебе воевать?..

Ашинов сказал, что сейчас, если верить газетам, французская армия поставлена на перевооружение, в Париже старые ружья дешевле пареной репы. Казак получал за Ольгой приданое (в переводе на французские деньги — 100 000 франков).

— Ну, милый, как ты их будешь тратить? — спросила жена.

— На ружья! Давай-ка, собирайся.

— А куда, Коля?

— Там узнаешь...

Валериан Панаев получил от него телеграмму: «Поздравь — живу хорошо. Получил в приданое 20 000 ружей системы Шассепо. Вместе с женою едем в Аддис-Абебу». Газеты снова запестрели именем атамана, и тут случилось такое, чего никак не ожидал Гирс! Русское общество — будто назло Гирсу — дружно поддерживало Абиссинию в ее борьбе за свободу. Ашинов бросил клич к народу, и «подписка дала более 40 000 капитала, — писал Панаев. — Добровольцев собралось около 200 человек, вместе с казаками. Большею частью были всякие мастеровые, каменщики и плотники. Люди собрались в Одессе, взяли доски, строительный материал для построек — и Ашинов отправился...».

Не хотелось бы мне, подражая царю, именовать Ашинова «большим нахалом», не желал бы я, повторяя Победоносцева, называть его и «авантюристом». Вольного казака я неожиданно встретил в воспоминаниях Михаила Чехова, младшего брата писателя. Оказывается, на призыв атамана откликнулась не только «шмоль-голь перекатная», в него поверили многие интеллигенты, врачи из окружения А.П. Чехова. Но в Европе экспедиция Ашинова породила массу невероятных слухов. От того времени сохранилась и резолюция Александра III: «Я все-таки думаю, что этот пройдоха Ашинов всех надует... Французы, мы это знаем, не желают пустить их в Обок» (Обок был их колонией).

Высадившись на берегу Красного моря, русские добровольцы заняли развалины старинного форта Сагалло и почти сразу приняли бой. Кто нападал — было неясно, но противник стрелял из английских винтовок. Рядом с Ашиновым вела огонь его молодая жена. Николай Иванович сбоку наблюдал — не струсит ли? Нет, Ольга вела себя геройски, целилась уверенно.

Но вдруг застонала и откатилась в сторону.

— Не могу больше терпеть... прости меня!

— Эй, казарлюги! — гаркнул Ашинов, вскочив в рост под пулями. — Не смотреть в эту сторону: моя жена рожать станет...

Сагалло находился в Тэджурском заливе, по соседству с портом Джибутти, — отсюда, по мнению атамана, России будет удобнее всего протягивать руку помощи к Аддис-Абебе. Ашинов был наивен в политике и, кажется, игнорировал то положение, что все эти места колонизированы Францией, а он даже Обок переименовал в «Новую Москву». При этом говорил:

— Не беда, ежели малость и потесним французов...

Рано утром напротив их лагеря встала на якоря французская эскадра, и с крейсера «Сюркуф» потребовали спустить над лагерем русский флаг. Ашинов счел это за оскорбление России и флага не снимал. В палатке Ольга кормила грудью новорожденного младенца, жены плотников, посматривая на французские корабли, невозмутимо лузгали подсолнухи, купленные еще на рынке Одессы. Первая бомба, посланная «Сюркуфом», разрыла песок, ошпарив людей гроздьями раскаленных осколков. Ашинов своим телом закрыл Ольгу с ребенком. «При бомбардировке было убито пять человек, в том числе три женщины, одна из них беременная на последнем исходе». После обстрела добровольцы были атакованы десантом морской пехоты. Французы разбили сундуки, разграбили вещи мастеровых. Все русские были арестованы...

Александр III вызвал к себе министра Гирса:

— Свинство! Кто выдал Ашинову заграничный паспорт?

— Не мы! Нижегородский генерал-губернатор Баранов.

— А откуда у него оружие, чтобы воевать?

— Об этом спросите у морского министра Шестакова.

— Безобразие! Мои ближние сановники подпали под влияние проходимца. Сразу, как только Ашинов появится на границе, советую взять его за цугундер и отправить в Якутск...

Но от гнева царского Ашинов с женою укрывался в Париже. Бомбардировка русского лагеря возмутила французов — особенно «реваншаров», ратовавших за дружбу с Россией, дабы совместно противостоять угрозам Бисмарка и кайзера. Теперь, где бы ни появился Ашинов, в его честь устраивались бурные овации. Писательница Жюльетта Адан, близкая к социалистам, взяла атамана под свое покровительство. «Лига Патриотов» Франции, выступавшая за боевой альянс с Россией, была распущена после демонстрации в защиту Ашинова. Франция оказалась на грани министерского кризиса. Кабинету грозила отставка. Бульварные певицы, отчаянно канканируя, распевали весьма значительно: «Апчхи, апчхи, Ашинов...» Всему есть предел, а Ашинова быстро спровадили на родину, где его хотели хватать за «цугундер». Возмутитель европейского спокойствия затаился в имени жены. Ольгу вызвали в жандармское управление Харьковской губернии:

— Госпожа Ашинова, по указу его величества ваш муж подвергается строгому надзору полиции сроком на ДЕСЯТЬ лет. Просим вас, как жену и мать, приложить все старания, дабы привязать своего неугомонного супруга к семейному очагу...

Ольга подарила Ашинову пятерых детей, и этим она привязала вольного казака к своей юбке. Ашинов пахал землю и перестал читать газеты. Только иногда выходил на крыльцо, подолгу глядел вдаль. Там, за бахчами с арбузами, за грядками с огурцами, за морем Черным и морем Красным, за садами царицы Савской, лежала та земля, где оставил он свое сердце...

Русская пресса иногда еще вспоминала Ашинова, но с оттенком явного пренебрежения. Просматривая журнал «Шут» за те годы, я встретил такую заметку: «Слишком много разговоров о замести-

теле папы римского Льва XIII. Нами получено письмо от казака Ашинова, в котором он заявляет, что с удовольствием стал бы папою, если бы его избрали. Письмо препровождено нами директору дома сумасшедших...» Но это уже из области юмора!

Ашинов лишь проложил тропинку до Аддис-Абебы, а пошли по ней другие... Менелик обещал быть вождем сильной африканской державы. Англия понукала Италию на войну с ним; близ эфиопских границ (на месте будущей Эритреи) итальянцы расположили свой плацдарм для нападения. Франция с Россией, наоборот, поддерживали Менелика; в порту Джибутти разгружались корабли с оружием для босоногих воинов-эфиопов. Вскоре итальянцы начали военное вторжение в Абиссинию. Менелик, обладавший крепкими нервами, послал к ним своего гонца со словами:

— Ваш дом далеко, а мой всегда рядом. Подумайте об этом!

В битве при Адуа эфиопы не просто уничтожили, а перемешали с песком и пылью итальянскую армию, снабженную новейшей военной техникой. Европа, потрясенная, ахнула: явился мститель за всю поработанную Африку! Негус-негести, стоя на высоком холме, принял рапорт от своих расов-маршалов: «Кто убит — убит, кто бежал — бежал». Горячий ветер пустыни парусом раздул белый бурнус Менелика, расшитый золотом. Он ударил мечом о щит:

— Если на равнинах нашей страны уместятся десять Италий, то Риму не следует иметь глаза шире своего желудка...

Чтобы оказать помощь раненым в битве при Адуа эфиопским воинам, Россия срочно переправила в Абиссинию отряд русских врачей с транспортом лекарств и хирургических инструментов. Это случилось в 1896 году. А через год Менелик обратился к Петербургу с просьбой открыть в Аддис-Абебе постоянный русский госпиталь, который существует и поныне; лучшая улица в столице Эфиопии сейчас так и называется — Улица Русских Врачей.

Менелик принял в своей резиденции русское посольство.

— Вы, — сказал он послу Власову, — проявили к нам такую сердечную любовь, которую эфиопы никогда не забудут...

Гусарский офицер А.К. Булатович, служивший в армии Менедика военным советником, писал в эти дни: «Как бы мы ни относились к Абиссинии, но за нею нельзя не признать громадной силы могущественной державы, которая в любой момент может свободно выставить в поле двухсоттысячную армию...»

Италия не забыла позора при Адуа, и в 1935 году Бенито Муссолини бросил на Эфиопию свои фашистские легионы, его самолеты поливали жителей страны ипритом. На заседании Лиги Наций с блестящей речью в защиту своего народа выступил абиссинский министр иностранных дел Тэклэ Каварьят. Советский представитель М.М. Литвинов пожал ему руку.

— Можете называть меня... Петром Сергеевичем, — сказал Каварьят. — Я ведь получил воспитание в России, которую считаю своей второй родиной. Россия — наш давний друг!

— Вы учились в Москве или в Петербурге?

— Нет, я окончил Киевский кадетский корпус. Честь имею: Петр Сергеевич Каварьят — офицер великой российской армии...

На родине он образовал партизанское движение, лично сбил три итальянских самолета. Муссолини давал за голову Каварьята миллион лир... Уже глубоким старцем он повидался с нашими корреспондентами, навестившими его в глухой деревушке.

— Я лишь подражал вашим партизанам, — сказал Каварьят. — Подвиги русских людей в двух Отечественных войнах стали для всех нас хорошим примером. Россия всегда была от нас очень далеко. Но Россия всегда была для нас очень близкой.

Я не знаю конца жизни вольного казака Ашинова!

Пень генерала Драгомирова

Знаменитый русский математик Остроградский утверждал: «Правила в математике существуют только для бездарностей». Знаменитый полководец, принц Мориц Саксонский говорил: «Все науки имеют правила, лишь одна война не имеет правил».

Может быть, в военном деле, как и в искусстве, правила только мешают?

А самые строгие критики нашей армии, немецкие генералы, открыто признавали: «Русский офицер никому не уступит в личной храбрости». Верно, что презрение к смерти у наших офицеров выразалось даже бравадой: с папиросой в зубах, помахивая тросточкой, они фланировали под ливнями косящих траву пулеметов. Офицерский корпус России всегда нес непомерные потери, ибо русский офицер считал делом чести идти впереди солдат, принимая на себя первую пулю. Наверное, это было опять-таки неправильно, но, очевидно, так было нужно.

А когда речь заходит о храбрости русского воина, я сразу вспоминаю генерала Драгомирова, и чем больше развивается военная наука о боевой психологии солдата, тем чаще наши историки возвращаются к этому имени... Генерал от инфантерии, начальник Академии Генштаба, почетный член университетов Москвы и Киева, военных академий Франции и Швеции, автор лучшего учебника русской полевой тактики — этот человек неотделим от нашей славной военной истории! Я уже писал о Драгомирове, когда он, еще молодым офицером, состоял военным агентом при штабе сардинского короля...

Михаил Иванович Драгомиров — грузный телом, тонкий разумом, независимый гордец, тяжело ранен на Шипке в колено пулей навывлет. Заслуга его — во внимании к солдату, он желал «обращать армию в школу грамотности». Драгомиров воспитывал в солдате волевое превосходство над мощью противника, делая ставку на высокий воинский дух. Киевский военный округ, которым он долго командовал, был кузницей передовых военных идей. Попасть офицеру в Киев — значило пройти «драгомировскую академию»: там выковывались кадры генштабистов.

Михаил Иванович оставил после себя множество книг. «В мирное время, — настаивал он, — солдата надобно учить только тому, что предстоит ему делать во время войны».

— Все остальное уже лишнее, — доказывал он, — и все лишнее будет только мешать солдату на поле боя. А что бесполезно на войне, то вредно вводить в практику обучения...

Основной тезис Драгомирова отвечает и нашему времени: «Главным фактором в боевом деле всегда был и останется ЧЕЛОВЕК, а технические усовершенствования только усиливают природные свойства человека...» Драгомировская армия — армия особого склада: «На походе можно идти не в ногу, можно курить и разговаривать, ружье нести как тебе удобнее». Офицеры получали от Драгомирова жестокий выговор, если хоть один солдат натрет ноги в сапогах, — почему не разрешили идти босиком?

«Побольше сердца, господа! — восклицал Драгомиров в приказах. — В бою на одной казенщине далеко не ускачете. А кто не бережет солдата, тот не достоин чести им командовать...»

Враг муштры и рукоприкладства, он хотел видеть солдата выносливым, бесстрашным, самостоятельным. Отсюда и упор на физические и нравственные качества рядового. В своих «волевых установках» Драгомиров иногда доходил до крайности, не в меру превознося роль удара штыком! Он утверждал, что пуля — только помощница штыка, который, по его мнению, решает исход битвы, пуля лишь прокладывает дорогу штыку. Но эта ошибочная теория поколебалась в англо-бурской кампании. Ее окончательно разбил опыт войны русско-японской. В своем увлечении боевыми качествами солдата Драгомиров иногда заблуждался. Не признавал будущего за пулеметами. Отрицал нужду в бронещитах на пушках. Терпеть не мог саперных работ. Не желал видеть солдата ползущего или окопавшегося. С ненавистью писал об «адептах поголовных ползании на брюхе», распростирааний, коленопреклонении и приседаний — он признавал солдата лишь в полный рост!

И прожил свою жизнь, как солдат, не кланяясь и не приседая, самого черта не боясь на свете. Власть военного министра Банковского почти не признавал, а генералов, присылаемых в Киев,

игнорировал. Однажды приехал командовать корпусом бравый генерал Косич, и Драгомиров встретил его грубостью:

— А я вас разве к себе приглашал?

Косич за словом в карман не лез:

— А я разве к вам напрашивался?

— Вас прислал из Петербурга сам министр?

— Я не министру служу — отечеству...

— Тогда будем друзьями, — обнял его Драгомиров.

Для ревизии Киевского округа из столицы прикатил гвардейский генерал; Драгомиров не принял его у себя, велел адъютантам раз и навсегда отказывать «фазану» в визитах:

— Говорите, что командующий в отъезде...

Наконец «фазан» (как называли шаркунов из столицы) не выдержал и в приемной стал доказывать, что Драгомиров у себя в кабинете, он видел даже свет в его окнах, и, если не желает к нему выйти, он напишет ему записку. С этими словами присел к столу, но не обнаружил возле чернильницы ручки.

— Перышко сломалось, — с усмешкой произнес адъютант.

— Тогда дайте мне карандаш.

— И карандаш затерялся...

Взбешенный, генерал стал громко бранить адъютанта, но тут приоткрылась дверь кабинета, в щель выставилась рука Драгомирова, держащая перо, уже смоченное чернилами:

— Адъютант! Воткни его «фазану» прямо под хвост...

Заступник рядового солдата, он понимал и офицерские нужды. Жена Драгомирова — добрая украинская хозяйка, издала, кстати, прекрасную поваренную книгу, соперничавшую до революции с печально знаменитой книгой Молоховец. Зная, как нелегко живет молодой офицер на скромное жалованье, Софья Авраамовна Драгомирова из своего поместья вывозила живность и зелень обозами, ежедневно накрывала громадный стол для поручиков и штабс-капитанов. Однажды в гарнизоне Харькова был издан нелепый приказ: «Офицерам посещать лишь первоклассные рестораны

и ездить только на парных извозчиках». А на 55 рублей, получаемых младшими офицерами, едва поддерживался внешний кворум приличной жизни... Драгомиров появился в Харькове, вечером его ждали в офицерском собрании, командующий сразу направился к начальнику гарнизона.

— Нет ли пятиалтынного? — спросил он. — Извозчик остался внизу, ждет, когда расплачусь, а кошелек в Киеве забыл.

— Но извозчик в один конец стоит гривенник.

— Ах! — отвечал Драгомиров. — Да ведь при моих средствах не станешь раскатывать на парных фазтонах. Вот и пришлось взять обычного «ваньку» в одну конягу...

Глупый приказ был, конечно, сразу же отменен!

Михаил Иванович не боялся вступать в острые конфликты и с императором. Когда в Киеве начались волнения революционной молодежи, царь велел направить против студентов войска. Драгомиров ответил: «Армия не обучена штурмовать университеты». Тогда царь приказал! Михаил Иванович приказ исполнил и, окружив университет пушками, продиктовал царю телеграмму: «Ваше величество, артиллерия в готовности, войска на боевых позициях, противники Отечества не обнаружены...»

Но когда я думаю о Драгомирове, он почему-то предстает передо мною в последние годы жизни. Я вижу его в степной глуши на хуторе близ Конотопа, где из высокой травы стрекочут цикады. Однажды тут раздались два выстрела — и выросли две могилы на хуторе. Сыновья Драгомирова покончили с собой, не в силах выносить отцовской деспотии. Всем известны портреты обаятельной дочери генерала Софьи (по мужу Лукомской): ее писали акварелью Серов и Репин. Особенно значителен серовский портрет. Видный французский психиатр, как только глянул на него, сразу предсказал — лишь по глазам Софьи Михайловны! — точное развитие душевной болезни этой красивой женщины, на которой отразился суровый гнет отцовской натуры... Так иногда бывает: был защитником чужих людей, а семью затиранил!

Драгомирова в нашей стране знают все, кто хоть единожды видел картину Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Он стоит в центре группы, с папахой на голове, в зубах его трубка, а улыбка — каверзно-хитрущая; кажется, что с его губ сейчас сорвется соленое словцо, разящее наповал...

В 1903 году Михаил Иванович вышел в отставку... и тут споткнулся о п е н ь! Пень этот и по сю пору не выкорчеван.

Достигнув высоких чинов по службе, Драгомиров даже гербом не обзавелся, хотя и был дворянином старого рода.

«Человек не гербами украшается», — говорил он...

Местного дворянства генерал явно сторонился. Да и ехать в Конотоп — лошадей жалко гонять. Что там? Жара. Истомленные зноем левады. Мостки над канавками, в которых плещутся жирные гуси. И улицы в шелухе семечек, истребляемых обывателями в количествах невероятных. Каждый кавалер уездного значения, идя на гулянье, несет в карманах семечек фунтов по пять (аж на нем штаны раздуваются) и щедро угощает барышень целыми горстями. А разговоры такие: у кого семечки вкуснее? Уездная почта пересылала на хутор Драгомирову обширную корреспонденцию. Старый извозчик Ефрем Брачий рассказывал до революции писателю Сергею Минцлову, как однажды рано утречком приехал на хутор с телеграммой. Драгомиров был уже на ногах и лютейше, будто кровного врага своего, он корчевал — п е н ь!

— Вижу, пень здоровущий. Возле него генерал похаживает. Подал я телеграмму. Прочел он и говорит: «Ты привез, такой-сякой-размазанный?» Сознаюсь. Генерал два рубля дал. Из порток вынул и дал. А сам взялся за пень. Аж покраснел от натуги. Сам рычит, будто зверь какой. Трудится, значит... Потом сел на траву... Такое уж, видать, у него положение. Не мог иначе. Каждое утро таким вот манером. Отставка! Когда ж еще и жить человеку?..

Изо всего дворянства Драгомиров сдружился с одним лишь пьющим почтмейстером Федченко. Даже страшно подумать, на что

тратились силы. Казалось бы, уже старик — на восьмой десяток поехал: остановись! Нет. Пень, водка и шампанское — вот конец славной жизни... А кабинет Драгомирова — это библиотека: книги разноязычны, каждый томик в идеальном порядке. Дисциплина и в расстановке мебели. На стенах портреты — Суворов, Наполеон и Жанна д'Арк, о которой Драгомиров создал когда-то научную монографию. От усадьбы ведет дубовая аллея, в конце ее — кладбище! Сюда по вечерам, в кальсонах и шлепанцах, с бутылкой и рюмкой, являлся он... великий стратег! Лежали под ним им же попранные сыновья-самоубийцы. Понимал ли он (солдата понимавший!) всю трагедию их жизни? Вряд ли. Даже камнем могилы их не отметил, а сровнял землю лопатой, будто грядку под засев огурцами...

На рассвете — лом, графин, рюмка — и за пень!

Отчего такая бессмысленная борьба с пнем?

Мне кажется, этот пень заменял ему сейчас все в жизни. Не будь этого пня на хуторе, и жизнь Драгомирова вообще потеряла бы всякий смысл. А рядом с ним тихо догорала как свечка жена, имевшая несчастье быть его близкой. Софья Авраамовна была культурной женщиной, а он, ее муж, даже не знал (или, точнее, не желал знать), что у нее тоже свой мир, свои настроения. А ведь она ценила его. Тайком ведя дневник, заносила в него оригинальные мысли мужа, оброненные им случайно. Для истории или просто так, от скуки, от жары, от одиночества!

Время от времени, по званию генерал-адъютанта, Драгомиров отъезжал в Петербург — на дежурство при дворе. Там, в окружении царя, он давно уже сделался притчею во языцех. Трудно человеку, даже волевому и умному, противостоять царственным особам... Зато Драгомиров делал это отлично!

Как-то император Николай II решил над ним подшутить:

— Михаила Иваныч, отчего нос у вас подозрительно красный?

И гордо отвечал ему Драгомиров при всей свите:

— А это потому, ваше величество, что на старости лет мне ото всяких глупых щенков приходится получать щелчки по носу...

Остроты его были убивающими. После маневров собрались штабные. Были здесь и великие князья. Один из них говорит:

— Позвольте и мне высказать свое мнение?

— Валяйте, ваше высочество, — разрешил Драгомиров. — Один ум хорошо, а полтора ума — еще лучше...

Драгомиров невзлюбил Льва Толстого за его утверждение, что война противна человеческой природе. Генерал считал, что «война есть дело, противное не всей человеческой природе, а только одной ее стороне — инстинкту самосохранения». И случилось же так, что Михаил Иванович выбрался в Петербург на очередное дежурство как раз за два дня до русско-японской войны. Народная молва ошибочно сочла, будто царь начал войну лишь по авторитетному настоянию Драгомирова. Но именно война с Японией казалась Драгомирову «по-толстовски» противной человеческой природе и разуму. Михаил Иванович понимал, в какую безрассудную авантюру бросается русский солдат, и он восставал против войны изо всех сил... За ужином в Зимнем дворце кто-то из придворных спросил генерала, чем закончится война на Дальнем Востоке, и Драгомиров тут же дал точный ответ — с присущей ему грубостью и лапидарностью:

— А вот чем закончится... — Он приподнялся, произведя одно резкое звучание, после чего основательно перекрестил под собою стул. — Вы, господа, меня спросили — я вам ответил!

Николай II хотел сделать Драгомирова главнокомандующим в войне с Японией, но понял: бесполезно. Михаил Иванович выехал с дежурства на родину совсем больным. На вокзале в Конотопе его встречал приятель Федченко. В зале ожидания Драгомиров прилег на лавку и долго не мог отдышаться. Федченко спросил: правда ли, будто война с японцами началась по его совету? Драгомиров вскочил с лавки. Невзирая на присутствие множества публики, ждавшей посадки на поезд, генерал стал крыть на все корки Петербург, царя и дураков-министров. Городовые и жандармы стояли тут же, делая почтительно под козырек. Уж если сам Драгомиров говорит такое,

ну, быть беде для России!.. По дороге на свой хутор он навестил убогую мазанку Федченко. Под дубом (в тени которого, если верить преданию, Тарас Шевченко варил кашу с Горкушей) генерал открыл бутылку с французским шампанским. Приятелю он сказал:

— Помру... Эта война меня сразу подкосила!

Михаил Иванович умер в разгар революции 1905 года. Вся семья генерала, кроме жены его, находилась тогда в Киеве. Поезда не ходили. Софья Авраамовна направилась в забастовочный комитет, чтобы выпросить для себя паровоз и вагоны.

— Мы вашего супруга знаем, — отвечали рабочие депо. — От него обид не было. Но... дайте расписку, мадам, что с этим паровозом вы не привезете войска для подавления революции!

Софья Авраамовна такую расписку дала. Похороны военного мыслителя состоялись под конвоем городских. Ни одного солдата не шло в траурном карауле за гробом. В этом посмертном унижении есть что-то нехорошее... А пень, над которым Драгомиров трудился целых два года, так и остался догнивать в земле!

На меня как на литератора всегда производят сильное впечатление призывы Драгомирова к воинам... Вот чему он учил:

«Всегда бей — никогда не отбивайся».

«Только тот бьет, кто до смерти бьет».

«Не жди смены — ее не будет: поддержка будет».

«С убитых и раненых патроны для себя забирай».

«Не думай, что сразу дается победа: враг тоже стоек!»

«Молодец тот, кто первый крикнет у р а».

«Обывателя не обижай — он тебя поит и кормит».

«А солдат — это еще не разбойник...»

В.И. Ленин высоко оценивал некоторые «волевые установки» Драгомирова. В 1918 году при выпуске Книжки красноармейца (обязательной для всей Красной Армии) Владимир Ильич сознательно включил в эту памятку бойца девизы-изречения Суворова и Драгомирова. Статьи Драгомирова переиздаются и в наше время.

Некоторые идеи его о воспитании войск актуальны до сих пор, и часть их, самая положительная, принята и на вооружение нашей армии. Человек он был, конечно, выпукло мыслящий, крупный, широкий, характерный, с раблезианским ядом на устах и очень большим внутренним достоинством. Но он — как тот пень, который безуспешно корчевал, — об него можно и споткнуться.

Закончу здесь словами самого Драгомирова:

«...Пишущая братия редко берется за определения: б о и т с я н а в р а т ь! Но нужно же начать когда-нибудь и кому-нибудь. Если навру, авось другие меня поправят, а дело выиграет...»

Решительные с «Решительного»

«Решительный» — кровный брат «Стерегущего», которому в Петербурге был поставлен замечательный памятник. «Решительный» такого монумента не заслужил, подвиг его затерялся среди давних, но громких событий, хотя историкам дипломатии, очевидно, знаком протест России «по поводу вопиющего нарушения японцами как нейтралитета Китая, так и общепризнанных начал международного права нападением на разоруженный контрминоносец «Решительный»... одновременно российскому посланнику в Пекине предписано предъявить категорический протест китайскому правительству» — так гласит нота, датированная в Петербурге 30 июля 1904 года.

Документ есть. Дата есть. А где же обстановка?..

— Обстановка сейчас такова, — рассуждали офицеры на броненосцах, — что, будь жив адмирал Макаров, он бы уже завтра вывел нашу эскадру в море для прорыва во Владивосток.

— Но без эскадры, — возражали другие, — Порт-Артур не продержится долго, а флот, покинувший крепость и гарнизон, будет справедливо обвинен в непростительной трусости...

Порт-Артур вечерами замирал, жители одеялами маскировали свет в окнах. Редко проедет ломовой извозчик или пробежит запо-

здалый рикша с коляской. Иногда возникали сильнейшие грозы, от которых на фортах разрывались фугасы. Эскадра уже настолько втянулась в войну, что, бывало, при стрельбе с правого борта орудийная прислуга левых бортов, крайне усталая, засыпала с храпением. Убитых хоронили с мощным хоровым пением, оркестры Квантунского экипажа выдували в пасмурное небо траурные мотивы Шопена, на грудь матросам возлагались бескозырки, в гробы офицеров складывали их флотские сабли и треуголки с кокардами.

Командиром «Решительного» был молодой лейтенант Михаил Сергеевич Рошаковский — при сабле сегодня, при треуголке.

— К чему этот парад? — спросил его мичман Петров.

— Меня вызывает контр-адмирал Григорович...

Он принял Рошаковского на флагманском «Цесаревиче»; прогретый за день солнцем и омытый теплыми дождями, броненосец медленно остывал в вечерней свежести, чуть покачиваясь. Григорович сказал, что из Петербурга получен настоящий приказ: эскадре выйти в море для прорыва во Владивосток.

— А вашему «Решительному», — распорядился адмирал, — надобно проскочить через блокаду в китайский порт Чифу, дабы предупредить консула о выходе эскадры в море. Консул в свою очередь известил об этом же нашего посла в Пекине... Вы должны понять сами и внушить команде, как это важно!

— Есть, — отвечал Рошаковский.

— Это настолько важно, — повторил Григорович, — что по исполнении приказа вам разрешается закончить кампанию.

— Как? — удивился лейтенант.

— Консул в Чифу обеспечит вам законное интернирование, можете сдать китайским властям замки от пушек, вынуть из мин ударники... даже спустить флаг и выпел! Не удивляйтесь. С этого момента война для вас будет закончена.

Для патриота, каким был Рошаковский, последний пункт приказа казался самым трудным для исполнения. Несмотря на

поздний час, офицеры «Решительного» с нетерпением ожидали возвращения командира. Михаил Сергеевич — еще от сходни — начал отстегивать от пояса мешавшую ему саблю.

— Обо всем в каюте, — сказал он офицерам...

В теснотище командирской каюты они пили чай с бубликами. Рощакровский спросил инженера-механика Кислякова:

— Павел Иванович, ты уголь принял?

— Полные бункера! А сколько в угле змей... Одна гадина чуть было не укусила кочегара Звирбулиса, хорошо, что этот латыш неробкий: хватъ ее лопатой по шее!

На кителе механика поблескивал орден Владимира с мечами и с бантом. Следующий вопрос — мичману Петрову:

— Сережа, а что в погребах?

— Полные стеллажи снарядов. Калибровка выверена.

Юный мичман, внешне похожий на лилейную барышню, был кавалером ордена Анны с надписью: «За храбрость».

— Друзья мои, — сказал Рощакровский, — надеюсь, что вскоре вы станете кавалерами и Георгия, с чем заранее вас поздравляю.

Его не поняли, и Рощакровский объяснил суть полученного приказа.

— А по статусу ордена Святого Георгия, — заключил он, — орден получают те, кто, прорвав окружение неприятеля, доставит командованию чрезвычайно важные сведения... Именно это, господа, нам и предстоит сделать: идем в Чифу!

За Электрическим утесом блуждали лучи прожекторов, обшаривая темнеющий горизонт в поисках японских кораблей. Конечно, в море сейчас жутковато, и мичман Петров сказал:

— Китайские кули в порту болтают уже давно, будто подводный кабель от Чифу японские водолазы уже разрезали.

— Возможно, — кивнул Рощакровский. — Японцы ведут себя в Чифу как дома. Не будем удивляться, если застанем там парочку крейсеров Того и свору европейских журналистов, жаждущих увидеть нас забинтованными и на костылях...

Перед сном лейтенант оторвал листок календаря. Открылся новый день — 28 июля 1904 года. Роццаковский и не знал (да и откуда же ему знать?), что вот эта его рука, которую он сейчас протянул к выключателю надкоечного светильника, будет вскоре изгрызена зубами рассвирепевшего самурая, и этой же рукой, страдая от боли, он будет докладывать в рапорте: «Я умышленно оскорбил японского офицера, ударив его кулаком в лицо, при этом же крикнув своей команде: “Братцы, делайте, как делаю я!”»

П о ш л и! Миноносец глубоко врезался во встречную волну, каскады воды захлестывали пушку Гочкиса, одиноко торчавшую под мостиком. Странно, что змеи, засыпанные в бункере вместе с углем, умудрялись выбираться на палубу, где вода тут же смывала их за борт. Кисляков доложил на мостик:

— Греются эксцентрики вала, хоть плачь.

— И ладно, — отвечал Роццаковский. — Лишь бы дойти...

Стемнело. Они шли. Однажды мимо промчала тень японского миноносца с ярким фонарем на корме. Роццаковский на вопрос, заданный по-английски, отвечал в рупор одним словом:

— Ярап (Джапан)! — И обманул противника.

Враждующих разнесло на контракурсах. Вторая линия блокады оказалась не так легковерна. В ночи возник характерный выброс желтого пламени, затем последовал звук, похожий на громкое чихание: японцы пустили мину, но она, к счастью, не сработала, и блокада была удачно прорвана. Уже светлело, когда «Решительный» прибыл в Чифу; пушка Гочкиса послала в небо двадцать один выстрел, салютуя нации. Едва успели положить якоря, как к борту сразу же подгребла «шампунька» с французом:

— Жан Роод — газета «Magin». Лишь один вопрос!

— Ни одного, мсье, — отвечал Роццаковский.

Он поспешил на берег, вручив консулу депеши для передачи в Адмиралтейство, заодно доложил об инструкции, полученной от Григоровича, а консул обещал договориться об условиях интернирования миноносца с местным дацуном (губернатором).

— Извольте, — отвечал ему Рощакровский. — Но пока вы уговариваете дацуна, я осмелюсь потревожить китайского адмирала Цао, эскадра которого видна из окон вашей спальни... Мне надо перебраться в машинах эксцентрики гребного вала.

— Если вами получен приказ спустить флаг в Чифу, то я не понимаю: чего вы домогаетесь? — хмыкнул консул.

— Перебрав эксцентрики, я желал бы прорваться до Сайгона, откуда прямая дорога — на родину.

— Вы большой фантазер, — удивился консул...

Китайский адмирал Цао имел желтый халат и синий шарик на шапочке. Он хранил длинные ногти в золотых наперстках, показывая нижестоящим, что еще никогда в жизни не унизил себя физическим трудом. В ремонте машин миноносца он отказал, ибо таково было указание японцев. Михаил Сергеевич ответил, что при входе в Чифу он салютовал не Японии, а Китаю.

— Не пойму, адмирал: кто здесь старший на рейде?

Цао угостил лейтенанта чашечкой чая.

— Никакого ремонта, — говорил он, сверкая наперстками. — Я имею указание адмирала Того разоружить все русские корабли, оказавшиеся на чифуском рейде. На ваш миноносец я сразу же посылаю китайских матросов с карабинами...

Его матросы, появившись на палубе «Решительного», заняли рубки и переходы на трапах, они встали возле люков в машины и кубрики. Вели они себя соответственно настроениям своего адмирала, не тая от русских враждебности:

— Сабак, сабак! Россекэ чики-чики бум... у-у-у! Капитан чики-чики! У-у-у... сабак помирай!

Кочегар Звирбулис (из латышских крестьян) в бешенстве хотел уже раздраить люки угольного бункера:

— Как змеи ползут, они все разбегутся.

— Не спеши, братец, — успокоил Рощакровский матроса.

— А похоже, будет резня, — подсказал Кисляков.

— Имейте мужество не обращать внимания на угрозы. Очевидно, нам все-таки предстоит исполнить инструкцию, полученную еще в Порт-Артуре. Подождем, что скажет консул...

Ближе к вечеру консул прислал на «Решительный» записку, сообщая, что с дацуном Чифу говорить бесполезно: Пекин настоятельно требует полного и немедленного разоружения миноносца. С сердечной болью комендоры выкрутили замки из пушек, а минер Волович вынул ударники из торпед; адмирал Цао, верой и правдой служа самураям, потребовал сдать даже ружья и револьверы. Русский флаг был спущен. В команде воцарилось уныние. Чтобы оживить матросов, мичман Петров, отличный чтец-декламатор, спустился в кубрик, где допоздна читал «Сорочинскую ярмарку» Гоголя. Было уже что-то около трех часов ночи, когда Рошаковский проснулся от грохота весел, поспешно разбираемых в шлюпках китайскими матросами. В паническом состоянии они покинули «Решительный». Рошаковский, накинув тужурку, вышел наверх, спрашивая вахтенного матроса Воловича:

— А что стряслось, черт побери? Или в самом деле кочегар Звирбулис не удержался и открыл бункер со змеями?

— Хуже того, ваш благородь, — отвечал Волович...

С моря подкрадывались к рейду Чифу два японских миноносца, за ними скользила зловещая тень японского крейсера.

— Явились... господа положения, — сказал Рошаковский.

Петров элегантно жестом открыл портсигар.

— Кажется, — призадумался он, — повторяется история, что и с «Варягом» в корейском порту Чемульпо. Не так ли?

— Ситуация схожа, — согласился Рошаковский, — тем более что Чифу и Чемульпо — порты нейтральные. Но между нашим «Решительным» и крейсером «Варягом» имеется разница.

— Разница, да еще какая! — поддакнул Волович.

— И все-таки... — начал было Петров и замолк.

За него договорил сам командир миноносца:

— И все-таки мы будем драться! Но в отличие от «Варяга» мы, дорогой мичман, вынуждены драться б е з о р у ж н ы м и.

Затем Рошаковский обратился к минеру Воловичу:

— Готовь, братец, миноносец к взрыву.

— Есть. А где запалы ставить?

— В патронном погребке и в румпельном отсеке. Уж если погибать, так с грохотом и фейерверками...

Матросы разбирали что только можно для драки: болты, гаечные ключи, вымбовки и свайки. А обстоятельный Звирбулис достал из малярки большую банку с ядовитым суриком:

— Как плесну в рожу — япошки вовек не отмоются...

С японских кораблей уже высаживали по шлюпкам десант с офицером, и Рошаковский дал команду:

— Всем быть в чистом!

Матросы, скинув робы, быстро облачились в белые штаны и белые форменки. Рошаковский указал офицерам:

— Господа, прошу быть при всех орденах...

Воловичу он велел взрывать «Решительный», судя по обстановке, какая сложится на палубе миноносца. Петров хотел сразу же поднять русский флаг, но Рошаковский просил мичмана не нарушать условий интернирования:

— Не станем утруждать дипломатов лишней работой...

Японские шлюпки с десантом издали очень напоминали больших плывущих ежей — это торчали иглы штыков, насаженных на короткие «арисаки». Десант возглавлял лейтенант Тарасима.

— Ради чего вы явились? — спросил его Рошаковский.

Самурай через леера ступил на палубу.

— Ради переговоров, — отвечал он.

— Какие могут быть между нами переговоры? Все должные формальности интернирования согласно статьям международного права нами выполнены, и я не приму никаких претензий от вас в условиях нейтрального порта и города.

Тарасима предложил сдать миноносец, а на борт поднялся унтер-офицер, несущий полотнище японского знамени. Увидев его, мичман Петров развернул в руках андреевский стяг.

— Мы не сдаемся, — отвечал Рошаковский.

В своем рапорте он докладывал: «Я тогда сказал: “У вас есть сабля — можете убить меня, я вам клянусь, что не стану защищаться, но, пока я жив, не вздумайте поднимать свой флаг!”»

С лица Тарасимы не сходила наглая улыбка.

— Уважая тишину и спокойствие жителей нейтрального города, — сказал он, — я имею счастье предложить вам в этом случае выйти сейчас же в море и принять рыцарский бой с нами.

Рощакровский оглядел своих матросов; в их лицах он прочел решимость и готовность умереть.

— Хорошо, — согласился он, — я и мой экипаж готовы принять бой. Но прежде укажите китайскому адмиралу Цао, чтобы на время сражения он вернул нам замки от пушек, минные ударники и личное оружие моего экипажа.

— Простите, — отвечал на это японец, — но мы, подданные микадо, не властны вмешиваться во внутренние дела Китая.

— Это вы-то не властны? — рассвирепел Рощакровский...

На борт «Решительного» лезли японские матросы. Тарасима что-то гортанно выкрикнул — и в тот же миг приклады карабинов разом обрушились на грудь мичмана Петрова, он закричал от боли, поверженный и затоптанный, не выпуская из рук флага. Рощакровский воздел над собой кулак и опустил его, словно кувалду, на улыбчивое лицо Тарасимы.

— Ребята, делайте, как делаю я! — призвал он...

Тарасима спиной провис на леерах, но, падая за борт, увлек за собою и Рощаковского... Хрясь! Оба свалились в шлюпку, причем Рощакровский оказался поверх врага. Он протянул руки к его горлу, но Тарасима стал зубами рвать его пальцы, будто собака мясо. Михаил Сергеевич все время кричал матросам:

— Только не сдавайтесь, братцы! Только не...

Японцы вышвырнули его далеко за борт шлюпки. Вынырнув, он поплыл к своему миноносцу, но был обстрелян в воде. Одна из пуль вонзилась в бедро, и тогда Рощакровский искал спасения у китайских джонок. Но там китайцы стали добивать офицера

бамбуковыми шестами, сиюсь ударить его по голове (о чем он тоже не забыл сообщить в своем рапорте). Михаил Сергеевич, раненный, поплыл в сторону набережной города. Оглянувшись на свой корабль, он видел, как его матросы повергали врагов на палубу, безжалостно их мордуя. Но они-то ведь знали, что взрывчатка заложена и она ждать не будет: Волович исполнит приказ! А потому, избив противника сколько было сил, матросы один за другим кидались в море, распластав в полете руки. Их тоже обстреливали. Рощакковского снова ранило — в ногу. Последнее, что отметило сознание, были два взрыва, подбросившие «Решительный» из воды, после чего миноносец стал погружаться...

Михаил Сергеевич очнулся в палате госпиталя францисканцев-миссионеров. Рядом с ним пластом лежал мичман Петров, под ним стояла чашка, наполненная кровью. Он простонал:

— Прикладами... все разбили... сволочи!

У мичмана было кровоизлияние в легких. Кроме него японцы ранили еще четырех матросов, а два матроса пропали.

— Волович и Звирбулис... жалко! Хорошие ребята...

Рощакковского навестил неунывающий корреспондент парижской «Magin» Жан Роод, сообщивший, что при взрыве погибли пятнадцать японских десантников. Он сказал, что в Токио опубликовано официальное сообщение, будто «Решительный» не был разоружен, а его «зверская банда первой напала на японцев». После русской ноты от 30 июля Пекину ничего не оставалось, как признать перед миром факт разбойничьего нападения на интернированный контрминоносец. На этот раз Рощакровский не отказался дать интервью парижской газете. Во время беседы его навестил консул и сказал, что только что китайцами извлечен из моря изуродованный взрывом труп матроса.

— Это Волович, — сразу догадался Петров.

— Нашелся и второй пропавший — Звирбулис: бедняга не успел прыгнуть за борт, японцы утащили его на свой крейсер... Это все, — сказал консул, — что я сумел узнать.

Вечером врачи-францисканцы оперировали Рошаковского, удалив из его тела две японские пули. Придя в себя после наркоза, лейтенант сказал мичману Петрову:

— Не пора ли нам с тобою, Сереженька, домой... а?

В книге Николая Шебуева «Японские вечера» я с большой охотой выделил такую фразу: «Пощечина лейтенанта Рошаковского прогремела на весь мир... Она заставила политиков разрешить международный вопрос о праве воюющих судов в нейтральных портах». Рошаковский о таком резонансе и не мечтал:

— Я только дал по морде! Все остальное сделали матросы...

Последний раз имя Рошаковского встретилось мне в документах 1916 года, когда он, будучи уже капитаном первого ранга, руководил строительством военно-морской базы в Кольском заливе, где еще только зачинался новый флот и где закладывали город большого будущего — неповторимый и великолепный Мурманск!

Обо всем этом я и вспомнил сегодня, когда снова перечитал ноту русского правительства, за протокольным текстом которой угадывались контуры живых людей и силуэты старых кораблей.

...Уже ночь. За лесом опять расшумелось море.

Содержание

Известный гражданин Плюшкин	5
Письмо студента Мамонтова	20
Пулковский меридиан	33
Проезжая мимо Любани	41
Добрый скальпель Буяльского	57
«Железная башка» после Полтавы	67
Дуб Морица Саксонского	78
Солдат Василий Михайлов	96
Лейтенант Ильин был	107
Мешая дело с бездельем	116
Потопи меня или будь проклят!	128
Граф Попо — гражданин Очер	138
Первый листригон Балаклавы	146
Жизнь генерала-рыцаря	155
Нептун с Березины	165
Конная артиллерия — марш-марш!	179
«Мир во что бы то ни стало»	190
Воин, метеору подобный	202
Восемнадцать штыковых ран	212
Вечная «карманная» слава	225
Сын «пиковой дамы»	240
Этот беспокойный Кривцов	255
Герой своего времени	272
Сын Аракчеева — враг Аракчеева	281
Хива, отвори ворота!	292
Николаевские Монте-Кристо	310
Генерал на белом коне	320
«Малахолия» полковника Богданова	343
Слава нашему атаману!	355
Секрет русской стали	371
Вольный казак Ашинов	383
Пень генерала Драгомирова	396
Решительные с «Решительного»	405

Литературно-художественное издание

Полное собрание сочинений

Пикуль Валентин Саввич

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ

(МИНИАТЮРЫ)

Выпускающий редактор *В.И. Кичин*

Верстка *И.В. Хренов*

Корректор *Н.К. Киселева*

Оформление обложки *Д.В. Грушин*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 14.07.2015. Формат 84 × 108 1/2.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага газетная.

Печ. л. 13. Тираж 5000 экз. Заказ № 11032.

ООО «Имидж Принт»

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129.

Отпечатано в ООО «Тульская типография».

300026, г. Тула, пр. Ленина, 109.



Исторические миниатюры Валентина Пикуля — уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества».

Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов бесстрашных защитников Отечества и других исторических личностей XVIII — начала XX века.



ISBN 978-5-4444-2984-6



9 785444 429846

